ЭРВЕ ДЕ СЕН-ДЕНИ

СНЫ
И СПОСОБЫ ИМИ УПРАВЛЯТЬ



ЭРВЕ ДЕ СЕН-ДЕНИ

СНЫ И СПОСОБЫ ИМИ УПРАВЛЯТЬ

Практические наблюдения

Об этой книге

Маркиз Эрве де Сен-Дени, французский востоковед и переводчик китайской поэзии, с тринадцати лет записывал свои сны и за двадцать с лишним лет заполнил ими двадцать две тетради. Вышедшая в 1867 году книга — первое подробное описание того, как человек может научиться сознавать во сне, что он спит, и направлять ход своих сновидений.

В первой части автор рассказывает, как вел дневник снов; во второй разбирает мнения древних и новых писателей о сне, от египтян и греков до ученых его времени; в третьей излагает собственные наблюдения и приемы: как запоминать сны, как вызывать во сне нужные образы, как с помощью запахов и звуков, связанных с воспоминаниями, направлять сновидения.

Содержание

Часть первая. Чего следует ожидать от этой книги и как она была написана 5

Часть вторая. Где, излагая мнения других, автор продолжает излагать свои 37

Часть третья. Практические наблюдения над снами и способы ими управлять 175

Приложение 339

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ОТ ЭТОЙ КНИГИ И КАК ОНА БЫЛА НАПИСАНА

✦

Если бы нам каждую ночь снилось одно и то же, это действовало бы на нас так же сильно, как предметы, которые мы видим каждый день.
Паскаль



Фронтиспис. Пояснение к нему — см. ниже, в Части третьей

I

Краткое предисловие. — Для кого эта книга не написана. — В каком возрасте и при каких обстоятельствах я начинаю записывать свои сны[1], а затем изучать их. — Первые мои открытия и первые успехи на этом пути. — Мне все же приходится прервать эти занятия, и я возвращаюсь к ним позже. — Почему я не участвовал в конкурсе 1855 года и в каком виде решаюсь обнародовать свои изыскания сегодня.

[1] Как только в этой книге впервые появляется слово «сон», я должен предупредить читателя, что не делаю никакого различия между сном и сновидением и буду употреблять оба слова без разбора.

Шаг за шагом следить за путем человеческого духа в его прихотливых странствиях по миру воображаемому; тщательно разбирать иные подробности, способные ярко осветить всю картину; спросить у опыта, какая связь устанавливается между поступками нашей жизни и обманами сна, — уже одна эта тема представляет немалый интерес. Но если бы из такого изучения следовало доказательство, что воля не лишена власти над многочисленными превратностями нашего воображаемого существования, что обманами сна можно порой управлять, как событиями дня, что вовсе не невозможно вновь вызвать какое-нибудь волшебное видение, как в настоящей жизни возвращаешься в любимое место, — такая перспектива, без сомнения, заслуживала бы особого внимания: предмет приобрел бы значение, о котором поначалу и не подозревали.

Разве сны не составляют третьей части нашего существования? Разве для тех, кто ищет, явление сна не связано тесно с великой тайной двойственной природы души и тела, исследовать которую никогда не устанешь? И наконец, найдется ли среди тех, кто умеет чувствовать жизнь, хоть один, кто не хранил бы, пусть смутно, воспоминания о каком-нибудь чарующем видении, оставившем в памяти нежное и неизгладимое впечатление?

Какие дивные сказки творит воображение, когда царит самовластной государыней, свободное от всех требований и помех житейской действительности, отданное без остатка всему великолепию идеала! Кошмары, чудовища, невыразимые ужасы вызывают порой, правда, очень тягостные чувства; но сколько

очарованных краев, сколько прелестных явлений, сколько упоительных излияний и ощущений неслыханной живости заставляют нас иной раз, проснувшись, сожалеть о слишком короткой ночи!

Я хорошо знаю, что такое вступление очень плохо примут иные люди, которые уверяют, будто их сон всегда подобен смерти, и доходят до того, что отвергают как неразумную саму мысль, будто их ум мог бодрствовать; но не для них я издаю эту книгу и даже убедительно прошу их не раскрывать ее. Не ищу я одобрения и у специалистов, заранее решивших рассматривать вопрос лишь с одной стороны.

Автор не доктор медицины, а тем более не доктор философии. Какое же у него, в конце концов, право браться за столь тонкий предмет? Читателю необходимо это знать, и я не придумаю лучшего способа рассказать ему об этом, чем совсем просто поведать, как появились на свет эти страницы.

Я воспитывался дома и учился без товарищей. Работал я один, вдали от всяких развлечений, как и от всякого надзора; сочинения свои я должен был представлять к назначенному часу, а в остальном был волен распределять учебное время, как подскажут вдохновение или прихоть. Предоставленный, таким образом, самому себе, я нередко кончал урок раньше, чем наступал срок его сдавать. Природная лень всякого мальчика, как легко догадаться, мешала мне объявлять об этом вслух: любое развлечение казалось мне лучше лишнего обязательного задания, которое мне непременно бы дали. Эти минуты досуга я проводил так или иначе: то рисовал карандашом, то раскрашивал нарисованное. Однажды мне пришло в голову (мне шел тогда четырнадцатый год) взять предметом своих набросков воспоминания об одном необычном сне, сильно меня поразившем. Результат показался

мне забавным, и скоро у меня завелся особый альбом, где каждая сцена и каждая фигура сопровождались пояснением, в котором старательно описывались обстоятельства, предшествовавшие видению или последовавшие за ним.

Желание пополнить этот альбом подстегивало меня, и я привыкал все легче удерживать в памяти прихотливые подробности своих иллюстрированных рассказов. По мере того как подвигался ежедневный дневник моих ночей, пробелов в нем становилось все меньше; нить событий выглядела все связнее, как бы странна она ни была. Опыт не раз доказывал мне, что там, где я поначалу видел настоящий перерыв в смене картин, занимавших мой ум, был попросту изъян моей памяти, и я незаметно пришел к убеждению, что не может быть сна без сновидений, как не бывает бодрствования без мысли. В то же время я замечал, как под действием привычки во мне развивается способность, которой я обязан большей частью наблюдений, изложенных дальше: способность нередко сознавать во сне свое действительное положение, сохранять тогда, во сне, чувство своих дневных забот и, следовательно, удерживать над своими мыслями достаточно власти, чтобы при нужде направлять их течение в ту или иную сторону, какую мне угодно было им дать.

Выйдя из детства и из той поры, когда меня поглощали некоторые особые занятия, я полюбопытствовал узнать, как обошлись самые прославленные авторы с этим предметом — сном и сновидениями, — который я до тех пор изучал лишь на себе. Признаюсь, я был очень удивлен, обнаружив, что знаменитейшие психологи и физиологи бросили лишь несколько лучей неверного света на то, что, как я воображал, было у них предметом прямого разъяснения; что они не дают решения ни одной из трудностей, которые особенно меня останавливали, и

даже держатся о некоторых явлениях таких теорий, ложность которых мне не раз доказал практический опыт. С тех пор, обратив особое внимание на некоторые из наименее понятых психологических тайн, я решил подсмотреть их объяснение во время самого сна, пользуясь давно приобретенной способностью часто сохранять посреди сновидений известную свободу ума.

Первые завоевания этого неустанного труда так меня ободрили, что в течение нескольких месяцев у меня, можно сказать, ничего другого не было в голове. Днем я обдумывал самые интересные вопросы, которые стоило прояснить; в снах, где я сознавал свое положение, подстерегал всякий случай что-нибудь открыть или разобрать; и всякий раз, когда мне казалось, что я вдруг застиг какое-нибудь особенно примечательное действие ума, я умел стряхнуть сон сильным усилием воли и, схватив карандаш, всегда лежавший у постели, спешил записать увиденное почти ощупью, с полузакрытыми глазами, пока эти тонкие впечатления не исчезли, подобно мимолетным изображениям камеры-обскуры, которые так быстро гаснут при ярком дневном свете.

Мне непременно сделают возражение, которое напрашивается само собой. «Вы не спали, — скажут мне. — Этот странный сон, о котором вы рассказываете, не был настоящим сном». На это я искренне отвечу, что поначалу и сам был склонен это подозревать. Меня одолели головные боли, и я счел нужным прервать свои ночные труды. Но относительный покой ума вернул мне здоровье, нисколько не отняв окончательно приобретенной способности порой наблюдать за собой во сне; с тех пор прошло двадцать лет, а я ни разу ее не утратил, — и потому приходится, мне кажется, признать, что я попросту испытал в душевном отношении то же, что испытывают в телесном те, кто усиленной гимнастикой

развивает огромные возможности человеческого тела: только вместо ломоты в членах я ощутил временную усталость ума. И если я склонен думать, что есть натуры, неподатливые к тем душевным привычкам, какие я приобрел, — как есть и натуры, не созданные для упражнений на трапеции и трамплине, — то я тем не менее твердо убежден, что многие люди, взявшись за дело, как я, с того возраста, когда природа так охотно уступает всему, чего от нее требуют, научились бы, подобно мне, владеть обманами своих снов. Результат, без сомнения, неожиданный, но вовсе не болезненный и не противоестественный.

Я сказал, что по причине здоровья мне пришлось прервать, по крайней мере на время, изучение собственного сна. Я вернулся к нему понемногу, без излишеств и уже без усталости. Некоторые открытия привели меня в восторг. Честолюбие мое не знало больше границ: я задумал ни много ни мало дать полную теорию сна и сновидений. Такая перспектива заставляла меня удваивать усилия. Но чем глубже я входил в свой предмет, чем дальше проникал в этот пугающий лабиринт, тем яснее видел, как трудности растут и непомерно усложняются. Мне удалось уловить у некоторых явлений если не всегда первопричину, то хотя бы ход и развитие; несколько быстрых вспышек порой позволяли мне прозреть глубину этих неведомых областей, — но все это лишь сильнее дало мне почувствовать, насколько я окажусь ниже задачи, за которую не побоялся взяться. Мое бессилие построить систему показалось мне тогда столь полным, сама трудность привести в порядок собранные материалы — столь тяжкой, что первоначальный пыл вдруг сменился унынием, и, поглощенный другими занятиями, я оставил это дело в покое.

Однако мне было бы нелегко совсем о нем не думать. Сохраняя в большинстве снов сознание того, что я сплю, я часто невольно

возвращался к заботам, которые занимали меня несколько лет. Открывалось ли моему уму какое-нибудь новое явление, выпадала ли невзначай возможность найти давно искомое решение, — я не мог отказать себе в удовольствии отдать этому все свое внимание; и хотя я и в самом деле отказался строить, я все же не переставал собирать материалы.

Когда в 1855 году философское отделение Академии моральных и политических наук предложило на конкурс теорию сна и сновидений — вопрос, казалось, давно забытый, — друзья, которым я уже сообщал несколько отрывков из своих изысканий, горячо уговаривали меня встать в ряды соискателей. Но, не говоря уже о том, что с моей точки зрения мне было бы очень трудно принять программу в том виде, как она была начертана[2], меня всегда остановила бы, как я уже объяснил, невозможность набросать полный план здания, лишь некоторые части которого ясно вырисовывались в моем уме.

---

[2] Предмет конкурса был изложен так:
«О сне с психологической точки зрения.
Какие способности души сохраняются, какие приостанавливаются или значительно видоизменяются во сне?
Какое существенное различие между тем, чтобы видеть сны, и тем, чтобы мыслить?
Соискатели включат в свои изыскания сомнамбулизм и различные его виды.
Есть ли в естественном сомнамбулизме сознание и тождество личности?
Является ли искусственный сомнамбулизм фактом?
Если это факт, изучить и описать его в наименее спорных его проявлениях, определить, какие из наших способностей в нем участвуют, и попытаться дать теорию этого состояния души по правилам здравого философского метода».

Тем не менее я с нетерпением ждал издания увенчанного сочинения. Я прочел его с жадностью и со смешанным чувством сожаления и удовлетворения нашел в нем немало фактов, объясненных так, как понимал их я сам, и к тому же описанных

красноречивее, чем сумел бы я. Но мне показалось, что г-ну Лемуану пришлось бороться как раз с тем великим препятствием, которое испугало меня, — с необходимостью приспособить свой предмет к требованиям заранее заданной рамки. Рядом с местами необычайно удачными есть и такие, где колебания пера достаточно показывают, что автор предпочел бы их не писать. Излагая дальше историю мнений о сне и сновидениях, высказанных в разные эпохи, я разберу это сочинение, а также две более поздние работы — г-на Альфреда Мори и доктора Макарио; но должен с самого начала сказать, что жалею, видя в них столь частые рассуждения о приливах крови, о жизненных флюидах, о мозговых волокнах и т. д. и т. п. — соображения, унаследованные от старой школы и, на мой взгляд, ровно ничего не объясняющие. Мы слишком мало знаем о таинственных узах, соединяющих душу с материей, чтобы анатомия могла служить нам проводником в самом тонком, что есть в психологии.

Словом, несмотря на все ученое и остроумное, что было опубликовано о сне и сновидениях — предмете, который обсуждают с тех пор, как существуют книги, — практическому наблюдателю здесь еще остается завоевать целый мир. Возвести стройный труд обо всем предмете было предприятием выше моих сил; но, подобно путешественнику, который недостаток учености восполняет точностью своих наблюдений, я тоже могу внести свою долю новых сведений.

Я не стану следовать иному методу, кроме того, чтобы излагать свои замечания и мысли в том порядке, в каком их, как мне покажется, потребуют ход логики и увлечение спора. Поэтому я не стану навязывать себе никакой строгой классификации и буду возвращаться к одним и тем же фактам всякий раз, когда понадобится рассмотреть их с другой точки зрения или вывести

из них какое-нибудь новое заключение. Я постараюсь сказать как можно яснее, что я чувствовал, испытал, распознал, что повторенные опыты заставляют меня считать несомненным и что я, как мне кажется, лишь мельком разглядел. Наконец, говоря словами сравнения, к которому я уже прибегал, я доставлю свою долю материалов для здания, которое предстоит возвести, оставив какому-нибудь более могучему зодчему труд дополнить их и строить.

II

Дневник моих снов и первые результаты, которые я из него извлекаю. — Я привыкаю все лучше вспоминать, что мне снилось, и прихожу к убеждению, что сна без сновидений не бывает. — Затем я приобретаю привычку знать во сне, что вижу сон, и наблюдаю в этом состоянии действия своего ума.

Я сказал, что мне было тринадцать лет, когда я начал очень исправно вести дневник своих снов. Этот дневник, составляющий двадцать две тетради, заполненные раскрашенными рисунками, охватывает тысячу девятьсот сорок шесть ночей, то есть больше пяти лет. Прежде чем входить в подробности содержащихся в нем рассказов и выводов, которые из них можно сделать, отметим сперва несколько общих черт всего этого собрания.

В первые шесть недель там почти не встретишь рассказа, который не прерывался бы многочисленными пробелами. На каждом листке чувствуются заметные разрывы — либо в самом сне, либо в памяти, которую я о нем сохранил. Порой краткая пометка даже просто сообщает, что в такой-то день я ровно ничего не помню. С третьего по пятый месяц бессвязность встречается все реже, а рассказы становятся все обильнее.

Последнее упоминание о сне, сновидения которого не оставили никакого следа, приходится наконец на сто семьдесят девятую ночь.

Следует ли заключить из этого последнего факта, что с тех пор мне стало сниться гораздо больше и что сама привычка заниматься снами днем заметно усилила во мне расположение к сновидениям? Способность мыслить возрастает от упражнения; поэтому не так уж невероятно, что тот же закон распространяется и на способность видеть сны — в том смысле, что сны становятся оживленнее и разнообразнее. Но многие места моего дневника, написанные в то время, когда у меня еще не было никакого сложившегося мнения, доказывают мне, что под влиянием привычки изо дня в день, или, лучше сказать, из ночи в ночь, росла главным образом легкость, с какой я вспоминал свои сны. Отыскивая воспоминания о последней минувшей ночи, я порой вдруг вновь находил цепь и подробности более раннего, прежде забытого сна. Тогда я убеждался, что меня подвела одна лишь память, а я думал, что могу обвинить свои сны в перерыве. Это мнение, которому позднее суждено было стать у меня глубоким убеждением, — а именно что мысль никогда не угасает совершенно, как и кровь никогда совсем не перестает течь, — уже жило во мне смутно угаданным зародышем, когда я писал фразы вроде этих:

> «14 июня. — Сегодня ночью мне ничего не снилось, или, вернее, я ничего не помню, потому что мне кажется невозможным, чтобы я провел ночь без снов».
>
> «28 июня. — Ничего, совсем ничего; сколько ни ломаю голову, *не могу вспомнить, что мне снилось этой ночью*».

> «7 июля. — (Подробно описав некоторые особенности сна этой ночи.) Это сейчас же напоминает мне сон в четверг на прошлой неделе, о котором я, проснувшись, совсем не вспомнил. Я тоже был в лодке… и т. д. (Следует рассказ о сне, а в конце:) Не в первый раз я вспоминаю лишь через несколько дней обрывки снов, которых не помнил в тот же день; но впервые мне случается вспомнить сон целиком, и так долго спустя. Это меня удивляет, потому что я, напротив, не раз замечал, что для того, чтобы хорошо запомнить подробности сна, нужно записать их сразу по пробуждении, прежде чем подумаешь о чем-нибудь другом».

Это последнее замечание станет дальше предметом нескольких особых наблюдений. Пока же ограничусь указанием, что шести месяцев неослабного внимания и ежедневного упражнения хватило, чтобы приучить мой ум всегда сохранять в минуту пробуждения память о ночных снах.

С тех пор, больше двадцати лет, мне ни разу не случилось обратиться при пробуждении к своей памяти так, чтобы она тут же не сообщила мне о сне и не воспроизвела сразу все главные его обстоятельства.

Наши обычные занятия и заботы сильно влияют на характер наших снов, которые бывают, как правило, словно отражением нашей действительной жизни. Это истина, почти граничащая с банальностью, и я счел бы лишним ее записывать, если бы как раз ее прямому следствию я не был обязан той легкостью наблюдать за самим собой, из которой родились публикуемые мною ныне наблюдения. Привычка днем думать о своих снах, разбирать и описывать их привела к тому, что эти части моей обычной умственной жизни вошли в общий запас воспоминаний, которые могли явиться моему уму во время сна. И вот однажды ночью мне приснилось, что я записываю свои сны и рассказываю среди них

очень странные. Проснувшись, я крайне сожалел, что во сне не сознавал этого исключительного положения. «Какой прекрасный упущен случай! — говорил я себе. — Сколько интересных подробностей я мог бы собрать!» Эта мысль преследовала меня несколько дней, и именно потому, что она осаждала мой ум, тот же сон вскоре повторился, — но с той переменой, что теперь побочные мысли примкнули к главной: я вполне ясно чувствовал, что сплю, и мог сосредоточить внимание на тех подробностях, которые занимали меня больше всего, так чтобы, проснувшись, сохранить о них более отчетливое и твердое воспоминание. Этот новый способ наблюдения понемногу очень широко развился. Он становился источником драгоценных исследований, по мере того как я начинал видеть в этих занятиях нечто большее, чем мальчишескую забаву.

Первый сон, в котором я, спя, имел это чувство своего действительного положения, приходится на двести седьмую ночь моего дневника; второй — на двести четырнадцатую. Шесть месяцев спустя то же самое повторяется в среднем дважды за пять ночей. Через год — три раза из четырех. Наконец, через пятнадцать месяцев оно бывает почти каждую ночь, и с той поры, уже столь далекой, я могу засвидетельствовать, что мне почти не случается отдаться обманам сна, не обретая, хотя бы урывками, чувства действительности.

III

Видения, которые являются нам во сне, можно определить так: изображение перед очами нашего ума предметов, занимающих нашу мысль. — Nihil est in visionibus somniorum quod non prius fuerit in visu. — Образы-воспоминания. — Различие между сновидением и мыслью. — Почему у нас бывают то совершенно отчетливые, то

смутные видения. — Первый разбор некоторых материалистических мнений. — Сон о цветочнице и сон о нищем. — Об архитектурных памятниках и произведениях искусства, являющихся нам во сне. — Рассказ о довольно примечательном сне и выводы из него.

Видения, которые являются нам во сне, можно, я думаю, определить так: *изображение перед очами нашего ума предметов, занимающих нашу мысль*.

Наша память — если воспользоваться сравнением, заимствованным из открытий современной науки, — подобна стеклу, покрытому коллодием, которое мгновенно удерживает отпечаток изображений, брошенных на него объективом камеры-обскуры. Хорошо ли был наведен аппарат? Четко ли было брошено изображение? Тогда отпечаток будет давать ясные и точные изображения всякий раз, как от него этого потребуют. Если же изображение было воспринято смутно, в неблагоприятных условиях света, расстояния, чувствительности, или если оно промелькнуло слишком быстро, чтобы от него мог остаться отчетливый след, — с отпечатка получишь лишь неясные силуэты, неопределенные тени и расплывчатые черты.

Впрочем, у памяти перед фотографическим аппаратом есть то чудесное превосходство, каким обладают силы природы, — сама обновлять свои средства действия. Ее стекло всегда готово удержать (с большей или меньшей четкостью, в зависимости от времени и обстоятельств) все, что в нем отражается. Наконец, с огромными хранилищами, где у каждого из нас копится столько воспоминаний, дело обстоит так же, как у фотографа с глубокими шкафами, где громоздится собрание его отпечатков. Иной из этих отпечатков можно было бы показать порой самому мастеру, и он не узнал бы его и не вспомнил, если за несколько лет перед его

глазами прошли тысячи других. Насколько же труднее нам было бы узнать все, что могут хранить бездонные глубины памяти, где образы-воспоминания откладываются без конца, во всякую минуту нашей жизни, и большей частью без нашего ведома. Одно дело — владеть, другое — знать, что владеешь. Одно дело — помнить, другое — знать, что помнишь.

Указав, таким образом, как, по-моему, образуется то, что я назвал *образом-воспоминанием*, я сразу выдвину три положения, которые служат как бы итогом сказанного.

1. Большая или меньшая четкость образов, которые мы видим во сне, зависит чаще всего от большего или меньшего совершенства, с каким первоначально сложился *образ-воспоминание*[3].

[3] Это следует понимать о *ясных* снах, а не о тех, где несовершенство образов зависит от несовершенства сна. Эта оговорка всегда будет подразумеваться.

2. Когда нам кажется, что во сне мы видим людей или предметы, о которых наши глаза до того не имели *никакого понятия*, это зависит единственно от того, что мы утратили прямое воспоминание об обстоятельствах, при которых сложились *образы-воспоминания*, породившие эти видения, или же не узнаем первоначального образца в облике, измененном работой воображения.

По отношению к ним мы в положении человека, который владеет, сам того не подозревая; и, видоизменив знаменитую аксиому, можно было бы сказать:

Nihil est in visionibus somniorum quod non prius fuerit in visu.

3. Характер *образов-воспоминаний*, которыми запасается наша память, окажет на наши сны огромное влияние. Привычный круг знакомств, среда, в которой живешь, всякого рода зрелища, на которых бываешь, картины и альбомы, которые рассматриваешь,

и даже книги, которые читаешь, — все это поводы для памяти без конца умножать свои *образы-воспоминания*. То, что было лишь творением художника, во сне очень часто примет плоть и облик действительности, так что тогда нам, строго говоря, и в самом деле будут сниться вымышленные лица. Но разве не то же самое происходит и в действительной жизни, когда мы даем волю воображению в поисках какого-нибудь сравнительно нового замысла? Что значит для человека творить? Что значит изобретать в живописи, в литературе, в поэзии? Разве не соединять и не сочетать в новое целое различные средства очарования, составные части которых доставляет нам наша память, то есть наши *образы-воспоминания*?

Между тем, чтобы *мыслить*, и тем, чтобы *видеть сны*, есть, однако, огромное различие: в действительной жизни дневной свет и окружающий мир никогда не позволяют нашим простым представлениям облечься в отчетливую и определенную форму[4], тогда как во сне, когда ставни закрыты от внешнего света, нет ни одной мысли о действительном предмете, которая не сопровождалась бы связанным с ней образом: все, что мы воображаем, тотчас является с той большей или меньшей четкостью, какую допускают образы-воспоминания.

[4] Кроме *галлюцинации* в собственном смысле слова, которую я считаю сном бодрствующего человека.

Но как устанавливается во сне течение мыслей? Какие причины побуждают мысль обращаться к тем или иным предметам? Мы рассмотрим это немного погодя, когда покончим с некоторыми необходимыми предварительными замечаниями.

Посмотрим сначала, какие примеры в подтверждение трех изложенных положений сможет доставить мне мой дневник.

Первое мое замечание касалось факта, который каждый мог не раз заметить: если бывают видения совершенно отчетливые, то бывают и другие, во множестве, которые кажутся смутными, неопределенными и как бы окутанными туманом. Когда весь сон целиком предстает либо туманным, либо резко очерченным, причина очень часто кроется в большей или меньшей глубине сна, что объясняется очень легко; но когда рядом с ясным видением становится другое, неясное и темное, — в чем тут причина?

Теоретики, умеющие находить в нервной системе объяснение всему, конечно, не затруднятся с ответом. Они скажут вам, что дело в том, что корень мозгового волокна, передававшего вам смутный облик, был возбужден не так сильно, как корень другого волокна, вызвавшего четкие очертания, — и сочтут такое объяснение вполне удачным. Я же скромно отвечу: я не знаю, что происходит в корне моих мозговых волокон, но вот что произошло в области, доступной моему более скромному разумению.

Напротив моих окон была мастерская цветочниц. Одна из них сильно меня отвлекала в ту пору, когда я записывал свои сны: глаза мои нередко оставляли Тацита, чтобы обратиться в ее сторону. И все же воображение играло большую роль в этом созерцательном восхищении, потому что наш дом отделяли от того, где она жила, двор и сад, и как ни зорок был мой взгляд, я мог уловить лишь грациозный общий облик, черты которого всегда оставались несколько неопределенными. Это приятное занятие, как легко догадаться, не могло порой не повторяться в моих снах. Я нахожу за третий год своих ежедневных записей восемь снов, где среди самых разных событий упоминается моя соседка. Дважды я вижу ее только из окна, как это бывало каждый день наяву; в других случаях мне кажется, что я перенесся в

мастерскую, где она работает; я встречаю ее у ее дверей; воображаю, что она гостит в деревне у моих родных; я разговариваю с ней, наконец, вижу ее совсем близко. Везде, где речь идет о ней, мой дневник неизменно отмечает мое сожаление, что я не мог ясно различить ее лица, которое словно всегда наполовину скрывала досадная кисея или легкая тень.

В другом месте того же дневника снов отмечено, что образ старого нищего странной наружности, который однажды вечером попросил у нас милостыню, произнеся какие-то необычные слова, являлся мне трижды и всякий раз довольно сильно меня впечатлял. Сны, среди которых он показывается, принадлежат к самым ясным и самым подробно воспринятым. Однако лицо старого странника никогда не выходит из полутени. Образ-воспоминание, смутный с самого начала, не может дать изображения более четкого, чем допускает его природа; и даже если ассоциация идей вызовет его среди многих других, совершенно отчетливых, этот по самой сути неясный образ лишь резче выделит столь обычный в снах контраст картин, исполненных чрезвычайной силы, с другими, едва намеченными.

Этих двух примеров будет достаточно, чтобы пояснить первое замечание, подкрепленное, впрочем, в моих записях множеством других наблюдений.

Перехожу ко второму положению, которое не менее важно надежно обосновать, — к тому, где я утверждаю, что все образы наших снов происходят от отпечатков, собранных в действительной жизни. Поскольку оно тесно связано с третьим положением, касающимся того, как наполняется наша память, я приведу несколько примеров, которые относятся к обоим.

Среди читателей, которые окажут мне честь пробежать эту книгу, не найдется ли таких, кто порой спрашивал себя, как они,

не будучи ни архитекторами, ни скульпторами, ни живописцами, могли видеть во сне здания замечательного стиля, картины или статуи редкого совершенства, созданные, по крайней мере на вид, одной силой их воображения? Если бы человек, который наяву не сумел бы нарисовать и простейшего человечка или набросать незатейливый домик, вдруг, одной лишь силой сна, стал способен изобретать великолепные дворцы и сочинять картины, достойные мастера, — это был бы, прошу заметить, факт первостепенный, факт из ряда вон выходящий. Меня даже крайне удивляет, что его не рассматривает ни один из авторов, чьи сочинения о сне и сновидениях попадались мне на глаза. Между тем этот основной факт, думаю, оспорить нельзя: в панораме снов время от времени видишь памятники и произведения искусства, замысел которых намного превосходит обычные изобретательные способности спящего и о которых, как ему кажется, он до тех пор не имел никакого понятия. И логика приводит нас к неизбежной дилемме: либо приписать воображению спящего поистине сверхъестественную силу, либо признать, что он уже обладал без своего ведома, в тайниках памяти, всеми образами-воспоминаниями, способными доставить эти замечательные видения.

Поставить такой вопрос — значит его решить. Сверхъестественное не может играть никакой роли в собрании практических наблюдений, каким является эта книга. Посмотрим же, что скажет опыт в подтверждение ответа, который читатель уже дал себе сам.

Многочисленные раскрашенные рисунки дневника моих снов не раз позволяли мне спустя довольно долгое время отыскать первоначальный образец некоторых видений, обязанных своим появлением воспоминанию о какой-нибудь гравюре, каком-

нибудь месте или каком-нибудь прохожем. Однажды, гостя в деревне у родственника, к которому мы изредка ездили, я узнал висевшую на стене коридора старую карикатуру, с которой словно были срисованы черты и наряд некоего призрака, явившегося мне во сне за два года до того. Между тем временем, когда я, должно быть, мельком взглянул на эту карикатуру, и тем, когда сохраненное мною, очевидно, впечатление ожило в моем сне, прошло больше года. Воспоминание, однако, уже тогда казалось совсем стершимся, раз я мог нарисовать и раскрасить призрак из своего сна, ничуть не подозревая, что нечто подобное когда-нибудь проходило перед моими глазами.

Несколькими месяцами позже меня поразил факт еще более необычайный, который почти можно было бы назвать приключением. Я вступил к тому времени в такую пору, когда мне почти ничего не снилось без того, чтобы я вполне это сознавал[5]. Мне приснился очень ясный, очень связный, очень точный сон, во время которого я воображал, будто нахожусь в Брюсселе (где я никогда не бывал). Я спокойно прогуливался по одной из самых оживленных улиц, вдоль которой тянулось множество лавок, и их пестрые вывески протягивали свои длинные руки над прохожими. «Вот что очень странно, — говорил я себе. — Вовсе не вероятно, чтобы мое воображение целиком выдумало столько подробностей. Предположить, как полагают на Востоке, что дух странствует сам по себе, пока тело спит, мне тоже не кажется возможным: на этой мысли я не могу остановиться. И все же я никогда не был в Брюсселе, и все же вот вдали та самая знаменитая церковь Святой Гудулы, которую я знаю по гравюрам. А по этой улице, я совершенно уверен, я никогда не ходил, ни в каком городе. Если моя память может сохранять, даже без ведома моего ума, столь подробные впечатления, этот факт стоит

установить; здесь, несомненно, будет предмет для любопытной проверки. Главное — действовать на основании вполне достоверных данных и, следовательно, хорошо наблюдать». Тотчас я принялся рассматривать одну из лавок с крайним вниманием, так чтобы, если мне когда-нибудь доведется ее узнать, у меня не осталось ни малейшего сомнения. Целью, на которую устремились очи моего ума, открытые на этот воображаемый мир, стала лавка чулочника, перед которой, как мне казалось, я стоял. Я заметил прежде всего вывеску — два скрещенных чулка, красный и белый, выступающие над улицей и увенчанные, наподобие короны, огромным полосатым ночным колпаком. Я несколько раз прочел имя торговца, чтобы хорошенько его запомнить; заметил номер дома, а также стрельчатую форму небольшой двери, украшенной наверху переплетенным вензелем. Потом я стряхнул сон тем сильным усилием воли, какое всегда можно сделать, когда чувствуешь, что спишь, и, не давая этим живым впечатлениям времени изгладиться, поспешил очень тщательно записать и зарисовать все их подробности. Несколько месяцев спустя мне предстояло побывать в Брюсселе, и я был намерен не жалеть никаких трудов, чтобы прояснить факт, который поначалу, как я ни противился, внушал мне самые невероятные догадки. С невыразимым нетерпением ждал я времени, когда моя семья должна была отправиться в Бельгию. Оно настало. Я побежал к церкви Святой Гудулы, которая показалась мне старой знакомой; но когда я стал искать улицу с разнообразными вывесками и лавку из своего сна, я не увидел ничего, ровно ничего похожего. Напрасно я методично обошел все торговые кварталы этого нарядного города; пришлось признать бесполезность поисков и смириться с тем, что от них надо отказаться. По правде сказать, неожиданная удача скорее

напугала бы, чем обрадовала меня: она неизбежно увела бы меня в область вымысла и чудесного. Теперь я знал, что имею дело лишь с психологическим явлением, вероятно объяснимым; и, не загадывая, суждено ли мне когда-нибудь найти его точное объяснение, я спокойнее вернулся к добросовестному разбору явлений, доступных человеческому исследованию.

[5] Это расположение ума усиливается или ослабевает в зависимости от того, больше или меньше его упражняют. В пору моих ежедневных исследований того, как движутся мои сны, я мог пользоваться им почти каждую ночь. Теперь, когда я упражняю его лишь изредка, сознание своего положения возвращается ко мне во сне примерно через ночь. Если я держусь за него, чтобы разбирать обманы сна или управлять ими, я могу удерживать его довольно долго. Если же, напротив, я даю ему пройти, как мимолетной мысли, я могу его утратить, с тем чтобы, быть может, вновь обрести и вновь потерять вспышками. Но раз само начало этого расположения приобретено, я, думаю, могу утверждать — по своему опыту и по опыту нескольких других лиц, — что его никогда не теряешь совсем и что ему вновь можно дать широкое развитие, как только захочешь его упражнять.

Прошло несколько лет. Я почти забыл этот эпизод своих отроческих занятий, когда мне пришлось объехать разные области Германии, где я бывал уже в самые юные годы. И вот я оказался во Франкфурте и, спокойно куря после завтрака сигарету, шел куда глаза глядят, не наметив себе никакого пути. Я вошел на улицу Юденгассе, и целый рой неуловимых воспоминаний смутно начал овладевать моим умом. Я старался найти причину этого странного впечатления — и вдруг вспомнил цель своих бесполезных прогулок по Брюсселю. Святой Гудулы вдали, конечно, уже не было; но это была та самая улица, нарисованная в дневнике моих снов; те же прихотливые вывески, та же публика, то же движение, которые когда-то так живо поразили меня во сне. Один дом, как я уже сказал, я рассмотрел особенно тщательно. Его вид и номер крепко запечатлелись в моей памяти. И я бросился его искать, не без настоящего

волнения. Ждет ли меня новое разочарование или, напротив, я схвачу последнее слово одной из самых интересных задач, какие я себе когда-либо ставил? Пусть судят о моем изумлении и вместе о моей радости, когда я очутился перед домом, настолько в точности похожим на дом из моего давнего сна, что мне почти почудилось, будто я вернулся на шесть лет назад и еще не проснулся. В Париже у меня было бы немало шансов уже не найти ни этой приметной двери, ни ее старинного навершия, ни прежней вывески с неизменным именем торговца. Но во Франкфурте, где лихорадка сносов, к большому счастью, далеко не произвела таких опустошений, я имел удовольствие видеть подтверждение мнения, которое давно себе составил, — и о том, что образы-воспоминания складываются без ведома того, кто их собирает, и о четкости изображений, которые эти отпечатки могут воспроизводить во сне перед очами нашего ума.

Очевидно, я уже проходил по этой улице, когда впервые был во Франкфурте, то есть за три или четыре года до своего сна, и, сам того не подозревая и не умея объяснить, от каких особых условий это зависело, все предметы, представшие моему взгляду, мгновенно сфотографировались в моей памяти с изумительной точностью. Мое внимание, однако, в обычном смысле этого слова, должно было оставаться непричастным к таинственной работе, совершавшейся самопроизвольно, раз я не сохранил о ней ни малейшего ощутимого воспоминания. Здесь есть над чем серьезно поразмыслить всякому, кто захочет исследовать тайные силы человеческого разумения.

Остается, однако, еще один вопрос. Откуда эта примесь — церковь Святой Гудулы? Почему этот памятник, которого вы ко времени своего сна никогда не видели, оказался спаян с вашими

франкфуртскими воспоминаниями? Опираясь в этом на множество сходных наблюдений, я без колебаний отвечу.

Первое, что следовало бы рассмотреть, — это связь, которая могла установиться через ассоциацию идей между знаменитой брюссельской церковью, облик которой я знал по гравюрам, и этой франкфуртской улицей — одним из моих живых воспоминаний. Быть может, соединительное звено нашлось бы на какой-нибудь из тех же гравюр — в изображении двух больших вывесок, которые украшают фасады домов по соседству с церковью и очень похожи на те, что тянутся вдоль франкфуртской улицы. Но это лишь подробность весьма малой важности, подчиненная принципам, которые мне следует прежде всего прочно установить. Если эти принципы приняты, одновременное появление брюссельской церкви и франкфуртской улицы оказывается одним из простейших явлений. Одна мысль вызвала другую, и соответствующие образы тотчас явились, соединив в одной общей картине два внезапно связавшихся воспоминания.

Посмотрим же, сначала вкратце, как совершается во сне движение мыслей, как они сочетаются и соединяются и каковы, наконец, первые основания, на которые смогут опереться наши рассуждения.

IV

Об ассоциации и сцеплении идей; о наложении образов; о чистых отвлечениях и о порождаемых ими чудовищных видениях. — Как переходят от бодрствования ко сну. — Как складываются первые сновидения. — Объяснение некоторых бессвязных и странных снов. — Двоякое начало, к которому необходимо сводятся все события сна. — Польза знакомства с мнениями древних и новых авторов по

нескольким спорным вопросам, прежде чем самим пытаться прояснить их дальше.

Те, кто пишет о философских и психологических науках, условились понимать под *ассоциацией идей* то сродство, в силу которого идеи вызывают одна другую, — либо потому, что между ними есть легко узнаваемое родство, либо потому, что некие тонкие особенности, некое общее происхождение или общие отвлечения становятся таинственной связью, их соединяющей. Поэтому я оставлю за этим выражением его привычное значение и, напомнив здесь установленные мною выше принципы, а именно: 1) что образы сна — исключительно изображение перед очами ума предметов, занимающих мысль; 2) что связанный с каждой идеей образ является тотчас, как возникает эта идея, — скажу так: движущаяся панорама наших видений будет в точности соответствовать веренице чувственных идей; будет полное соответствие между движением, которое задает ассоциация идей, и мгновенным вызовом образов, которые один за другим станут возникать перед очами нашего ума.

Видение, следовательно, лишь второстепенное; главное — сама идея. Образ сна относится к вызывающей его идее точно так же, как изображение волшебного фонаря — к освещенному стеклу, которое его дает. Признав эту связь, установив это различие между причиной и следствием, надо прилежно разбирать единственно ход, ассоциацию и, если позволено употребить это слово, случайное смешение идей во сне, чтобы понять ткань сновидений, а также объяснить столько странных хитросплетений, столько причудливых замыслов, столько мнимых несообразностей, которые оказываются явлениями совершенно простыми и совершенно логичными, как только

удается уловить в самом их истоке вполне разумный порядок их развития.

С помощью личных наблюдений я попытаюсь дальше осветить некоторые затерянные тропинки этого лабиринта; но сначала хочу напомнить то, что каждый мог заметить сам.

Наяву, под властью забот действительной жизни, мы направляем свои мысли по пути, какой нам угодно им назначить, и при этом не позволяем им бродить, ускользая окольными дорогами. Бывают, однако, у нас минуты душевной пассивности, во время которых мы делаем то, что принято называть *грезить*. Это состояние — нечто среднее между бодрствованием и сном. Каждый не раз замечал это в поезде, когда объявление станции или иное случайное обстоятельство, внезапно возвращая его к ощущению действительной жизни, позволяло ему застать врасплох действия собственного ума. И вот главные законы, управляющие во сне самопроизвольным ходом мыслей, проявятся и в этом положении.

Последняя мысль, которая меня занимала, прежде чем я отдался этой грезе, была, предположим, мысль о друге, от которого я недавно получил известия и который путешествует для своего удовольствия по Италии. Его письмо напомнило мне о моем собственном пребывании в Риме, и тотчас же явилось воспоминание о Колизее. Мне довелось встретить в Колизее знакомого художника, превосходного человека и большого таланта, которого вскоре после того унесла преждевременная смерть. Я думаю о дне, когда продавали его картины и неоконченные холсты. Особенно вспоминается мне один эскиз: он изображал двух маленьких бретонских крестьян, полных прелести и жизни, которые силились управиться, как их старшие братья, с тяжелым заступом и гулким цепом. Тогда я переношусь в

то время, когда и я любил завладевать инструментами и лейками нашего садовника, очень тяжелыми для моих десятилетних рук. И вот я потерялся в смутном потоке детских воспоминаний, который в свою очередь унесет меня очень далеко.

Прибавьте образы — и эта греза станет самим сном. Образы? Но разве они не начали уже показываться, более или менее отчетливые, когда шум остановившегося поезда внезапно вывел меня из дремоты или из сна?

Женевский философ Жорж Лесаж, говорят, едва не сошел с ума, тщетно стараясь подстеречь в собственном уме переход от бодрствования ко сну, или, лучше сказать, к сновидению. Однако ему, должно быть, случалось испытывать в почтовой карете или в дилижансе то, что, как я только что сказал, каждый из нас замечал в поезде. Ошибка его, стало быть, состояла попросту в том, что он не понял: эта греза и была самим сном в его начале; и, терзая свой ум неотступной заботой, он останавливал как раз то естественное и самопроизвольное течение мыслей, без которого переход от бодрствования ко сну не может совершиться.

По мере того как тело цепенеет, по мере того как действительность забывается, ум все отчетливее различает чувственные образы занимающих его предметов. Если думаешь о каком-нибудь человеке или месте, лицо, одежда, деревья или дома, входящие в эти образы, понемногу перестают быть лишь смутными силуэтами и все отчетливее обрисовываются и окрашиваются. Попутно я даже спрошу всех, кто знает бессонницу и порой с нетерпением ждет сна, не замечали ли они часто, что столь желанный сон наконец совсем близко, как только в мгновенном забытьи они начинают различать хоть немного отчетливые видения. Дело в том, что эти минуты забытья с ясными видениями уже были мгновениями настоящего сна.

Переход от простого мечтания к самому ясному сновидению совершается без малейшего перерыва в сцеплении мыслей.

Но, могут меня спросить, как вы объясните бессвязные, чудовищные, странные, бесформенные сны, образец которых не мог встретиться в действительной жизни и, следовательно, не мог оставить в памяти своего *образа-воспоминания*? В том совершенно естественном сцеплении мыслей, которое мы замечаем в грезе и которое, по вашим словам, и есть сам сон, нет, кажется, ни одного такого элемента.

На это я отвечу прежде всего, что, как ни проста эта греза задремавшего человека, она содержит первый зародыш бессвязности, который возникнет из смешения времени и места. Вызванное воспоминание о событии, человеке или вещи, произведших на нас впечатление в какую-либо пору жизни, влечет за собой как фон картины образ дома, сада, улицы — словом, местности, среди которой впечатление первоначально возникло. Пока только думаешь, эта картина остается в тени, но она обрисуется, как только греза станет глубокой, и покажется вполне, когда сон станет полным. И часто случится, что эта картина исчезнет не так быстро, как мысль, с которой она была связана, и, подобно театральной декорации, которую не успели вовремя сменить по ходу действия, окажется уже не имеющей никакого отношения ни по месту, ни по времени к эпизодам, разыгрывающимся перед ней. Так, если мне сперва покажется, что я в Швейцарии, где вижу шале, напоминающие мне шале Жюля Жанена у входа в Булонский лес, а воспоминание о Жюле Жанене приведет мне на память какую-нибудь знаменитую певицу, которую я встретил у него, — я, быть может, воображу, что слышу пение этой артистки среди водопадов или ледников.

То, что происходит с этим фоном картины, точно так же произойдет и со множеством второстепенных подробностей или даже с некоторыми резко очерченными образами, которые будут еще занимать ум после того, как первоначальная мысль исчезнет, уступив место другой. Мне кажется, например, что сперва я присутствую на бое быков, где одного из тореро смертельно ранит разъяренное животное; затем, благодаря ассоциации идей, я переношусь к друзьям в Нормандию (где когда-то тоже видел разъяренного быка). Быть может, я и тут, посреди совершенно мирной сцены, увижу это окровавленное тело, слишком сильно меня взволновавшее, чтобы исчезнуть из мысли так же быстро, как арена и зрители.

В приведенном примере есть лишь бессвязность в чистом виде, сближение образов без видимого соотношения; но под действием тех же законов может возникнуть другое примечательное явление, удивительные последствия которого я не раз отмечал, после того как удачное наблюдение дало мне к нему ключ. Новое сравнение, взятое из действия волшебного фонаря, будет, думаю, очень удобно, чтобы его определить. Если вам вздумается вставить в фонарь второе стекло, прежде чем вынуто первое, может равно случиться одно из двух: либо фигуры, нарисованные на обоих стеклах, явятся рядом друг с другом и составят разнородное целое, в котором Синяя Борода окажется лицом к лицу с Мальчиком-с-пальчик; либо они покажутся наложенными одна на другую, и тогда у Синей Бороды будут две несхожие головы, четыре ноги или грозная рука, торчащая из уха.

Первое предположение покажет нам тело тореро, распростертое, никем не замечаемое, посреди мирной семьи, занятой разговором об охоте и садоводстве или чаепитием. Второе породит самые разнообразные несообразности, несколько

примеров которых я приведу дальше, но гораздо больше примеров каждый найдет в собственном опыте. В сочетаниях такого рода мы оказываемся перед бесконечностью.

Две идеи со своими образами могут также порой явиться, так сказать, разом, вызванные одновременно сцеплением воспоминаний. Это было бы тогда так, как если бы перед объективом фонаря провели сразу два стекла. Сочетание почти то же; и результат тот же. Я думаю, например, о сфинксах, вывезенных из Севастополя, которые украшают решетку Тюильри. Ассоциация идей тотчас и одновременно вызывает образ одного из моих друзей, павшего в Крымскую войну, и картину развалин Мемфиса, где изображены другие сфинксы. Я сразу вижу этого друга, умершего уже несколько лет назад, и мне кажется, что он вместе со мной в Египте осматривает эти остатки величественной древности.

Другая причина чудовищности и странности наших снов, едва ли не самая любопытная и самая частая, которая по части бессвязности производит на первый взгляд самые непостижимые результаты, — это склонность нашего ума во время сна часто действовать путем *отвлечения* в том, как он рассматривает различные предметы, воспоминание о которых вызвано.

Он переносит тогда с одного предмета на другой какое-нибудь качество или состояние, которое уловил преимущественно перед прочими. Если во сне его особенно поразит худоба изнуренной лошади, запряженной в бедную тележку, и если эта тележка заставит его вспомнить какого-нибудь арендатора, у которого примерно такая же упряжка, он, быть может, перенесет отвлеченную идею худобы и истощения на этого арендатора, который в свою очередь возникнет посреди сна, и увидит его готовым испустить дух. Или же, напротив, если его больше заняла

идея *запряжки*, он увидит самого арендатора в хомуте, ничуть этому не удивившись.

Порой, наконец, воспоминания вызываются одно за другим и сцепляются единственно сходством чувственных форм, что, впрочем, тоже своего рода отвлечение, способное порождать самые странные сочетания. Не применяя этого к снам, Гранвиль чувствовал эти прихотливые превращения, когда его карандаш показывал нам постепенный ряд силуэтов, начинавшийся силуэтом танцовщицы и кончавшийся силуэтом неистово вертящейся катушки. Это последнее явление бывает особенно в минуты большой душевной пассивности, когда душа, укрывшись словно в глубине ложи, как бы рассеянно созерцает вереницу более или менее отчетливых образов, проходящих перед нею.

Мы видим, что в зависимости от того, как он происходит и как сочетается, один лишь вызов воспоминаний, накопленных в тайниках памяти, достаточен, чтобы породить сны, на вид самые удивительные. А ведь до сих пор я говорил лишь о сне, где мысли сцепляются и развертываются сами собой, без того чтобы какая-либо физическая причина, внутренняя или внешняя, осложняла, прерывала или изменяла их течение. Такой случай будет представляться редко, настолько часты, напротив, всякого рода мелкие происшествия, которые, возникая одни вне нас (шумы, тепло, прикосновение и т. д.), другие в нашем собственном организме (стеснение дыхания, нервные подергивания и т. д.), тотчас пробудят мысли, связанные с теми впечатлениями, с которыми они первоначально были соединены, и непременно бросят поперек уже идущего сна весь запас образов, связанных с этими новыми мыслями, предоставив уму разбираться, как сумеет, в этой разнородной смеси. Сколько осложнений, сколько

наложений, сколько несообразностей следует с тех пор ожидать, не удивляясь им!

Тот факт, что у спящего часто устанавливается прямое соответствие между впечатлениями, которые испытывает тело, и мыслями, из которых складывается сон, признан так всеобще, что я не считаю нужным задерживаться на его доказательстве. Изучить остается разнообразное действие этих различных впечатлений на ткань наших снов; и я полагаю, что среди естественных снов нет столь странного и столь сложного, который не происходил бы от одного или другого из двух следующих явлений или от обоих вместе:

1) естественного и самопроизвольного развертывания непрерывной цепи воспоминаний;

2) внезапного вмешательства мысли, чуждой тем, что составляли цепь, вследствие какой-нибудь случайной физической причины.

Более глубокий разбор действий ума во сне, многочисленные наблюдения, убедительные опыты должны теперь развить, показать и доказать то, что было сейчас кратко изложено; и нам предстоит также увидеть, как в образовании снов может участвовать третий элемент, который, в свою очередь, будет происходить от действия воли, продолжающегося во время сна. Но прежде чем входить в эти новые подробности, хорошо будет, думаю, бросить беглый взгляд на историю самой онейрокритики — науки о снах — и рассмотреть мнения, которых держались в разные эпохи главы школ и самые прославленные писатели. Читатель будет лучше подготовлен к тому, чтобы судить о вопросах, которые затем будут ему предложены, и взвесить относительное значение важнейших пунктов, требующих прояснения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГДЕ, ИЗЛАГАЯ МНЕНИЯ ДРУГИХ, АВТОР ПРОДОЛЖАЕТ ИЗЛАГАТЬ СВОИ

✦

I

Древние: египтяне; халдеи; евреи; арабы; народы Востока; греки; римляне. — Инкубация. — Происхождение слова dormir (спать). — Книги Артемидора. — Гиппократ и его мысли о снах. — Почему отцы Церкви запретили толкование снов. — Тайны, которыми, должно быть, владели языческие жрецы. — Что в итоге следует думать о науке толкования снов у древних.

Как далеко ни заглядывай в древние предания, всюду находишь неизменное стремление изучать сны и открывать их таинственные связи с действительной жизнью.

Уже во времена Иосифа фараон египетский созывал всех прорицателей своего царства, чтобы получить объяснение знаменитого сна, который его тревожил. Сабакон, другой царь той же страны, позднее сложил с себя корону, убежденный сном, что время его царствования истекло.

Халдеи с неменьшим усердием предавались гаданию по снам. Сон Навуходоносора известен всем. Порфирий сообщает нам, что Пифагор научился искусству толковать видения сна, путешествуя у халдеев, евреев и арабов.

Те же верования у персов, у греков, у индийцев и даже у китайцев, чьи представления на этот счет имеют, впрочем, особый характер. Китайцы верят, что душа спящего человека может, пока

тело спит, одна отправляться в дальние странствия и приносить оттуда весьма ценные предостережения[1].

[1] Вот пример тому, взятый из китайских комментариев к одному старинному поэту Китая. Поэт сказал: *Мы свидимся во сне, ибо мой дух, ища ваш, сумеет вернуться сюда.* Комментатор добавляет, как простой факт, о котором стоит напомнить: «Знаменитый ученый Хань Кан удалился в горы. Хань Фэй-цзы, Чжан Мин и Гао Хуэй, все трое его друзья, пришли навестить его и решили вернуться к нему во сне. Двоим первым это удалось, но дух Чжан Мина сбился с пути на полдороге и не смог отыскать дорогу». (*Стихотворения эпохи Тан*, переведенные с китайского вместе с подлинными комментариями маркизом д'Эрве-Сен-Дени.)

Спартанские правители спали в храме Пасифаи, чтобы во сне узнать о том, что касалось общественного блага.

Оратор Аристид оставил книгу дневниковых записей, где подробно изложены все сны, которые, по его словам, он видел во время долгой болезни.

У царя Митридата было собрание снов его наложниц. Сон Догдо, матери Зороастра, сны Ксеркса, Дария, Астиага и другие, приводимые Геродотом, Квинтом Курцием, Юстином и множеством иных авторов, свидетельствуют, какое доверие питали тогда к онейрокритике — науке толкования снов, — а также и о том, какую пользу умели извлекать из нее люди ловкие и изобретательные.

История дает нам и бесчисленные примеры веры в сны у римского народа. Тит Ливий рассказывает, что Атиний был наказан за то, что промедлил сообщить консулам о важном сне, который ему привиделся. Геродиан, Плиний, Валерий Максим выказывают полную убежденность в подлинности многих чудесных случаев того же рода, которые они передают. Наконец, сам Цицерон, оспаривая поверья своего времени, как будто оправдывает сенат, тщательно разузнававший о всех снах, какие могли касаться общественного дела. Он заявляет, что нет ни

царства, ни города, где не занимались бы этими таинственными откровениями[2].

[2] De divinatione, кн. I.

Притом дело отнюдь не ограничивалось толкованием случайных снов. С глубочайшей древности в Египте существовал обычай, распространившийся оттуда в Грецию и по всему остальному *orbis vetus*, применять священное толкование снов к лечению упорных болезней посредством снов вызванных и ожидаемых. Диодор сообщает нам, что в храме Исиды засыпали, чтобы получить во сне тайные средства к исцелению. Жрецы этого божества, бывшие одновременно врачами и первосвященниками, владели и передавали друг другу искусство усыплять больных, а затем, как они уверяли, постигать значение светлых снов, которые им пересказывали[3]. Этот обычай назывался *инкубацией*, и жрецы, совершая его, приносили жертвы *инкубам*. Шпренгель приводит тому несколько примеров[4]. Плавт намекает на него, говоря: *Incubare satius te fuerat Jovi*: «Лучше бы тебе пойти поспать в храме[5]». Обычай этот был, впрочем, так распространен, что ученый Генрих Коринги счел нужным издать о нем целый трактат под заглавием: *De incubatione in fanis Deorum medicinae causa olim facta*.

[3] Диодор, кн. I, гл. XXV.

[4] *Прагматическая история медицины*, т. I.

[5] *Куркулион*, д. II, явл. 2.

Император Антонин Каракалла, сын Севера, отправился ради здоровья в Эпидавр, где увидел сон, какого желал[6].

[6] Геродиан, кн. IV.

Гален не побоялся приписать исцеление от болезни, перенесенной им в юности, кровопусканию, сделанному тем способом, какой был ему указан во сне[7].

[7] Гален, гл. III, De curatione.

Плутарх, говоря о храме Мопса в Киликии, прямо сообщает, что больные приходили туда спать по обычаю и что божество через уста своего оракула толковало сны, которые оно посылало во время сна пришедшим вопросить его.

Павсаний в описании Аттики объясняет, что больные, прибегавшие к оракулу Амфиарая, приносили в жертву барана и засыпали на его шкуре, ожидая вещих снов. Сходные обычаи упоминает Страбон в связи с храмом Сераписа в Канопе и с двумя героонами — святилищами, посвященными одно Калханту, другое Подалирию, которые стояли одно на вершине, другое у подножия холма в Давнии. Еще во времена этого писателя говорили о чудесных исцелениях, полученных в этих прославленных местах. Приносимый в жертву баран должен был быть черным. Его шкура также служила ложем для спящих[8].

[8] Фоссий, немецкий ученый XVIII века, оставивший разные сочинения о снах, приводит по этому поводу происхождение слова *dormir* (спать), достаточно любопытное, чтобы о нем упомянуть: «так как было в обычае расстилать *шкуру*, δέρμα, чтобы на ней спать, то от δέρμα сначала сказали *dermire*, потом заменили *e* на *o*, как в *bonus* из *benus*, *homo* из *hemo*, *toga* из *tego*, *Corcyra* из κέρκυρα и в трехстах других словах».

Аристофан, комический поэт, подтверждает существование того же обычая, делая его предметом язвительной насмешки в своей комедии «Плутос»[9].

[9] Д. III, явл. 2.

Вергилий, наконец, так описывает то, что совершалось в храме Фавна:

…. Huc dona sacerdos
Cum tulit et caesarum ovium sub nocte silenti
Pellibus incubuit stratis, somnosque petivit, etc.[10]

[10] *Энеида*, VII.

Видя это единодушие древних, столь сильно занятых иллюзиями сна, и читая даже у некоторых священных писателей, что среди язычников были люди, хвалившиеся, будто могут посылать сны по своему желанию[11], сначала приходишь к мысли, что эти жрецы и прорицатели, столь искусные толкователи или столь могущественные вдохновители видений, почитавшихся божественными, должны были под покровом чудесного скрывать глубокое знание психологических и физиологических явлений, свойственных сну; что они уловили тесные соответствия между телесным и душевным состоянием спящего и природой его снов и что таким образом они могли строить свои догадки на тем более прочных основаниях, что опорой им мог служить долгий опыт.

[11] Св. Иустин, *Апология*, I, № 18. Тертуллиан, *Апологетик*, гл. XX.

Если хоть сколько-нибудь ценить подобные изыскания, испытываешь поэтому живейшее желание разобрать самые основы науки толкования снов. Если первоначальные памятники более не существуют, у нас остаются по крайней мере пять книг грека Артемидора (ὀνειροκριτικῶν), составленных, как известно, во II веке нашей эры по преданиям, самым почитаемым и самым признанным в ту эпоху. С немалым любопытством открываешь эти длинные и обстоятельные рассуждения о снах современника Марка Аврелия и Антонина Пия; но как быстро рушатся надежды,

которые на них возлагал! Едва прочтешь несколько глав этого сочинения, как весь интерес, который в нем предполагался, уже исчезает. Видишь, что толкования этих прорицателей не открывают тонкого и серьезного наблюдения, а опираются только на мифологические верования, условные теории или произвольные сопоставления, порой очень далекие от жизни, нередко совсем бесхитростные[12]. Отсюда вывод: если жрецы языческой древности и владели, в чем я не сомневаюсь, искусством влиять на сны верующих, приходивших спать в их храме, они пользовались им лишь для того, чтобы внушать им видения, согласные с их учениями, а вовсе не для того, чтобы получить от спящего сознательное изучение его самых сокровенных восприятий.

[12] Быть может, не без интереса прочтут по поводу некоторых толкований снов у древних следующую выдержку из сочинения англичанина Уорбертона об иероглифах, изданного в середине прошлого века: «Артемидор, живший около начала II века, написал трактат о снах и для составления своего труда пользовался авторами гораздо более древними. Он делит сны на умозрительные и иносказательные. Первый род — тот, что представляет простой и прямой образ предсказанного события. Второй род представляет лишь его образ переносный и символический, то есть непрямой. Этот последний род и составляет обширный разряд снов неясных, нуждающихся в толкователе. Положив это, следует рассмотреть, какое основание могло изначально иметь толкование, которое давал онейрокритик, когда говорил вопрошавшему его, что дракон означает царскую власть, змей — болезнь, гадюка — деньги; что лягушки обозначают обманщиков, голуби — женщин, а куропатки — нечестивых людей; что ласточка указывает на скорбь, смерть или бедствие, кошка — на прелюбодеяние, а ихневмон — на злого человека и т. д. Ибо древняя онейрокритика состояла в такого рода изысканных и таинственных толкованиях. Вот естественное разрешение трудности: символическая наука, в которой египетские жрецы, бывшие первыми толкователями снов, стали весьма искусны, служила основанием их толкований. Такая система должна была доставлять искусству большое доверие и равно удовлетворять и вопрошавшего, и вопрошаемого, ибо египтяне почитали своих богов творцами иероглифической науки. Что же естественнее, чем предположить, что те же боги, которых они считали и творцами снов, говорили в снах тем же языком, что и в иероглифах? Правда,

когда онейрокритика однажды вошла в почет, каждый век привносил для ее украшения новые суеверия, которые под конец так ее обременили, что древнее основание, на котором она покоилась, стало совсем неизвестно. …… Если бы нужно было распространиться далее, чтобы доказать происхождение онейрокритики, я остановился бы на примерах толкований, приведенных мною чуть выше по Артемидору. Я мог бы привести их великое множество, и стало бы видно, что эти толкования не отличаются от символических толкований, какие находим у Гораполлона. Наконец, есть одно примечательное обстоятельство, которое снимает всякую трудность. Я лишь укажу на него, хотя предмет и заслуживал бы того, чтобы на нем остановиться подробнее. Особым словом, которым онейрокритики обозначали призраки, видимые во снах, было ΣΤΟΙΧΕΙΑ, что значит *начала*, *стихии*. Нелегко было бы найти убедительную причину употребления столь странного слова при всяком ином предположении, кроме того, что выводит онейрокритику из символического письма. Но при этом предположении дело становится простым и очевидным, ибо символические знаки назывались ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Итак, раз они пользовались символами, не было ничего проще и естественнее, чем употреблять одно и то же слово для обозначения одних и тех же образов, начертанных на камне или в воображении». *Уорбертон, «Опыт об иероглифах». Французский перевод. Париж, 1744.*

Так, у Артемидора мы читаем наставления и примеры вроде следующих[13]:

[13] Я сохраняю слог французского перевода, изданного в 1634 году Шарлем Фонтеном. Этот перевод соединяет достоинство точности с достоинством совершенной добросовестности.

> «Олива — древо всегда зеленое и крепкое, и с древнейших времен посвящено богине Минерве, почитаемой богиней Премудрости. Некоему мужу приснилось, что из главы его выросла олива, и он с великим усердием предался изучению Философии и стяжал в ней знание и честь непреходящую».

В другом месте:

> «Жабы и лягушки — то обманщики и пустословы; но видеть их во сне хорошо тем, кто живет от общего достояния. Знавал я человека, коему снилось, что он бьет кулаком, костяшками и суставами перстов по лягушкам, и случилось так, что хозяин его

дал ему власть надо всеми прочими в доме. Ибо можно рассудить, что пруд означал дом, лягушки — его обитателей, а удары перстами — начальствование.

Бегать хорошо, кроме как больным, когда им удается добежать до конца своего бега, ибо сие означает им, что вскоре придут они к пределу и концу жизни своей.

Часто видеть одни и те же сны, и притом много ночей кряду, — знак, что наш дух вразумляет нас и усердно предрекает нам одно и то же и что о том стоит поразмыслить; ибо когда мы питаем великую привязанность к чему-либо, то не можем удержаться, чтобы о том не думать и не говорить. Но если одни и те же сны видены с долгими промежутками времени, то не всегда должны означать одно и то же, а скорее разное, смотря по перемене времени и дел.

К слову сказать, продавцу благовоний и духов приснилось, что он лишился носа, — и он лишился своего товара и ничего более не продал: ибо он потерял нос, коим судят о запахах. Долгое время спустя, когда он уже не торговал духами, приснился ему тот же сон, будто у него нет носа, — и его обвинили в подлоге, и он бежал из своей страны: ибо весьма безобразно и бесчестно лишиться носа, который стоит на самом видном месте лица. Тот же самый торговец благовониями, заболев некоторое время спустя, вновь увидел во сне, что у него нет носа, — и умер: ведь и у мертвых голов носа нет. Так один и тот же сон у одного человека трижды в разное время означал разное».

А между тем еще в V веке до нашей эры могучий гений, которого зовут Гиппократом, расставил превосходные вехи для тех, кто захотел бы вступить на верный путь в изучении болезненных снов. Отдав сначала должное понятиям своего времени, он допускает, что могут быть сны, посылаемые богами, но вместе с тем заявляет, что оставляет объяснение этих сверхъестественных

снов священным толкователям и сам желает заниматься лишь снами естественными — единственными, причины которых наука может исследовать и из которых может извлечь пользу.

Гиппократ принадлежал к школе герметических философов. Он различал в человеке три начала: душу, способный к совершенствованию дух и тело.

«Знаки, являющиеся во сне, — говорит он, — окажутся во всем весьма значительными для того, кто сумеет здраво о них судить. В самом деле, душа, пока служит бодрствующему телу, делится между многими занятиями и не принадлежит самой себе. Она уделяет некоторую долю своей деятельности каждому делу тела — слуху, зрению, осязанию, ходьбе, всем телесным делам; когда же тело покоится, она обходит свое жилище, она управляет всеми его различными отправлениями. Тело спит, а она бодрствует, видит, слышит, движется, осязает, скорбит, вспоминает. Кто сумел бы судить о ней в этом состоянии, тот владел бы большой частью науки[14]».

[14] Περὶ ἐνυπνίων.

По его мнению, в естественных снах душа дает нам представление о состояниях тела. Каждое особое расстройство нашего организма обнаруживается образом, соответствующим ощущению, воспринятому изнутри. И великий наблюдатель, который столь разумно указывает и врачам, и философам источник драгоценных открытий, сам начинал с того, что давал свод своих врачебных наблюдений над некоторыми из снов, наиболее частых у всех людей, — вероятно, с тех пор, как первые люди стали видеть сны.

Конечно, если бы две тысячи лет шли этим путем, мы были бы ныне очень богаты должным образом проверенными фактами. Но чудесное, к несчастью, увлекает сильнее, чем правдоподобное, и

вместо того чтобы в последующие века накапливать материал для серьезного изучения, продолжали, по крайней мере с виду, заниматься исключительно поверьями, от которых наука ничего не получила[15]. Мифологические учения древних и чисто условные основания, на которых покоилось все их толкование снов, были так тесно связаны, что отцы Церкви не раз считали своим долгом выступать против толкования снов, объявляя его запятнанным язычеством именно из-за религиозного характера, который ему всегда придавали. Авторитет некоторых пророческих снов, освященных Священным Писанием, не мог остановить их как противоречащий прецедент, ибо в то самое время, когда сны Иакова, Авимелеха, Соломона, Даниила и другие заносились в священные книги, доверие к мирским видениям было этими же книгами прямо запрещено. Признание сверхъестественного факта, очевидно, не может служить основанием для оценки фактов обычного порядка. «Чудо, — сказал Ж.-Ж. Руссо, — есть в частном случае непосредственное действие божественной силы, ощутимое изменение в порядке природы, действительное и видимое исключение из ее законов[16]».

[15] Гален, однако, проникся мыслями Гиппократа о значении снов в патологии. Он указал также на тонкость внутренних восприятий во время сна. «Nimirum anima, quando non vacat sensibus externis, profundius sentit ea quae ad corporis dispositionem pertinent», — писал он.

[16] *Письма с горы*.

Итак, из науки толкования снов у древних — по крайней мере в том виде, в каком она дошла до нас, — для практической цели, которую мы себе ставим, извлечь нечего. Останется лишь, как предположение, вопрос: не были ли эти жрецы Исиды, Сераписа, Эскулапа и других божеств более сведущи, чем хотели казаться, в искусстве вызывать физическими средствами те сны, которые

непременно видели, засыпая у подножия их алтарей. Порфирий и его ученик Ямвлих (или Iamblichus), писавшие о мистериях Египта в III веке нашей эры, сообщают нам драгоценную подробность, которая весьма располагает к размышлению на этот счет. Применялись, говорят они, окуривания, заклинания и прикосновения. Ученик видит в этих действиях лишь благочестивые обряды для вступления в общение с божеством (*ad efficiendam cum Deo congruitatem*), тогда как учитель называет их искусными приемами, имеющими целью вызвать своего рода бред (*phantasia*) и придать мыслям спящего рассчитанное движение. Я убежден, что можно управлять как собственными снами, так и снами других, и постараюсь это доказать; не знаю, не читаю ли я эти места с предубеждением, но я не сомневаюсь, что по отношению к больным, лежавшим в этих храмах, применялась часть тех приемов, которые я постараюсь изложить несколько далее[17].

[17] Шкуры, на которых заставляли спать больных, должны были, впрочем, весьма вероятно, подвергаться какой-то обработке, способной углублять сон и вызывать сны определенного характера.

II

От Средних веков до нашего времени. — Пьер Ле Луайе. — Кардинал Бона. — Фоссий. — «Искусство сделать себя счастливым посредством снов, то есть доставляя себе любой сон, какого только пожелаешь». — Курт Шпренгель. — Кабанис. — Кондильяк. — Бенджамин Франклин. — Мюллер. — Филон Иудей. — Пьер Бейль. — Мнение этих писателей о предостережениях и предчувствиях, которые бывают во сне. — Материалистическая школа. — Бурхаве. — О непрерывности мысли, о забвении снов и о волении, иначе говоря, о действии воли во сне. — Дарвин. — Форме. — Жуффруа. — Дугалд Стюарт.

От писателей древности до писателей эпохи, сравнительно весьма близкой к нашей, мне показалось трудным найти о сне и сновидениях хоть одно новое соображение, действительно достойное упоминания. Редкие авторы Средних веков, касающиеся этого вопроса, делают это почти только с исторической или богословской точки зрения: одни переписывают древних, которых цитируют по всякому поводу, другие пространно рассуждают о снах, которым, по их мнению, следует приписывать божественное или дьявольское происхождение.

В одной любопытной книге, написанной к концу XVI века с большой ученостью схолиаста и с такой независимостью взглядов, какая встречалась тогда редко[1], я впервые замечаю возвращение к истинному духу исследования, стремление выйти с путей мистики и из наезженной колеи древности. Я замечаю там также ясно высказанное мнение, что не бывает сна без сновидений, — одно из самых важных и самых спорных мнений, какие нам предстоит рассмотреть.

---

[1] *Рассуждения о призраках, видениях, явлениях духов и пр.* Пьера Ле Луайе, советника короля при президиальном суде Анже.

> «Когда пища переварена, когда пары, подымавшиеся к мозгу, улеглись, когда тело и внутри, и снаружи пребывает в добром покое и благорасположении, когда грудные части, коими поддерживается жизнь, исправно несут свою службу, легкое хорошо дышит, освеженное сердце бьется, печень претворяет сок пищи в кровь и разделяет ее по венам и артериям, — при таких занятиях, коим предаются благороднейшие части уснувшего тела, подумает ли кто, что *душа*, бодрствующая непрестанно, остается праздной? Она делает нечто куда большее, чем печень, сердце и легкое. Поистине, тогда-то она и может свободнее всего

рассуждать в свое удовольствие, когда тело, ее темница, не держит ее слишком стесненной заботами и повседневными делами».

Аскетический писатель, явившийся полувеком позже, кардинал Бона делит сны на три разряда по происхождению, которое он им приписывает: видения божественные, видения дьявольские, видения естественные; и с самого начала объявляет, что этими последними он будет заниматься меньше всего. Однако в его трактате есть отрывок о возникновении образов и о силе воображения во сне, который кажется листком, оторванным от какого-нибудь гораздо более нового сочинения:

«Естественные сны имеют причиной *воображение*[2]. Можно только спросить, воспринимает ли оно страдательно, посредством внутреннего чувства, или же и разум принимает в этом какое-то участие. Несомненно, во сне случается произносить обдуманную речь, слагать изящные стихи, философствовать о самых возвышенных предметах — все это вещи, которые, по-видимому, зависят не только от воображения, но и от рассуждения. Есть, однако, философы, полагающие, что эти действия не превышают сил воображения. Ибо всякий раз, когда в бодрствовании разум занят предметами спора или доказательства, внутреннее чувство, называемое мыслительной силой, не остается бездеятельным и, подобно планете, следует высшему движению. Иначе говоря, душа или ум (*animus*) не может ничего помыслить без того, чтобы воображение тотчас не представило чего-то подобного, вызывая образы, которые во сне обладают такой обманчивостью, что заставляют верить в присутствие действительных предметов (*ac si res vera ageretur*)».

[2] Под воображением автор разумеет просто способность воспринимать образы.

Фоссий, современник кардинала Бона, подобно ему, рассматривает вопрос о снах, но смотрит на него с совсем иной

стороны. Он цитирует Гиппократа, цитирует Галена; он настаивает на той пользе, какую медицина могла бы извлечь из откровений, доставляемых некоторыми болезненными снами. «Душа, — говорит он, — когда она не отвлечена внешними занятиями, глубже чувствует впечатления, связанные с состоянием тела. Впрочем, насколько хорошо судить по снам о состояниях тела, настолько безрассудно искать в иллюзиях сна, как это делали Артемидор и Кардан, предзнаменования, не связанные с состоянием самого спящего».

Здесь, по хронологическому порядку, следует, быть может, самое странное издание, когда-либо выходившее о снах. Автор озаглавил свою книгу *«Искусство сделать себя счастливым посредством снов, то есть доставляя себе любой сон, какого только пожелаешь»*[3]. Он утверждает, будто получил от старого индейца из Иллинойса, лекаря и колдуна своего племени, целый ряд аптекарских средств, которые он сам будто бы расширил и усовершенствовал и с помощью которых нет такого сна, какого нельзя было бы тотчас и с величайшей легкостью себе доставить. Открыв оглавление, видишь, что даются особые рецепты: *чтобы увидеть во сне, что присутствуешь на великолепных зрелищах; что ты весьма остроумен; что выступаешь в пышном наряде с большой свитой и множеством слуг*; или же: *что получаешь последние милости дамы на цветущей лужайке, или в роще, или у источника; что купаешься с прекраснейшими особами на свете* и т. д. и т. д.

[3] Франкфурт и Лейпциг, 1747.

Вот, конечно, чем подстрекнуть любопытство читателя, особенно если он убежден, что влиять на сны не невозможно, и если он рассчитывает найти здесь если не формулы столь удивительной

действенности, то хотя бы указание на какие-нибудь сильные и малоизвестные снотворные. Но едва этот любопытный читатель пробежит две-три страницы, как он закрывает книгу, чтобы больше ее не открывать. У него не остается даже того веселого впечатления, какое мы порой испытываем, когда нас любезно разыграли, ибо он прочел лишь скучное нагромождение надуманных рецептов — слишком вычурных, чтобы быть написанными всерьез, и слишком несообразных, чтобы искать в них хоть зерно истины. Следующий рецепт позволит судить обо всех остальных; он должен доставить один из сладострастных снов, о которых говорилось выше:

> «Возьмите две драхмы терпентина, растворенного в желтке яйца дикой утки, полторы драхмы диаскордия фракарбора, скрупул истолченных в порошок красных роз, восемь унций козьего или кобыльего молока, горсть будры, приворот-травы, или львиной лапки, подорожника или римской ромашки, по полгорсти каждого, четыре щепотки верхушек американского зверобоя; два скрупула оскребков оленьего рога, три драхмы волчьего уда и шесть — китового семени. Сварите все в достаточном количестве камфарной водки. Прибавьте к семи унциям процеженного отвара по унции сиропа из коралла и из большого окопника и шесть драхм бальзама и нашатырного спирта. Оставьте этот отвар в глиняном сосуде в прохладном месте на три месяца, по истечении коих вылейте его в три пинты мальвазии и перегоняйте до тех пор, пока у вас всего не останется одна пинта жидкости. Заключите эту жидкость в герметически запечатанную бутылку и вешайте ее на воздух все лето, за три часа до полудня и через три часа после, когда стоит хорошая погода, дабы она могла, так сказать, пропитаться теплом и лучами солнца».

А вот как ею пользоваться:

«Нужно всего три капли на пинту обыкновенной воды, которую подогревают и которой моют ноги, руки, голову и грудь, прежде чем заснуть».

Более двухсот страниц напечатано в таком роде, без иной затраты воображения, кроме некоторого разнообразия в хаосе перечисляемых снадобий. Если судить лишь по его собственным достоинствам, подобный сборник едва ли стоило упоминать; но его можно было встретить в некоторых каталогах и составить себе по заглавию более заманчивое представление о нем, чем он того заслуживает; вот почему я счел нужным сказать о нем несколько слов.

Наступает XVIII век, а с ним то движение умов, которое назвали философским и которое породило новую физиологию. Курт Шпренгель, врач и философ одновременно, один из последователей этого движения, доктор университета в Галле, в своей *Прагматической истории медицины*[4] кратко разбирает главные верования древних в области толкования снов; он заканчивает свой обзор следующими соображениями, хорошо обозначающими новую школу:

[4] T. I, c. 458.

«В снах воображение и память действуют независимо от всех внешних чувств и не будучи смущаемы впечатлением окружающих предметов».

Я цитирую, оставляя за собой все оговорки относительно самого этого утверждения.

«Душа, освобожденная от уз, приковывающих ее к телу, кажется предоставленной собственной первоначальной деятельности. Она сочетает идеи, она строит рассуждения, к которым ощущения и

животный разум не могли бы дать повода в состоянии бодрствования. Впечатления, давно забытые, воскресают в новых, более ярких красках. Душа переносится в мир, ею созданный, где ясные образы мест или времени редко придают идеям ту правдивость, какую они приобретают лишь при содействии чувств. Как же после этого предположить, что человек природы, не знающий законов, управляющих телом и душой, не припишет ощущений, испытываемых во сне, вмешательству гения или существа своего рода, к которым он, впрочем, привык относить все действия, причина коих для него не очевидна?»

Современник Шпренгеля, Кабанис — из тех, кто думает, что воля может сохраняться во сне с большей или меньшей живостью, смотря по характеру и нравственной силе разных людей. Он приводит пример Кондильяка, который сам свидетельствует, «что, работая над своим курсом наук, он часто бывал вынужден ради сна оставлять работу уже подготовленную, но незаконченную, и что, проснувшись, он не раз находил ее завершенной в своей голове».

Затем Кабанис, намереваясь объяснить естественным образом, подходит к столь трудному и щекотливому пункту вопроса — вещему характеру снов — и пишет бесстрашно и, на мой взгляд, весьма здраво:

«У нас бывают иногда во сне мысли, каких у нас никогда не было. Нам кажется, например, что мы беседуем с человеком, который говорит нам вещи, нам неизвестные. Не следует удивляться, что во времена невежества легковерные умы приписывали это странное явление сверхъестественным причинам. Я знал человека весьма мудрого и весьма просвещенного, г-на Бенджамина Франклина, который полагал, что несколько раз получал во сне указания об исходе дел, занимавших его в ту пору. Его сильный

ум, к тому же совершенно свободный от предрассудков, не смог уберечься от всякой суеверной мысли в отношении этих внутренних предостережений. Он не обращал внимания на то, что его глубокая осмотрительность и редкая проницательность продолжали направлять работу его мозга и во сне, как это часто можно наблюдать даже в бреду у людей с упражненным нравственным складом. В самом деле, ум может продолжать свои изыскания в снах; он может быть приведен известной последовательностью рассуждений к мыслям, которых у него не было».

Без сомнения, одна из самых занимательных сторон занимающего нас предмета — это столь могучая проницательность, этот род интуитивного прозрения, до которого ум может порой подняться в состоянии сна благодаря полному сосредоточению всех сил внимания и вместе с тем крайнему возбуждению телесной или душевной чувствительности, сгущенной, так сказать, в одной точке.

Мюллер, наш современник, явно держится той же мысли, что и Кабанис, когда пишет в своем трактате по физиологии: «Случается, что нам снятся странные положения, имеющие как бы характер предчувствия, то есть возможные состояния предстают нам в виде образных представлений, и затем событие может совпасть с нашим сном, причем в этом нет ничего чудесного. Например, кто-то живо нас занимает; мы знаем его довольно хорошо, хотя и не вполне в нем уверены; мы считаем его откровенным и правдивым, и все же у нас есть некоторый повод подозревать, что он на самом деле не обладает этими качествами. Видя его во сне, мы ставим его в положения, которые обнаруживают его неискренность и неправдивость; если затем

наши подозрения на его счет оправдаются, бывший у нас сон кажется удивительным, а между тем он вовсе не таков[5]».

[5] Мюллер, *Handbuch der Physiologie des Menschen*: Vom Schlaf; кн. VI, гл. 4.

Сделаем поправку на эпохи и школы, и мы признаем, что Филон Иудей наблюдал факты этого рода, когда писал сам в I веке нашей эры: «что некоторые сны рождаются из движений души, согласующихся тайным сочувствием с ходом вселенной, как происходящие от одного корня; откуда следует, что, поскольку множество будущих событий уже подготовлено в настоящем, душа сама угадает будущее, когда получит верное прозрение настоящего». Конечно, я не считаю себя вполне просвещенным этим объяснением Филона Иудея; но надо признать, что и факты, о которых идет речь, не совсем так просты, как угодно утверждать прусскому доктору, с его твердым намерением ничему не удивляться.

Если установлено, что состояние сна позволяет нам порой улавливать в себе восприятия столь тонкие, что в любое другое время они неуловимы, как я только что говорил; если ум спящего человека, следуя естественному ходу ряда безотчетных рассуждений, основанных на верных посылках, приходит к ясному открытию верного следствия, и притом с большей проницательностью, чем в бодрствовании, именно благодаря этой большей тонкости ощущений и выводов, — я всегда буду видеть в этом весьма примечательный факт. Быть может, тут уместно было бы поразмыслить и над мнением знаменитого Пьера Бейля, полагавшего, «что сны содержат бесконечно меньше тайны, чем воображает толпа, но и немного больше, чем думают вольнодумцы».

Знаем ли мы в самом деле, как далеко могла бы простираться эта способность заглядывать в себя, если бы свет, озаряющий наш разум, мог усилиться? Знаем ли мы все тайные связи, какие могут существовать в окружающем нас мире между нами самими, одними и другими, как и между нами и всем, что мы видим или не видим?

У писателей древних и новых — психологов, врачей, даже историков — изобилуют примеры, свидетельствующие о фактах, по видимости сверхъестественных: о предостережениях или внезапных предчувствиях, полученных во сне и оправданных затем событиями. Просто перечислять их было бы трудом сухим. Отрицать их потому, что их еще нельзя объяснить, кажется мне скорее гордостью, чем разумом. Что до меня, я не думаю, чтобы столько свидетельств могло накопиться без того, чтобы в этих столь многочисленных показаниях не было доли истины, и не считаю, что для того, чтобы им поверить, нужно допустить что-либо противное великим законам природы; я представляю себе, что придет, быть может, день, когда этому будут удивляться не больше, чем удивляются сегодня электрической искре, пущенной из одного полушария в другое со скоростью мысли, которую ей поручено нести.

Если же кто хочет любопытных примеров того, к каким странным выводам может привести столь распространенное у новых писателей стремление объяснять все с помощью известных материалистических теорий, пусть прочтет Бурхаве. Вот что он пишет о сне:

> «Сон состоит в таком состоянии мозгового вещества, при котором духи притекают к нервам мозга не в том количестве и не с той силой, какие нужны, чтобы органы чувств и произвольных движений могли свободно и легко исполнять свои отправления.

История снов еще довольно мало известна; между тем она важна не только в физике, но и в метафизике, из-за возражений идеалистов.

Когда начинаешь задремывать, чувствуешь, что мысли начинают путаться и рвать цепь. Это как настоящий бред. Когда эта цепь, совсем порвавшись, оставляет лишь мысли без порядка и без связи, человек спит; он существует уже только машинально; у него не остается даже внутреннего чувства своего бытия и своего сна; это доказывает, что такое сознание зависит от памяти, которая упразднена».

Итак:

Из того, что наши мысли более не имеют порядка, следует, что мы существуем уже только машинально;

Из того, что наши сны бессвязны, следует, что у нас нет больше даже внутреннего чувства нашего бытия;

И все это доказывает, наконец, что сознание своего «я» зависит единственно от памяти!

Право, трудно ожидать, чтобы *идеалистов* убедило это объяснение, выведенное из мозгового вещества, и чтобы подобные рассуждения заставили их отказаться от своих взглядов.

Дарвин и Форме не допускают, чтобы *воление*, иначе говоря действие воли, продолжало осуществляться во сне, среди сопровождающих его сновидений.

Дарвин не боится высказываться на этот счет совершенно утвердительно. Сила воления, говорит он, полностью приостановлена.

«Когда мы бодрствуем, мы упражняем наше воление (волю), сравнивая нынешние явления с теми, что наблюдали прежде, и исправляем таким образом ошибки одного чувства общим

знанием природы, приобретенным посредством интуитивной аналогии; во сне же, поскольку сила воления приостановлена, мы не можем ни припомнить, ни сравнить наши нынешние мысли с приобретенными знаниями, отчего мы и не способны обнаружить в них нелепости. По этому признаку мы отличаем сон от бодрствования и, проснувшись, можем по своей воле припоминать мысли, бывшие у нас во сне; но когда мы спим, мы не можем по своей воле припомнить те, что были у нас наяву[6]».

[6] Дарвин, *Зоономия*, «О сне».

Все это основано на положении, которое кажется автору бесспорным, а именно: «что мы всегда верим видениям нашего воображения во время сна». Таково не мнение Дугалда Стюарта; таким не будет, я думаю, и мнение многих читателей, которые наверняка вспомнят, как говорили себе порой во сне: да ведь этого не может быть на самом деле; да ведь в этом нет никакого здравого смысла.

Опираясь на свои практические наблюдения, я не менее буду оспаривать и то мнение Форме, что «душа не имеет никакой власти над призраками снов, которые появляются и исчезают, действуют на нее приятным или тягостным образом без того, чтобы она хоть сколько-нибудь на них влияла[7]». Охотнее я приму следующее сравнение того же автора, объясняющее переход от бодрствования ко сну: «Наши мысли в этом случае довольно похожи на лошадей, которых весь день запрягали и гоняли на работу; вечером их распрягают, но возница все еще их ведет — это начало сна. Он выводит их в поле и оставляет бродить и пастись как им вздумается — это совершенство сна[8]».

[7] *Философские смеси*, «О сне».

[8] Там же.

Я в самом деле думаю, что совершенный сон, тот, что дает в высшей степени восстанавливающий отдых, — это сон, во время которого эти лошади предоставлены сами себе; но из того, что лошади выведены в поле, из того, что возница уже не правит ими так, как в часы, когда он ведет упряжку, следует ли заключить, что этот возница утратил над ними всякую власть и не может при надобности повернуть их в определенном направлении? Это пункт, в котором я совершенно разойдусь во мнениях со всеми психологами этой школы.

Форме дает нам еще одно место, вдвойне замечательное — и смелостью для эпохи, когда оно было написано (1754), и ясностью, с какой оно выставляет как начало факт первостепенный, один из самых оспариваемых, хотя, по-моему, неоспоримый:

> «На обыденном языке мы видим сны лишь тогда, когда мысли доходят до нашего сознания и производят впечатление на нашу память, так что, проснувшись, мы можем сказать, что видели такой-то сон или хотя бы что вообще что-то видели во сне; но, собственно говоря, мы видим сны всегда, то есть, как только сон завладел машиной, у души непрерывно идет ряд представлений и восприятий; но они бывают порой так смутны и слабы, что от них не остается ни малейшего следа; это и называют глубоким сном, который неверно было бы считать полным лишением всякого восприятия, совершенным бездействием души…. Итак, в ряду наших мыслей бывают кажущиеся пустоты и, если смею так сказать, своего рода пробелы, но действительного перерыва нет никакого[9]».

[9] Форме, *Философские смеси*.

Я не знал даже имени Форме, когда почерпнул в собственном опыте основания для полной уверенности на этот счет, как я

изложил в начале этой книги. Жуффруа доставит мне далее весьма сильные доводы по тому же предмету. Есть, впрочем, один довод, который всегда останется неопровержимым, чтобы доказать, что отсутствие воспоминания о каком бы то ни было сне не дает даже повода предполагать действительный перерыв в деятельности ума во время сна: это то, что сомнамбулы, умственную занятость которых во время совершаемых ими действий мы не можем подвергать сомнению, почти никогда не сохраняют о них по пробуждении ни малейшего воспоминания.

Дугалд Стюарт, имя которого мне уже случалось называть, не касается вопроса о непрерывности или прерывности сновидения, но, тщательно рассматривая вопрос о сохранении или несохранении воли во сне, первым вводит различение, тем более примечательное, что оно может устранить многие недоразумения, сузив поле спора. Кто знает, сколько авторов, кажущихся противниками, оказались бы согласны, если бы лучше уточнили, что именно они намерены отрицать или утверждать?

«Приостановлена ли во сне сама способность хотеть?» — спрашивает себя шотландский философ. Он отвечает:

> «Усилия, которые мы делаем во сне и которые сознаем, достаточно показывают, что способность хотеть не приостановлена. Так, во сне мы считаем себя в опасности и хотим позвать на помощь. Это желание, правда, обычно остается без действия, и крики, которые мы издаем, слабы и невнятны; но именно это и подтверждает мнение, что во время сна связь между волей и произвольными движениями разорвана. Воля продолжает действовать, но действие ее остается недостаточным.
>
> Точно так же в ходе страшного сна мы чувствуем, что силимся бегством уйти от грозящей нам опасности, но, несмотря на все усилия, остаемся лежать в постели. Чаще всего в таком случае нам

снится, что нас останавливает какое-то препятствие. Дело в том, что тогда тело, вероятно, не подчинено действию воли. Можно поэтому заключить так: во время правильного, естественного сна способность хотеть сохраняется, но она утратила всякую власть над органами тела.

Пойдем дальше: когда мы стараемся заснуть, что с нами часто бывает, наш ум естественно принимает состояние, близкое к тому, в каком он окажется, когда сон вполне установится. А ведь очевидно, что средства, подсказанные природой для наведения сна, состоят не в том, чтобы приостановить способность хотеть, а в том, чтобы приостановить упражнение способностей, зависящих от воли. Если бы перед тем, как заснуть, способность хотеть должна была быть приостановлена, мы не могли бы никаким усилием приблизить минуту сна. Само предположение такого усилия нелепо, ибо это значит сказать, что воля пребывает в постоянной деятельности, чтобы приостановить самые действия воли.

Отсюда склоняешься к выводу:

Что действие сна на умственные операции имеет совершеннейшее сходство с тем, какое он оказывает на тело. Способность хотеть сохраняется, но она не имеет никакой власти над способностями ума. Вот почему, хотя эта способность и сохраняется, ей невозможно, однако, управлять ассоциацией идей и направлять ее, а та, предоставленная самой себе, приходит часто к самым странным результатам.

Положив это, мы устанавливаем два следующих пункта:

1° Когда мы преданы сну, последовательность наших мыслей, поскольку она зависит от одних законов ассоциации, может происходить под действием тех же неизвестных причин, которые определяют ее в бодрствовании.

2° Тем не менее порядок наших мыслей в бодрствовании и во сне должен быть весьма различен, поскольку во сне это состояние зависит от одних законов ассоциации, а в бодрствовании — от этих законов в соединении с действиями наших произвольных способностей».

Развивая это последнее положение, Дугалд Стюарт добавляет, наконец:

«Что, поскольку воли во время сна более не существует или, вернее, влияние этой воли становится ничтожным, нельзя более оказывать никакого действия на ассоциацию идей. — Откуда следует, что предметы, занимающие тогда наши мысли, предстают нашему уму сами собой, самопроизвольно, тогда как произвольные умственные действия, такие как произвольное припоминание, рассуждение и т. д., остаются приостановленными вместе с влиянием воли».

Я не хотел прерывать изложение этих мнений никаким критическим замечанием.

Теперь я попробую разобрать их суть, и этим мы завершим краткий обзор писателей прошлых веков.

Что касается прежде всего этого основного различения между приостановкой самой способности хотеть и приостановкой деятельной власти этой способности над мышцами человеческого тела, я признаю и его верность, и его важность и весьма охотно говорю вместе с эдинбургским профессором: да, одна из главных черт правильного, естественного сна состоит в том, что способность хотеть, сохраняясь в уме, тем не менее утратила свою власть над органами тела. Добавлю даже в скобках, что сохранение этого действия воли на органы тела есть, на мой взгляд, самый серьезный признак, отличающий от правильного,

естественного сна более или менее болезненные виды сна — сомнамбулизм и магнетический сон; но из того, что я приму этот первый факт, вовсе не будет следовать, что я должен принять и вторую часть этого двойного положения, где объявлено, *что действие сна на умственные операции имеет совершеннейшее сходство с тем, какое он оказывает на тело*.

«Способность хотеть сохраняется, — говорит нам Дугалд Стюарт, — но она не имеет никакой власти над способностями ума». Ясно, что если принять эту исходную точку, то логически придешь к признанию, что во сне мы не можем иметь никакой власти ни над ассоциацией наших мыслей, ни над чередой картин, которые будут развертываться сами собой и всегда самопроизвольно. Но выдерживает ли это положение само по себе проверку? Выдерживает ли оно разбор? Опирается ли оно на доказанные факты?

Если понятно прекращение деятельной власти духа над материей, временная приостановка тех таинственных законов, что позволяют душе действовать на тело, — так же ли легко понять, что дух перестает действовать на самого себя, что он хочет, например, думать о какой-то вещи и при этом не исполняет *ipso facto* своего желания о ней думать? Если он о ней думает и если образы предметов, на которые направлена эта произвольная мысль, ему являются, разве не сосредоточит он на них действительно своего внимания? Разве не вынесет он никакого суждения о том, что ему кажется, будто он видит? В принципе такое мнение кажется мне недопустимым. На практике я получаю многочисленные доказательства его ложности[10].

[10] См. ниже, в «Практических наблюдениях».

Любопытно, впрочем, отметить, как физиологи, затрудняясь точно определить роль различных способностей ума во время сна, не нашли ничего лучшего, чтобы выйти из затруднения, чем произвольно объявить их более или менее полную приостановку. Не вторгаясь в область современных сочинений, которые мы рассмотрим в свой черед, и говоря лишь об авторах, которыми мы уже занимались: Дарвин не допускает, чтобы во сне умели *сравнивать* нынешние мысли с приобретенными знаниями; Форме думает, что все возникающие мысли принимаются *без размышления*; Бурхаве отказывает спящему в *памяти* и даже в сознании собственного существования, что еще сильнее. Боссюэ сказал: «Во сне нет *внимания*; ибо бодрствование и состоит именно во внимании ума, который становится хозяином своих мыслей[11]». Дугалд Стюарт, наконец, доходит до того, что отказывает уму спящего человека в *упражнении всех способностей, которыми он располагает в бодрствовании*. Истина, однако, в том, что все способности продолжают упражняться и во сне, как я надеюсь доказать, и что этот довод Дугалда Стюарта, взятый из наблюдения над средствами, которыми природа наводит сон, сам основан лишь на недоразумении: автор смешивает приостановку произвольного внимания, обращенного на внешние вещи, с приостановкой произвольного внимания, обращенного на образы сна.

[11] *О познании Бога и самого себя*, гл. III, § 20.

Что нужно для наведения сна, так это забвение окружающего действительного мира, прекращение всякой связи с жизнью внешних отношений, уход духа в себя, *animi in sese recessus*, как говорили учителя древности; словом, это сосредоточение всех наших мыслей на предметах, которые присутствуют лишь в

нашем воображении или в наших воспоминаниях, но которые оживают и как бы принимают ощутимую форму, едва наши чувства закрываются для внешнего мира, — точь-в-точь как картины волшебного фонаря проступают четкими и цветными, как только прервано всякое сообщение с наружным светом.

Безусловно, поэтому для наведения сна необходимо, чтобы душа отказалась заставлять подвластные ей мышцы и нервы выполнять какое-либо из тех произвольных движений, которые свойственны жизни внешних отношений, и в то же время перестала обращать внимание на внешние вещи; но если только ум на время отдается тем смутным дремотным грезам, что мало-помалу становятся сном, то не только сон приходит, не отнимая у него ни одной из его деятельных сил, но и, когда сновидение сложилось, ум продолжает совершать, как в бодрствовании, все те умственные явления, которые принято называть его способностями. Он внимательно рассматривает, он сравнивает, он выносит обдуманные суждения о том, что ему кажется, будто он видит, слышит, вкушает, обоняет или осязает; и если у него часто бывают смутные мысли, если он выносит порой несуразные суждения, то винить в этом следует несовершенство образов, бессвязность понятий, о которых он рассуждает, но никак не самое его желание хорошо видеть и хорошо судить.

Откуда я, в свою очередь, заключаю: насколько первое положение Дугалда Стюарта в известной мере[12] неоспоримо, а именно: *что во время правильного, естественного сна способность хотеть сохраняется, но утратила всякую власть над органами тела*, — настолько неверно то *совершеннейшее сходство*, которое он будто бы находит *между этим действием сна на тело и тем, которое сон производит на умственные операции*; настолько противоречат истине выводы, которые он из

этого делает, когда утверждает, что во время сна *порядок наших мыслей зависит единственно от одних законов ассоциации, поскольку воля не может более иметь над ними никакой власти*.

[12] Мы еще вернемся ниже к этому двойному вопросу — о том, как приходит сон, и о суждениях, которые выносишь во сне.

Если я так долго остановился на этом различении, которое Дугалд Стюарт хотел провести относительно продолжения или непродолжения воли во время сна, то потому, что, помимо собственного его остроумия, оно касается одного из самых существенных и самых важных пунктов предмета, о котором мы говорим. Продолжение воли во время сна — психологический факт, которому я обязан лучшими наблюдениями, какие мне удалось сделать. Все, что поможет хорошо определить его характер, его влияние и особые его действия в наших снах, будет поэтому рассмотрено мною с величайшим вниманием.

III

«Словарь медицинских наук». — Статья «Сон» Монфалькона. — Я оставляю в стороне чисто теоретические рассуждения, чтобы держаться прежде всего метода наблюдения. — Развитие изречений Motus in somno intro vergunt; Somnus nil aliud est quam receptio spiritus vivi in sese. — Сравнение деятельных и страдательных сил тела и духа. — Действующие причины сна, как их перечисляет Монфалькон. — Переход от бодрствования ко сну всегда отмечен мгновением дремотных грез. — О приостановке внимания при приближении сна.

В 1820 году выходит *Словарь медицинских наук* — труд, который и поныне пользуется известным доверием; в нем отдельно говорится о сомнамбулизме, о галлюцинации, об экстазе

и т. д., что кажется мне вполне естественным, ибо, даже если бы эти различные явления возводили к единому началу, их все равно всегда рассматривали бы как особые разновидности сна. Но что меня, признаюсь, удивляет больше, так это то, что я нахожу две отдельные статьи, одну о сновидениях (*rêves*), другую о снах (*songes*), обе написанные к тому же Моро (де ла Сартом), врачом, более известным как физиолог, чем как практик. Если прибавить к ним статью «Сон» Монфалькона, где часто вторгаются в ту же область, нам придется рассмотреть в одной книге три источника суждений об одном и том же предмете. Я уже заявлял, что со своей стороны не намерен проводить никакого различия между словами *rêve* и *songe*, предпочитая по возможности избегать бесполезных различений и держаться авторитета Словаря Академии, который определяет одно через другое эти два выражения, в моем понимании совершенно равнозначные. Положив это, последуем естественному порядку вещей и начнем с рассмотрения статьи «Сон».

Одна из главных трудностей предпринятого мною труда — суметь удержаться в границах предмета, который так тесно соприкасается со столь многими другими в стольких неопределенных точках. Это желание как можно больше сузить поле моих наблюдений и изысканий заставило меня, как видно, прямо приступить к изучению снов, не излагая предварительно никакой теории того особого состояния нашего организма, во время которого рождаются видения и которое называют сном. Часто, однако, связь между вопросами, поднимаемыми явлениями сновидений, и вопросами, касающимися собственно сна, столь велика, что мне казалось бы почти невозможным написать целую книгу о снах, не затронув и изучения сна как такового, хотя бы кратко и косвенно. Беглый разбор статьи Монфалькона, среди

которого естественно найдут себе место мои личные наблюдения, позволит мне, надеюсь, свести воедино то, что необходимо упомянуть в этом отношении.

Прежде всего я оставлю в стороне все чисто теоретические рассуждения о том, вызывается ли сон приливом крови к мозгу или нет, затрагивает ли он артериальное кровообращение или нет и т. д. и т. д. Монфалькон весьма разумно опровергает доводы школы Блуменбаха, Гамбергера, Алле, Бартеза, Морганьи, Лангриша и других, которые утверждают, что различные органы, в совокупности составляющие мозг, перестают действовать во время сна потому, что получают меньшее количество крови, чем в бодрствовании. «Воображение и память, — говорит Монфалькон, — обладают у видящего сны человека большой силой, и, однако, невозможно предположить, чтобы части мозга, служащие седалищем этих двух способностей, получали больше крови, чем другие, бездействие которых они должны были бы разделять».

Что до меня, я буду очень рад не задерживаться на объяснениях вроде следующего: «Когда нервная жидкость направляется к мозгу, она притекает туда всегда по ходам, предназначенным для упражнения какого-нибудь из наших чувств, и вот почему она пробуждает там одни ряды мыслей предпочтительно перед другими. Так, человеку кажется, что он видит, когда сотрясен зрительный нерв, что слышит — когда слуховой нерв, и т. д.». Какие шаги к наблюдению помогли бы нам сделать подобные теории? Что такое эта нервная жидкость и что она объясняет? Что сотрясает то зрительный нерв, то слуховой? Видели ли когда-нибудь — разве только в виде редчайшего исключения — сны, где слышат, не видя, или видят, не слыша? Желать объяснить все явления сна в самом их начале — значит желать приступить к непостижимой тайне соединения души и

тела. Удовольствуемся тем, что будем как можно лучше наблюдать ту сторону этих явлений, которая остается доступной нашему разуму, то есть соответствие между некоторыми явными телесными впечатлениями или расстройствами и иллюзиями наших снов, на которые практический опыт указывает нам как на вероятную их причину или следствие.

Перечислив сначала и разобрав теории многих физиологов о причинах сна, Монфалькон признается, что они ровно ничему его не научили. Он по-прежнему не знает, говорит он, причины того основного закона, который подчиняет жизнь животных двум образам бытия — бодрствованию и сну. Изучать, следовательно, придется не причины этого закона, а его практические следствия.

Жизнь у всех животных представляет два образа бытия: бодрствование, во время которого все отправления совершаются свободно и правильно, и сон, особая черта которого — более или менее полное и более или менее продолжительное бездействие тех отправлений, которые ставят животное в связь с внешними предметами. Нельзя, однако, сказать вместе с некоторыми физиологами, что животное, пока спит, живет меньше, что оно сведено тогда к менее сложному существованию, ибо, с одной стороны, органы чувств и умственных способностей, мышцы произвольных движений спят не все; с другой — сила действия многих жизненных органов явно возрастает, а другие отправления претерпевают ощутимые изменения. Сон, основной закон, управляющий всеми животными, есть состояние по существу деятельное.

Motus in somno intro vergunt, — сказал некогда Гиппократ, заметив, что во время сна наружные части тела холоднее, а внутренние теплее, чем в бодрствовании. *Somnus nil aliud est quam receptio spiritus vivi in sese*, — писал в новое время Бэкон. В

подкрепление такого взгляда на сон Монфалькон приводит согласное с ним мнение многих авторов. «Всеми врачами вполне установлено, — повторяет он, — что работа органов внутренней жизни во время сна значительно усиливается, поскольку все переломы, вывихи и т. д. заживают быстрее под его действием.

> Тело мало изнашивается, пока человек спит; оно живет для себя, чуждое всему, что его окружает. Без сна человек не мог бы жить долго, ибо его мозг, его чувства, его мышцы не имеют, как его внутренности и все органы внутренней жизни, необъяснимого преимущества никогда не уставать.
>
> Пока органы жизни внешних отношений поражены своего рода параличом, органы внутренней жизни не только продолжают действовать, но и пользуются, как правило, большой силой.
>
> Общая причина, способная вызвать потребность во сне, — продолжительное упражнение отправлений, ставящих нас в связь с окружающими нас предметами, откуда следует усталость органов, принадлежащих этим отправлениям. Но почему они устают? Отчего органы усвояющих отправлений, находящиеся в непрерывной работе, никогда не испытывают той же усталости и той же перемежаемости действия? Какой физиолог раскроет эту тайну? Не должны ли все врачи воскликнуть вместе с благочестивым Галлером: *Fateor me ignorare quare hi musculi*[13] *non quiescunt, atque causam refundo in creatoris omnipotentiam, qui totum corpus nostrum simul fecit*».

[13] Мышцы внутренностей.

Итак, покой органов, служащих жизни внешних отношений, и удвоение деятельности в отправлениях внутренней жизни — таково определение сна, которое статья *Словаря медицинских наук* воспроизводит и пересказывает последовательно на разные лады. Но если она отмечает удвоение действия во многих отправлениях

животной жизни, то признает также, что то же явление обнаруживается с не меньшей силой и в некоторых наших умственных способностях, например в памяти и воображении, и это замечание совершенно естественно приводит мне на перо мысль, которая не раз приходила мне в голову:

Не существует ли между законами, которые управляют нашими телесными способностями, и законами, которым подчинены наши умственные способности, правильной аналогии, вполне достойной привлечь внимание?

Подобно тому как во время сна происходит удвоение деятельности жизненных сил человеческого тела — внутренних и страдательных, чему способствует приостановка сил действия, обращенных вовне, — то же удвоение мощи и напряженности развивается и в том, что я охотно назвал бы страдательными силами ума, — таких, как память и предоставленное самому себе воображение, — тогда как внимание и воля, эти обращенные вовне силы души, заметно ослабев, не могут уже упражняться без усилия[14].

[14] Я отвергаю мнение физиологов, утверждающих, будто упражнение внимания и воли в наших снах совершенно приостановлено; но я не захожу так далеко, чтобы говорить, будто эти способности обычно сохраняют во сне всю свою силу.

Страдательные отправления материальной жизни совершаются во сне тем мощнее и правильнее, что мы более не оказываем на них никакого действия, и в то же время воображение и память как будто тем больше поглощают силы умственной жизни, чем меньше на них влияют внимание и воля. Напрасно стали бы мы требовать в бодрствовании от памяти и воображения тех необычайных созданий, тех воспоминаний, одновременно столь далеких и столь отчетливых, которые возникают сами собой,

когда спящий присутствует, как зритель, при самопроизвольной игре страдательных способностей своего разума.

Память и воображение, следовательно, были бы, подобно органам внутренней жизни, неутомимы. Внимание и воля, подобно органам жизни, обращенной вовне, одни нуждались бы в отдыхе.

Если Монфалькон признает бесполезность попыток определить те первые причины сна, которые составляют часть великой тайны творения, он хочет по крайней мере указать прямые действующие причины, которые называет вторичными и делит на шесть разрядов, давая им выразительные названия.

Эти различения смогут иметь свою практическую пользу, когда придется изучать сны в их происхождении и развитии. Вот почему я охотно их привожу. Итак, это:

«1° *Circumfusa*. Климат, ночь, темнота, холод, который оттесняет жизненную силу внутрь и привел бы даже к смерти, если бы ему поддаться, и т. д.

2° *Ingesta*. Спиртные напитки, снотворные и т. д.

3° *Excreta*. Потери семени, кровотечения, сильные слабительные и т. д.

4° *Applicata*. Горячие ванны, снотворные, введенные в кровообращение через всасывание кожей.

5° *Acta*. Мышечная усталость, усталость одного из чувств, которое испытывает потребность в отдыхе и по сочувствию увлекает за собой другие. Примеры: вечернее чтение; однообразные шумы; тихая музыка, звуки которой доносятся издалека, и т. д.

6° *Percepta*. Печальные страсти, сильно взволновавшие. Пролитие слез».

Вслед за шестью перечисленными причинами сна Монфалькон ставит причины ненормальные: прилив крови к мозгу, летаргию, удушье газом, сдавление мозга в некоторых хирургических случаях и при истерическом состоянии у молодых девушек. Но можно ли по-настоящему приравнять ко сну то бесчувствие, к которому ведут эти несчастные случаи? Я так не думаю и пользуюсь случаем заявить, что ни одно из моих наблюдений к нему относиться не будет.

Что до пятого пункта (*acta*), то Бартез, говоря, как и Монфалькон, о некоторой музыке, о некоторых шумах, о некоторых созерцаниях, об однообразном напеве, о трепете листвы, о журчании ручья, о речи, которую произносят все одним и тем же тоном, о виде нивы, волнуемой ветром[1], и т. п. как о действующих причинах, располагающих ко сну, замечает, что эти шумы или зрелища отвлекают наше внимание от всех прочих предметов, а сами, непрерывно повторяясь, становятся нам привычны, так что мы мало-помалу перестаем уделять внимание чему бы то ни было — и приходит сон.

[1] Все это, к слову сказать, на мой взгляд, лучше было бы отнести к первому пункту (*circumfusa*).

Хотя Бартез не идет дальше и ограничивается этим утверждением, не объясняя нам, почему так происходит, он, по-моему, попадает очень метко, и вот как, на мой взгляд, следует истолковать этот факт.

Переход от бодрствования ко сну всегда отмечен более или менее долгой порой дремотных грез, когда мысли и воспоминания сцепляются и развертываются сами собой, по своим законам ассоциации. Очевидно, стало быть, что внимание должно на время приостановиться, иначе эти грезы не смогут возникнуть.

Когда, ложась спать, мы взволнованы какой-нибудь тягостной заботой или нетерпеливым ожиданием горячо желанного события, мы невольно стараемся обратить ум к другим мыслям — не потому, что прежние мысли сами по себе несовместимы со сном, ведь, может статься, они же нам и приснятся, едва мы уснем, а потому, что хотя бы на время их неподвижность надо устранить, чтобы дать простор тому быстрому и самопроизвольному сцеплению мыслей и образов, без которого невозможен переход от бодрствования ко сну[2].

[2] Если мне возразят, что человек, изнуренный усталостью, засыпает, едва ляжет, и спит тотчас же, без всякого перехода, я отвечу, что этот переход, как бы краток он ни был, все-таки существует.

Лишь один род внимания совместим с приближением сна: то внимание, которое мы порой уделяем иным зарождающимся видениям, чья устойчивость или превращения становятся отправной точкой настоящего сна. Но надо заметить, что это уже внимание, перенесенное из внешней жизни во внутреннюю. И если только признать, что деятельные силы разума отходят от всего, что составляет жизнь отношений с внешним миром, и переносятся на воображаемую жизнь сновидения, станет ясно, что способность внимания ничуть не уничтожена оттого, что на миг приостановлена, и что провозглашать ее уничтожение, потому что ею на миг перестают пользоваться, — почти то же самое, что сказать, будто надо закрыть глаза, чтобы увидеть картины волшебного фонаря. Да, сперва закрыть глаза для света извне, но затем — чтобы открыть их навстречу светящимся картинам, которые сейчас возникнут.

Что же касается характера и большей или меньшей силы внимания, какое нам дано уделять разным предметам наших снов, то этому я намерен посвятить ниже несколько наблюдений.

IV. Статья «Сон» и статья «Сновидение» Моро (де ла Сарт)

Раздел 1. Общие соображения. — Раздел 2. Состояние умственных способностей во время сна и во время сновидений и сравнение в этом отношении бреда и сновидений. — Моро допускает сон без сновидений. — Как Жуффруа оспорил это мнение. — Моро требует, чтобы для настоящего сна были приостановлены все деятельные операции ума; иными словами, сновидение начиналось бы лишь тогда, когда сон нарушен. — Раздел 3. Как и почему образуются сновидения. — Критические замечания по этому поводу. — Разделы 4 и 5. Как сновидения становятся ощутимыми и что следует понимать под ясностью и отчетливостью сновидений. — О вечерних и об утренних снах. — Моро полагает, что мы не властны над образами наших снов; я это оспариваю. — Как и почему во сне неверно судят о протекшем времени. — О явлении ассоциации идей. — Почему, по-моему, самыми ясными будут сны самого глубокого сна. — Раздел 6. О характере ощущений и мыслей во время сновидений и в особенности об обманчивых восприятиях. — Ощущения во сне живее, чем наяву. — Об умственных трудах, исполняемых во сне. — Что при классификации сновидений следует избегать слишком тонких различений. — Соната Тартини. — Любопытный случай, рассказанный Моро (де ла Сарт). — Тягостные сны и сны сладострастные. — Раздел 7. О развитии, течении и предмете различных видов сновидений. — Можно ли уловить отправную точку сна? — Раздел 8. Медицинское толкование и классификация сновидений. — Кошмар. — Инкуб. — О ясновидении сомнамбул и галлюцинирующих. — Мнения Лелю, Мен де Бирана, Ратье, Аделона, Бриер де Буамона, Мюллера, Мажанди, Биша, Гассенди, Пьера Леру.

Перехожу к статье «Сон» (*Songe*) в «Словаре медицинских наук». Автор мало касается самой сути вопроса. Он больше старается определить, чем, по его мнению, *сновидение* (rêve) и *сон* (songe) обозначают не вполне один и тот же порядок явлений.

Сновидение охватывало бы все виды сновидческой жизни, болезненные и неболезненные; это было бы родовое понятие. Слово же *сон*, напротив, следовало бы употреблять особо, для обозначения особого вида неболезненных сновидений, «зависящих почти всегда от напряжения ума или от душевной заботы, которых не прервало засыпание… В снах этого рода связь с бодрствованием была бы очевиднее: такие сновидения были бы значительнее и драматичнее». Довольно. Видно, к каким тонкостям это могло бы завести.

Статья «Сновидение» (*Rêve*) обширнее: в ней не менее пятидесяти пяти страниц. Моро (де ла Сарт) начинает с объяснения, что, не пренебрегая ничем из написанного об этом предмете, он будет держаться главным образом собственных наблюдений; затем заявляет, что для подступа к этому трудному вопросу непременно нужно «соединить самые положительные данные физиологии и практической медицины с тончайшими наблюдениями и высочайшими умозрениями психологии».

Несмотря на это необычное вступление, развитие которого занимает целый первый параграф, труд Моро (де ла Сарт) весьма примечателен. Он превосходно подводит итог состоянию науки на то время, когда был написан. И если заключенные в нем мысли почти постоянно расходятся с моими, тем удобнее мне будет шаг за шагом проследить эти теории, чтобы показать, насколько они отличаются от того, чему, как я полагаю, меня научило наблюдение. К тому же это позволит бегло обозреть большую часть главных вопросов, на которых нам придется остановиться дальше.

Итак, продолжаю разбор, сохраняя деления, принятые автором.

Раздел 2. Состояние умственных способностей во время сна или во время сновидений и сравнение в этом отношении бреда и сновидений

Автор прежде всего допускает (вопреки моему мнению), что можно спать, не видя снов. По его словам, когда сон глубок, полон, естествен, особенно у людей, привычных к тяжелому труду, сновидений не бывает, особенно в первую пору сна. Стало быть, он смотрит на сновидения «как на нарушения, как на случайности сна».

Я уже слишком ясно высказался об этом мнении, чтобы нужно было повторять здесь, насколько я его отвергаю; но должен отметить, как своеобразно Моро (де ла Сарт) сам себе противоречит, когда пишет немного дальше (с. 252), «что если сон остается слишком глубоким, то в иных случаях можно видеть сны, не зная того; что так, например, сомнамбулы, проснувшись, не сохраняют никакого воспоминания о том, что делали или думали во сне».

Жуффруа взял на себя труд ответить на эту теорию сна без сновидений, столь часто повторяемую и ни разу не подкрепленную серьезными доводами: «Спать, для ума, значило бы не видеть снов, а доказать, что во сне бывают минуты, когда снов не видят, невозможно. Отсутствие всякого воспоминания о снах не доказывает, что снов не было. Часто удается доказать, что мы видели сны, хотя в памяти от них не осталось ни малейшего следа. Итак, факт, что ум порой бодрствует, когда чувства спят, установлен; факт, что он порой спит, не установлен; следовательно, аналогии говорят за то, что он бодрствует всегда. Чтобы разрушить силу этого вывода, нужны были бы противоречащие ему факты; все же факты, напротив, как будто его подтверждают[3]».

[3] Жуффруа, *Новые философские смеси*, с. 319.

Дугалд Стюарт выставил такое начало: сон и сновидения состоят в приостановке действия воли как на способности ума, так и на органы человеческого тела. Моро (де ла Сарт) идет еще дальше: «Сон, с метафизической и психологической точки зрения, состоит не только в приостановке воли, но, сверх того, в приостановке всех деятельных операций разума, таких как внимание, сравнение, суждение, память».

Переходя затем к сравнению бреда и сновидений, автор находит между ними различие — следствие только что высказанного: в сновидении все пассивно, невольно, ибо воля приостановлена, а чувства закрыты со всех сторон, тогда как в бреду, напротив, все чувства открыты, а некоторые даже раздражимее, чем в здоровом состоянии.

К тому же, согласно разбираемой статье, изучение сна следует строго отделять от изучения сновидений.

«Если сон глубок, естествен, всякая умственная деятельность совершенно приостановлена.

«Но многие приобретенные мысли, большая часть усвоенных привычек, все то множество мыслей, понятий, знаний, из которых с большим или меньшим размахом складывается ум каждого человека, могут при малейшем поводе, *если сон нарушен* самой ничтожной причиной, воспроизводиться, возобновляться с такой свободой, с такой неудержимостью сочетаний, каких не бывает в бодрствовании».

Иными словами, сновидение начиналось бы лишь тогда, когда сон нарушен!

Итог этого первого параграфа: 1) *состояние сновидения не зависит от состояния сна; можно спать, не видя снов*; 2) *сновидение обычно проявляется, когда сон чем-либо нарушен*; 3)

сновидение отличается от бреда тем, что во сне ум остается пассивен, тогда как в бреду он по существу деятелен. Все это — независимо от болезненного характера, присущего последнему состоянию.

Раздел 3. Как и почему образуются сновидения?

Несмотря на многообещающее заглавие, этот второй параграф, собственно говоря, лишь развивает предыдущий.

«Чтобы видеть сны, нужны два условия: первое — уже развитый ум, мозг, более или менее освоившийся с жизнью отношений; второе — особое и случайное состояние самого сна».

Согласно первому из этих условий, «надо допустить, что животные видят сны, но не слабоумные от рождения и не зародыши в своем первом сне».

Это кажется мне не слишком основательным. Конечно, нужен мозг, освоившийся с жизнью отношений, ведь всякий сон складывается из того, что хранится в памяти; но почему у слабоумных не должно быть никакой памяти и какой смысл спрашивать, могут ли видеть сны зародыши?

Второе положение приводит к тому, что со сном уподобляются явления галлюцинации и экстаза, ибо сам Моро (де ла Сарт) считает своего рода сновидениями видения людей в экстазе и галлюцинирующих.

«У здорового человека во сне, который следует за умеренной усталостью, снов не бывает или почти никогда».

Далее идут подробные различения между сновидением, мечтанием и дремотными грезами, мало что дающие на деле.

«Когда засыпают слегка днем, стоя или сидя, в лодке, верхом, в экипаже, это состояние — не настоящий сон, а его начало, его первая ступень. Это дремота, порождающая лишь грезы».

Если эта дремота, по мнению самого автора, есть начало, первая ступень сна, почему он не видит, что эти грезы — тоже начало и первая ступень настоящего сновидения?

«Это, — продолжает он, — пора химерических образов, гримасничающих и подвижных фигур, фантастических явлений, мимолетных и прозрачных, как тени, очертаний, которые показываются во всевозможных формах, ломаются, дробятся и исчезают столь же причудливо, сколь и быстро».

Эта удачно набросанная картина в совершенстве изображает переходную пору, когда сочетания и подстановки мыслей сменяют друг друга так быстро вместе со связанными с ними образами, бесконечно видоизменяемыми и умножаемыми тысячей восприятий внешнего мира, которые все еще дают себя знать, хоть и слабее. Ум перестал уделять им внимание, ведь это внимание, устремленное на внешние вещи, и составляло бы как раз состояние бодрствования. Но он еще и не направляет его свободно на эти несовершенные видения. Это минута, когда ставни еще не закрыты настолько плотно, чтобы картины волшебного фонаря вырисовывались четко и ясно, но дневной свет уже и не проникает настолько, чтобы можно было различить окружающие предметы. Это первая ступень сновидения, сновидения настоящего. Эти видения вовсе не угасают и не исчезают, чтобы уступить место мертвенному сну, как полагает Моро (де ла Сарт): они будут понемногу оживать и сгущаться, если можно так выразиться, по мере того как сон станет крепче, по мере того как *spiritus in sese recessus* будет устанавливаться все полнее и ум, решительно перенесенный из области действительной жизни в область жизни воображаемой, вновь обретет свободное пользование своими способностями, на миг рассеянными, но отнюдь не уничтоженными.

Впрочем, этот второй параграф статьи Моро (де ла Сарт) можно свести к следующему: «В естественном сне — отсутствие сновидений. Если сон нарушен (внутренними или внешними причинами), он становится дремотой, и тогда видят сны».

Разделы 4 и 5. Как сновидения становятся ощутимыми и что следует понимать под ясностью или отчетливостью сновидений?

Рассмотрение вопросов, поставленных таким образом, дает мне случай, которым я весьма охотно пользуюсь, коснуться еще нескольких занимательных и спорных сторон нашего предмета.

Этот четвертый параграф статьи «Сновидения» начинается с уже отмеченного признания автора, а именно: «что можно видеть сны, сам того не подозревая, свидетельство тому — сомнамбулы».

Стало быть, в обычном значении слова, как понимает его Моро (де ла Сарт), видеть сны — значит их ощущать и, сверх того, сохранять о них впечатление и воспоминание. От этого, по его мнению, и будет зависеть ясность и отчетливость снов.

Отсюда пришлось бы прийти к странному обратному следствию: один и тот же сон считался бы отчетливым или неотчетливым смотря по тому, удастся ли по пробуждении хорошо его припомнить, а это в конечном счете значило бы ставить само существование факта в зависимость от памяти, которая о нем сохранилась.

Такой взгляд на вопрос весьма последовательно приводит доктора-физиолога к заявлению, что утренние сны отчетливее вечерних. Очевидно, последние сны, прерванные пробуждением, вспомнятся легче и чаще, чем первые картины той долгой череды иллюзий, что воспринимаются одна за другой с вечера до утра.

Верный началам, которые он выставил еще в начале своего труда, объявив, что все деятельные способности разума во время

сна остаются приостановленными, Моро (де ла Сарт) полагает, что «последовательность, сочетание мыслей во сне всегда должны являть бессвязность и беспорядок и что среди этих бурных и невольных движений ума мы не можем ни продлить, ни удержать приятных впечатлений, ни прогнать страшных призраков и ужасающих образов».

Это, как видно, мнение, прямо противоположное тому, которое я пытаюсь утвердить.

«Что до соотношений времени и пространства, то они во сне не сохраняются», — продолжает далее Моро (де ла Сарт). Он мог бы добавить, что ничего естественнее и быть не может. Наяву мы составляем себе понятие о времени по количеству дел, какое можем исполнить за данный срок. Во сне мы думаем, будто действительно видим и делаем все, что наша память одно за другим извлекла из своих ячеек путем ассоциации идей, и судим о протекшем времени по тому, сколько его понадобилось бы, чтобы действительно сделать все, о чем мы только подумали.

Далее следуют некоторые соображения об ассоциации идей, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы привести их целиком:

«Каждая из мыслей человека, чей ум достиг известной степени развития, водворилась в его уме не отдельно: она вошла в него вместе с несколькими другими мыслями, связанными с ней сходством, сосуществованием и всякого рода отношениями. Когда одна из этих мыслей является вновь, она непременно вызывает несколько других, с такой живостью, с такой увлекающей силой, которые заурядные умы не всегда умеют обуздать. Можно сказать, что ум, увлекаемый каждой новой поражающей его мыслью, бросается как бы в некую борозду, которая невольно ведет его во многие другие. Так простой звук колокола или мысль

о нем может вдруг породить то мысль о печальной обстановке похоронного шествия, то мысль о церковном торжестве или образ свадебного обряда, смотря по нынешнему состоянию нашей чувствительности и по тому, как все эти вещи сцепились в нашем уме; это и называют связью, или ассоциацией, идей, которая у людей впечатлительных может распространяться на различные телесные действия, наиболее связанные с этими мыслями и следующие за ними или им соответствующие в некоторых жизненных привычках.

«Эта ассоциация, вовсе не ослабевая в легком сне[4] и в большинстве сновидений, обладает гораздо большей свободой, размахом, увлекающей силой, чем в бодрствовании. Ее часто вызывает более или менее живое впечатление в снах, обусловленных случайными причинами, такими как положение тела во время сна, более или менее тягостное внутреннее недомогание и т. п.

[4] Можно было бы спросить, к чему это условие легкого сна; но надо помнить, что Моро (де ла Сарт) не допускает сновидений во время глубокого сна.

«В самом деле, эти впечатления мгновенно, поистине машинально вызывают в памяти известные группы, известные сочетания мыслей или образов, так или иначе с ними связанные, но сцепление которых беспрестанно прерывается другими связями образов или мыслей, что сменяют друг друга и перекрещиваются во всех направлениях с тем беспорядком, с той путаницей, над которыми тогда не властна никакая умственная сила[5] и которые можно считать природой и сущностью сновидения.

[5] Доказательства противного см. в «Практических наблюдениях».

«Многие внутренние болевые впечатления также порождают сны, связанные порой с этими недугами более или менее прямо. Самые

тягостные кошмары бывают у людей, страдающих спазмами в нижней части живота, или очень затрудненным дыханием, или болезнью сердца либо крупных сосудов. Ипохондрики, нервные, истерические женщины, словом, все, у кого трудное пищеварение, подвержены тем же снам.

«Пораженные этими связями между снами и их случайными причинами, некоторые справедливо полагали, что многие восприятия, многие мысли, являющиеся уму во сне, не вполне ошибочны или обманчивы. Профессор Д.[6], с которым я однажды беседовал об этих важных предметах, показался мне убежденным, на основании собственных наблюдений и опыта, что сны, во время которых сильно занят какой-нибудь особой мыслью, например мыслью, что ты погружен в воду, находишься среди пожара, что какой-то член отморожен или омертвел и т. п., зависят от определенного болезненного состояния организма.

[6] Вероятно, доктор Дубль.

«Свое мнение он распространяет, исходя из весьма возвышенных физиологических соображений, на сны, в которых кажется, будто получаешь сильный удар по голове, или на те, по ходу которых кажется, будто тебя теснит непреодолимое препятствие или мучит трудность найти дорогу в каком-то лабиринте, среди пропастей, извилин и поворотов, которые не пройти, не рискуя задохнуться».

Это мнение, как мы уже говорили, восходит ни много ни мало к Гиппократу. Его исповедовал и знаменитый Аристотель, от проницательности которого не ускользнула крайняя чувствительность нашего организма во время сна. Это мнение, говорит он, может помочь открыть, как некоторые глубокие внутренние движения, зависящие от начинающейся тяжелой

болезни, остаются незамеченными наяву, тогда как вызывают особые сны, которые можно было бы считать предвестием или первыми признаками этих болезней. Живо сожалея, со своей стороны, что доктор Д. не счел нужным обнародовать свои занимательные заметки, которые, несомненно, дали бы мне драгоценный материал для сравнения, я должен здесь снова обратить внимание на то, какую важность приобрели бы подобные болезненные указания, если бы спящий больной, сохраняя посреди сна сознание того, кто он и что испытывает (благодаря выработанной привычке), мог тогда сосредоточить все свое внимание на этих сокровенных восприятиях утонченной чувствительности.

Здесь, и особенно в следующем параграфе, Моро (де ла Сарт) и сам, впрочем, настаивает на том, что ассоциация — будь то между впечатлениями и мыслями или между мыслями и некоторыми движениями организма — совершается во сне с большей силой, чем наяву, так как временная отрешенность от внешних впечатлений благоприятствует восприятию самых тонких внутренних ощущений.

Он заканчивает этот раздел своего труда замечанием, верность которого я готов признать, хотя объясняю указанный им факт как раз обратно тому, как понимает его он. «Если сон, — говорит он, — становится попеременно то глубоким, то легким, некоторые части сновидения стираются, а ясные и ощутимые части в минуту пробуждения предстают в виде единого сновидения».

Для Моро (де ла Сарт), который верит в отсутствие сновидений во время глубокого сна, самыми ясными и ощутимыми картинами будут те, что занимали ум, когда сон становился легче. Я же воспользовался сравнением с действием волшебного фонаря, чтобы показать, напротив, что чем полнее отрешенность от

внешнего мира, тем живее иллюзии сна, — и потому буду считать, что самые ясные и ощутимые части сновидения — те, что пришлись на пору самого полного сна.

Раздел 6. О характере ощущений и мыслей во время сновидений и в особенности об обманчивых восприятиях

Автор повторяет то, чего никто не оспаривает: что «действие внешних предметов на чувства, как и впечатления от внутренних органов, во сне не приостанавливаются». Затем он замечает — и это вполне совпадает с моими мыслями, ибо, по-моему, все иллюзии сновидений извлекаются из ячеек памяти, — «что впечатления, испытываемые во сне, не могут породить ощущения настоящего и прямого, тогда как с величайшей легкостью вызывают прежние ощущения, приобретенные мысли, привычки мысли или движения, усвоенные спящим по его образу жизни.

«Впечатления, которые, не возбуждая настоящих ощущений, порождают различные сны, к тому же гораздо живее и сильнее, чем наяву. Раздражения, возбуждения, которые наяву едва ощущались бы, — например, укус насекомого, слабейший шум и т. п., — во сне приобретают такую силу, такую напряженность, что, не прерывая его, вдруг становятся поводом и отправной точкой сновидения».

Это естественным образом возвращает нас к соображениям, изложенным чуть выше по поводу замечаний доктора Д.

«Мысли, образы, являющиеся уму во сне, — продолжает Моро (де ла Сарт), — заключают в себе нечто от силы, от живости впечатлений, которые вызвали их путем ассоциации. Так по крайней мере становится понятно, почему большинство снов никогда не бывают безразличны, но, как правило, либо прелестны, либо ужасны».

И в подтверждение сказанного приводится следующий случай:

«Молодая дама, которую я лечил от недомогания и которую застал при своем посещении в сильном волнении, рассказала мне в объяснение своего смятения, что ей приснилось, будто в ее комнаты пробрался мужчина, и она проснулась как от толчка и выскочила из постели с криком: „Воры!“ Этот сон, развитие которого я постарался выяснить, был вызван тем, что ее собственная онемевшая и холодная рука легла ей на грудь, а она приняла это за чужое прикосновение».

Автор напоминает, что Кардано полагал, будто сочинил во сне несколько замечательных трудов; он приводит многочисленные подобные утверждения, приписываемые Вольтеру, Кондильяку, Франклину и другим знаменитостям, — что, замечу в скобках, как мне кажется, сильно противоречит его собственным теориям об уничтожении способностей души во время сна. Я же, отводя в теории куда больше места возможностям ума спящего человека, все же мало верю в совершенство трудов, задуманных и сочиненных во сне, и убежден, что разочарование названных лиц чаще всего было бы весьма велико, если бы они могли сохранить по пробуждении вполне отчетливое воспоминание об этих необыкновенных сочинениях, от которых у них остался лишь смутный восторг. Мне представится случай привести на этот счет несколько практических наблюдений, и там, где они будут изложены, я вернусь к размышлениям, которые они могут внушить.

Сотрудник «Словаря медицинских наук» далее излагает, что во сне чаще видят, чем слышат, что часто кажется, будто осязаешь, но очень редко — будто ощущаешь вкус или запах. Он добавляет, что и чисто умственные воспоминания бывают чаще, чем те, что связаны с чувствами. Будь эти наблюдения даже бесспорны, сами

по себе они не заключали бы ничего особенно примечательного, ведь осязание и зрение играют в нашей действительной жизни куда более важную роль, чем обоняние и вкус; но, чтобы подкрепить их, Моро (де ла Сарт) придумывает своеобразное различение, которое не стоит обходить молчанием, хотя бы для того, чтобы показать, к каким излишним тонкостям может завести увлечение классификациями.

Он называет галлюцинациями сны, в которых кажется, будто слышишь крики, выстрелы, музыку и т. п. «Большая часть мыслей и впечатлений, из сочетания которых складываются сны, — говорит он, — хотя и обманчивы по отношению к внешним предметам, не могут считаться совершенно обманчивыми, если рассматривать их в связи с расстройством или страданием органов, порождающих эти восприятия».

Иными словами, большинство снов обязано физическим ощущениям, пробуждающим известные ряды мыслей.

А теперь, чтобы сделать из галлюцинаций (как он их понимает) явление совершенно особое, вполне отдельное, он добавляет: «То, что мы понимаем под галлюцинациями, совершенно отличается от этих восприятий, от этих мыслей, случайную причину которых до известной степени всегда можно распознать. Галлюцинации, как показывает происхождение самого слова, суть настоящие наваждения, иллюзии, видения столь полные, восприятия столь явно болезненные и ошибочные, что их можно приписать лишь *более или менее глубокому расстройству мозга*. Так что *в иных случаях* галлюцинации могут быть и посреди сновидений».

Но как же в таких случаях отличить галлюцинацию от сновидения?

По мнению автора, галлюцинация отличается от сновидения тем, что «при галлюцинации твердо убежден, что видишь и особенно что слышишь, что осязаешь, как наяву». А это все равно что сказать: когда сон очень жив, очень отчетлив, словом, очень похож на действительность, автор называет его *галлюцинацией*.

Не настаивая на опровержении этих произвольных теорий больше, чем следует, добавим все же еще несколько слов, чтобы к ним больше не возвращаться. Если бы мы захотели принять, что настоящими сновидениями являются лишь сны, вызванные случайными физическими ощущениями, тогда как *галлюцинацией* следовало бы называть и приписывать более или менее глубокому расстройству мозга все сны, у которых нет прямой случайной причины или по крайней мере эта причина от нас ускользает, — пришлось бы прежде всего отказать воображению в силе самому вызывать картины одной лишь ассоциацией идей. И когда ряд сцен и картин, связанных этим бесспорным явлением ассоциации идей, развертывался бы перед умом во сне, отправной точкой которого было какое-нибудь физическое ощущение, — пришлось бы, значит, называть сновидением эту отправную точку, а галлюцинацией все остальное? Да еще, если иллюзии были живы, с тревожной перспективой какого-нибудь более или менее серьезного расстройства мозга? Кто же возьмется верно проводить на деле подобные различия?

Блуждать в лабиринте столь тонких оценок, когда мы так мало знаем о самой сущности этих таинственных вопросов, кажется мне, признаюсь, делом слишком смелым. Назовем как угодно иллюзии сна, экстаза, бреда и даже безумия; но признаем, что речь идет об одном по своей сущности явлении: об отрешенности от окружающего мира, об уходе ума в себя и, как следствие, о вере в существование и действительную последовательность событий,

которые существуют лишь в нашем уме. Изучим сначала это явление в его нормальной форме, в естественном сне, и, быть может, тогда лучше поймем все исключительные видоизменения, какие может сообщить ему болезненное состояние.

Мое нежелание искать объяснение наших снов в игре мозговых волокон, конечно, не доходит до того, чтобы забыть о тесной связи души и материи, тайну которой заключает наш мозг. Я настаиваю лишь на том, чтобы, не умея проникнуть в законы этого сокровенного союза, мы искали скорее *как*, нежели *почему* того, что в нас происходит.

В пример тех снов предельной живости, во время которых деятельные силы воображения развертывают всю свою мощь и которые ему угодно называть галлюцинациями, Моро (де ла Сарт) приводит знаменитый сон композитора Тартини, автора прославленной сонаты, известной под названием «Дьявольская соната». Маэстро уснул, сильно занятый сочинением сонаты, и эта забота последовала за ним в сон; в ту минуту, когда ему казалось, что он во сне снова взялся за работу и отчаивается в своем скудном вдохновении, он вдруг увидел, как ему явился дьявол, взял его скрипку и сыграл столь желанную сонату с невыразимым очарованием исполнения. Он проснулся в восторге и тотчас записал по памяти пьесу, которую закончил, думая, что слышит ее.

Я без труда допускаю, что Тартини мог таким образом сочинить превосходную сонату. Что же до литературных трудов, исполненных во сне, то, по-моему, высокое мнение, которое о них порой составляют по пробуждении, объясняется главным образом весьма неполным воспоминанием, которое от них остается, и я оставляю за собой право привести далее, в практических наблюдениях, несколько примеров в подкрепление этого обоснованного мнения.

Автор статьи «Сновидение» приводит и любопытный случай. Получив возможность пощупать пульс спящего, чье лицо выдавало волнение, вызванное ужасным кошмаром, он нашел пульс в обычном состоянии. Это наблюдение подкрепляет многие другие, которые показывают, какой степени отрешенности и независимости может порой достигать во сне наш ум.

До сих пор Моро (де ла Сарт) старался главным образом изучить материальные или нравственные причины, способные более или менее доказанно влиять на наши сны. Затем он берется за вопрос о влиянии, которое наши сны в свою очередь могут оказывать на нашу телесную организацию. По его мнению, многократное возвращение некоторых очень живых и волнующих снов может положить начало душевному расстройству.

«Телесные ощущения, органические действия, некоторые весьма последовательные, весьма сложные движения, действительность которых в большей части снов кажется очевидной, не менее обманчивы, чем образы, представления, мысли, чувства, следствием или продолжением которых они как будто являются.

«Однако некоторые тягостные или приятные ощущения действительно испытываются по ходу многих снов, и, чтобы доказать это, достаточно напомнить, что происходит в сладострастных снах.

«Что до действий, до более сложных движений, которые порой совершаются посреди снов, то примеры их найдутся не только у сомнамбул, но и у людей, которые во сне жестикулируют, кричат или поют, говорят и декламируют куски прозы или стихов, которые наяву припомнили бы гораздо труднее и менее точно».

Что касается сладострастных снов, как называет их автор, то далее мне придется провести несколько точных различений.

Останавливаться же особо на фактах, относящихся к сомнамбулизму, не входит в рамки этого сочинения.

Раздел 7. О развитии, течении и предмете различных видов сновидений

Автор изложил общие соображения, которые считает анализом человеческого разума. Теперь он намерен «рассмотреть, как развиваются сны, какова их обычная ткань, их привычная основа и как во многих случаях их можно отнести к известным постоянным точкам и к определенным причинам».

Иные сны, по его мнению, так коротки, так мимолетны, сменяются так быстро, что тщетно было бы пытаться проследить постепенность, сцепление мыслей или восприятий, составляющих их неполную и беспорядочную ткань. Такие сны, говорит он, бывают в неполном сне, который можно назвать дремотой или грезами.

Заметим мимоходом, как все больше сужается поле для изучения того, что нам можно было бы назвать настоящим сновидением. Если сон глубок, у нас, уверяют, не будет никаких снов. Если он слишком легок, составные части порожденных им снов будут неуловимы.

«К этому же виду грез надо отнести и состояние, в котором находишься после довольно короткого первого сна и когда подвержен упорному возвращению одной мысли или немногих мыслей, которые, не образуя настоящего сновидения, беспрестанно нас осаждают».

Далее автор приписывает усталости или сотрясению мозга «многие довольно связные сны, частые после непривычного сильного упражнения, такого как охота и верховая езда, или у детей после очень оживленных игр».

«Часто видна, — продолжает он, — случайная причина этих различных снов или грез; но тщетно было бы искать в них первый узел, отправную точку».

А между тем этот первый узел, эту отправную точку я, по-моему, не раз улавливал и надеюсь также научить читателя улавливать ее самому.

«Сны, состоящие из ткани, из сцепления мыслей и образов, как можно менее удаляющихся от образа жизни спящего, от его умственных привычек и т. п., будут, как правило, указывать на здоровье, ибо будут означать отсутствие ненормальных ощущений, способных нарушить естественный ход мыслей».

Это совершенно верно и вполне азбучно. Не менее очевидно, с другой стороны, что сны, представляющие нам волнующие сцены или картины, далекие от наших обычных забот, с первого же взгляда заставят предполагать какое-то необычное состояние в организме спящего.

Моро (де ла Сарт), который посвятит последний параграф своей статьи медицинскому толкованию многих снов, в конце этого параграфа настаивает на частой связи этих иллюзий сна «с некоторыми внутренними впечатлениями, со временем и течением острых болезней, их кризисами и даже с подходящими против них средствами лечения, как если бы внутренние голоса, самопроизвольное внушение инстинкта обладали в человеке во время сна большей свободой и силой, чем наяву.

«Простое лихорадочное движение, особенно в юности, некоторые болезненные состояния мозга, иногда предшествующие более тяжелым повреждениям, вызывают те сны, в которых бываешь так далек от самого себя, от своего характера и склада ума. Бывают и совершенно необыкновенные сны, которые предстают как отдельные события в жизни того, кто

их видит, и воспоминание о которых, очень слабое в минуту пробуждения, позже воспроизводится с большой живостью, когда те же причины вызывают те же сны, и тогда они являются как положение, пережитое прежде, все обстоятельства которого вспоминаются».

Это последнее наблюдение очень верно и очень тонко. Существование своего рода памяти, присущей состоянию сна, благодаря которой во сне находишь весьма точные воспоминания о прежних снах, совершенно стертых наяву, — одно из явлений, установление которого всего больше поразило меня в моих практических наблюдениях: вызвано ли оно возвратом каких-нибудь болезненных ощущений, крайне тонких и воспринимаемых лишь во сне, или проистекает из одной только ассоциации идей, едва память поместила эти картины среди своих образов-воспоминаний.

Раздел 8. Медицинское толкование и классификация сновидений

Моро (де ла Сарт) уже привел несколько примеров той связи, которая порой существует между снами и переменами в здоровье. Теперь он указывает, что если заниматься снами с точки зрения семиотики, то необходимо не смешивать с действием внутренних и болезненных впечатлений «все, что может зависеть либо от раздражения или умственной заботы, продолжающихся во сне, либо от положения тела и разных внешних и местных впечатлений». Затем он принимается классифицировать сны по их природе и по тому, какой диагноз из них можно извлечь.

Я не мог бы следовать за ним в этой патологической части его труда: это значило бы вторгнуться в исключительную область медицины, за которую я не чувствую себя в силах браться. Скажу лишь, что эти соображения, на мой взгляд, изобилуют полезными

наблюдениями, и приведу несколько мест, не выходящих из намеченных мною рамок.

Говоря о тех мучительных удушьях, которым дали имя кошмаров, Моро (де ла Сарт) выражается так:

«Этот род снов допускает бесконечное множество весьма разнообразных видоизменений — от невозможности иметь или сообщить некоторые мысли, осуществить замысел, исполнить какое-либо решение до той тоски, которую испытываешь, чувствуя невозможность сделать движение, чтобы выбраться из самого опасного положения.

«Настоящий инкуб, полный и совершенный кошмар, справедливо считают самым тягостным и самым мучительным из всех снов, и не удивительно, что думали, будто в иных обстоятельствах он может стать причиной внезапной смерти.

«Этот род сна в высшей степени отличается видом великой опасности или появлением самого страшного, самого ужасного предмета в соединении с живо ощущаемой невозможностью говорить, кричать, двигаться и сопровождается чувством тоски и стеснения, какого не встретишь в других болезненных снах, как бы трагичны и мучительны их ни представлять».

Замечу еще, что эта жестокая тревога, это отчаянное стеснение, случайной физической причиной которых бывает порой лишь легкое недомогание, доказывают, до какой степени может возрастать во сне чувствительность. Кошмар являет нам страдание, доведенное этим нервным и душевным перевозбуждением до высшей степени, — так же как некоторые сны совсем иной природы умеют разжечь в нас самые пылкие страсти и дают нам испытать чувства радости, порывы высшего наслаждения, которые было бы трудно ощутить так глубоко в действительности.

«Многие болезненные расположения, более определенные, чем те, что вызывают кошмар, — продолжает Моро (де ла Сарт), — заметно влияют на природу снов, так что в этом случае сон больного может лучше осветить его состояние, чем любое другое средство дознания. Если верить некоторым наблюдениям, сделанным заслуживающими доверия авторами, внушения, внутренний голос инстинкта в иных обстоятельствах являли во сне поистине пророческую верность и ясность не только относительно места или природы различных болезненных расстройств, но и в указании некоторых весьма сильнодействующих средств лечения».

Эта обостренность внутренней чувствительности, о которой мы уже столько раз говорили, без сомнения, делает вполне естественным самое тонкое восприятие внутренних расстройств. Что же до угадывания лекарств, то из него, как понимает и сам автор, вытекало бы довольно любопытное следствие: человек мог бы порой обретать во сне тот охранительный инстинкт, который должен быть у него врожденным, как у животных, но который воспитание заставило его утратить.

Моро (де ла Сарт) продолжает свою статью несколькими соображениями о сомнамбулизме и даже о магнетизме, действие которого он считает болезненными видоизменениями сна и сновидений. Он приводит многочисленные факты в подкрепление этого мнения, которое я разделяю, и заканчивает наконец следующими размышлениями, которые не кажутся мне устаревшими:

«Магнетический сомнамбулизм, если освободить его от чудесного, которое наблюдатели этого необычного явления часто к нему добавляли, свелся бы к экстатической или каталептической дремоте; только проявлялся бы он не

самопроизвольно, а наступал бы при определенных условиях, которые приводит в действие третье лицо посредством силы, присущей его нервной системе в частности или его организации в целом.

«В этом состоянии, которое, впрочем, по-видимому, можно вызвать лишь у небольшого числа людей и вследствие особой и болезненной предрасположенности, мозг, как при сомнамбулизме, и в гораздо большей степени, чем в естественном сне, находится в полной отрешенности от внешних предметов.

«Последовательность, сочетание мыслей заметно изменяются и оживляются от состояния возбуждения и сосредоточенной экзальтации мозгового органа. Люди, находящиеся в таком положении, вдруг обретают своего рода ясновидение или инстинкт в отношении своих болезней и могут быстрее, чем наяву, прийти к некоторым догадкам, относящимся к их нынешнему положению, физическому или нравственному».

Это последнее суждение кажется мне весьма верным. Таков, по-моему, секрет большей части полу-чудесных фактов, относящихся к сомнамбулизму естественному или искусственному. Общение, устанавливающееся между спящим и бодрствующим, позволяет соединить обдуманное и направляющее руководство одного с крайней сосредоточенной ясностью другого. Отсюда одновременно возникают последовательность в исследовании и тонкость восприятий, какими никогда не могли бы обладать вместе ни спящий, ни бодрствующий. Отсюда необычайная проницательность — то в распознании места и природы некоторых внутренних повреждений, еще неуловимых наяву, то в предвидении, путем выводов и с помощью инстинктивных и весьма верных рассуждений, некоторых будущих событий, которые уже существуют, так сказать, в зародыше и наступление

которых будет лишь развитием ряда фактов, вытекающих одни из других. Но с патологической точки зрения, чтобы эта ясность была разумной и надежной, спящий, разумеется, должен применять ее к собственному организму, а не к чужому; в последнем случае я уже не решился бы на нее полагаться. Впрочем, я не стану входить в обсуждение подобного рода фактов: оно увело бы меня за пределы моих личных наблюдений, которыми я желаю ограничиться.

Мы видели выше, что Моро (де ла Сарт) хотел сделать из галлюцинаций особое явление. Галлюцинации, которые он приписывает каталептикам, внушают ему мысль о новом физиологическом различении. Я же, не собираясь изучать эти ненормальные состояния в их болезненной причине и беря слово *галлюцинация* лишь в родовом смысле всякой иллюзии, не происходящей от естественного сна, ограничусь замечанием, что по своим результатам это явление ничуть не отличается от обычного сновидения, если оно, как и сновидение, есть *представление перед очами ума предмета, занимающего мысль, когда наступила полная отрешенность от внешнего мира*. Различие между галлюцинацией и сновидением может, стало быть, состоять в физических условиях, подготавливающих видение, но никак не в характере этого видения, взятого само по себе. Естественный ли сон, оцепеняя тело, лишает нас чувства окружающей действительности и позволяет уму сосредоточить на одной мысли всю силу воображения, или то же действие производит какое-нибудь вещественное расстройство нашего организма, — конечный итог будет все равно одинаков. Чтобы картины волшебного фонаря показались четкими и яркими на полотне, куда отбрасывается их изображение, нужно убрать всякий свет извне; но выполнено ли это условие возвратом

естественной ночи или плотным затворением окон среди бела дня — характер явления от этого ничуть не меняется.

Эскироль не колеблясь пишет: «Мнимые ощущения галлюцинирующих — это образы их мыслей, воспроизведенные памятью, соединенные воображением и олицетворенные привычкой. Человек тогда видит сны наяву».

Того же мнения держатся гг. Рубо-Люс и Фодере.

Переходим к современникам; я вовсе не притязаю пересмотреть все их сочинения, тем более что в них очень редко встречаются новые соображения, особенно в том, что касается обоснованного разбора явлений сновидения.

Мен де Биран выступил противником Жуффруа. Г-н Лелю старался держать равновесие между этими двумя авторами. Ратье высказывает почти те же мысли, что Дугалд Стюарт, оспаривая мнение о приостановке внимания, которого держался Моро (де ла Сарт), и противопоставляет ему такой довод: «Сон приостанавливает не деятельность души, а лишь власть воли — как над телесными органами, так и над порядком и течением наших мыслей; ум сохраняет даже способность обращать внимание на ряды мыслей или представлений, сменяющих друг друга в нем, ибо иначе невозможно было бы объяснить, как душа в минуту пробуждения сохраняет воспоминание о своих снах: ведь совершенно несомненно, что мы вспоминаем и можем вспомнить лишь то, что было предметом нашего внимания[7]».

[7] *Полный курс философии*, соч. г-на Ратье, т. II, с. 422.

В своей «Физиологии человека» доктор Аделон, подобно многим своим предшественникам, допускает возможность сна без сновидений; но такова сила истины, что логика заставляет его противоречить самому себе в этом столь важном и спорном

пункте, когда он пишет: «Смотря по тому, насколько глубок сон, воспоминание о снах сохраняется или нет».

И ему решительно возразит также Бриер де Буамон, который, в согласии с Жуффруа, во всеуслышание сделает такие точные выводы: «Против сновидения, справедливо названного отдыхом ума, возражали, что оно очень часто отсутствует и что множество людей просыпается, не видев снов. Это возражение неосновательно. Решающий опыт не оставляет на этот счет никакого сомнения. Если вы окружены спящими, а к вашим векам сон не идет, вы станете свидетелем жестов, слов, действий, которые служат явными признаками сновидений, и достаточно будет напомнить о них тем, кто уверяет, что ничего не видел во сне, чтобы навести их на след. Это забвение сна после пробуждения не более удивительно, чем то, что бывает наяву, когда к концу дня не помнишь и сотой доли посетивших тебя мыслей[8]».

[8] Бриер де Буамон, *О тождестве сновидения и помешательства*.

Доктор Аделон, со своей стороны, станет оспаривать мнение тех, кто отрицает сохранение воли во сне. Он сошлется на опыт Кондильяка и скажет нам: «Иногда во сне совершаются настоящие умственные труды, которыми, кажется, руководит воля. Часто вдруг, с быстротой, разрешаешь затруднения памяти, суждения, воображения, которых не мог бы одолеть наяву. Удивляешься ясности своих мыслей и легкости, с какой их тогда выражаешь. Это происходит, без сомнения, оттого, что вся деятельность ума сосредоточена на одном предмете и не отвлекается никаким другим действием».

То же отсутствие рассеянности, то же сосредоточение жизненных сил, пока дневные действия приостановлены,

приведут к тому, что до крайности обострятся все чувственные волнения. «Если сон касается продолжения рода, то внешние органы, зависящие от него, приходят в действие. Изменяются и отправления внутренних органов, которые обычно волнует страсть: дыхание становится прерывистым, перемежается вздохами; сердце сильно бьется. Человек, находящийся во власти *кошмара* или *инкуба*, испытывает ту же тоску, как если бы терпел самое действительное страдание».

Здесь я буду совершенно согласен с цитируемым автором и возьму на заметку также следующее его заявление, согласное с моими личными наблюдениями: «что порой спрашиваешь себя, действительны ли сцены, только что бывшие перед глазами, или они лишь порождение сна, и что тогда можно более или менее давать им продолжение, заставлять их возрождаться, когда они нравятся, или прекращать их пробуждением в противном случае[9]».

---

[9] Аделон, *Физиология человека: о сне*, т. II, с. 261.

Но в вопросе о ясности мыслей во сне и о совершенстве умственных трудов, которые можно там исполнить, я склонен держаться мнения среднего между мнениями Мюллера и Кабаниса.

Мюллер говорит: «Бывает, что во сне рассуждаешь более или менее верно. Размышляешь над задачами и радуешься, что нашел решение. Однако если вовремя проснешься, то часто видишь, что результаты, к которым будто бы пришел, чисто призрачны и что решение, которому радовался, лишено здравого смысла».

Кабанис, напротив, писал: «Во сне у нас бывают порой мысли, каких у нас никогда не было. Нам кажется, например, будто мы беседуем с человеком, который говорит нам вещи, нам не

известные. В самом деле, ум может продолжать свои изыскания во сне; цепью рассуждений он может прийти к мыслям, которых у него не было; он может, сам того не зная, как делает это поминутно наяву, производить быстрые расчеты, открывающие ему будущее; наконец, некоторые ряды внутренних впечатлений, согласующиеся с прежними мыслями, могут привести в действие все силы воображения и даже представить человеку череду событий, рассказ о которых со всеми подробностями ему порой будто бы слышится в правильной беседе[10]».

[10] Кабанис, *Отношения нравственного и физического в человеке*.

Я полагаю, что здесь нужно провести важные различия, смотря по природе трудов, о которых пойдет речь. Труды, требующие обдуманного применения бесчисленного множества сложных понятий, приобретенных учением в действительной жизни, далеких сопоставлений, последовательных рассуждений и выводов, — такие труды будут, как правило, плохи. Те же, напротив, что требуют больше вдохновения, чем хладнокровия, и которым не повредило бы легкое опьянение; те, где ум упражняется на простом, положительном, однородном материале, где последовательные мысли сцепляются сами собой, как, например, в математических вычислениях; или еще те, где воспоминания и сближения по сходству форм служат большим подспорьем, как в сочинениях музыкантов, живописцев и зодчих, — эти могут порой быть превосходными. Вопрос этот будет развит далее, в книге практических наблюдений. Там я постараюсь объяснить и подкрепить несколькими примерами то, что здесь лишь упоминаю.

Впрочем, у меня есть основание думать, что мои положения о возможности руководить собственными снами не встретили бы,

по крайней мере *a priori*, неблагосклонного приема у знаменитого прусского физиолога, ибо он сказал также: «Когда сон очень приближается к состоянию бодрствования, очень хорошо чувствуешь, что видишь сон, и, несмотря на внутреннее убеждение в этом, можешь все же продолжать видеть сон[11]».

[11] Мюллер, *Физиология человека*.

Другое место того же писателя могло бы также подкрепить своим авторитетом некоторые из способов управления снами, которые я намерен изложить. «Свет лампы, горящей, пока спишь, — пишет он, — оказывает, как и ее угасание, известное влияние на сны. Прекращение шума, к которому привык во сне, вызывает в душе мысли так же, как вызвал бы непривычный шум[12]».

[12] Мюллер, *Физиология человека*.

Конечно, если сначала согласиться в двух существенных пунктах — в сохранении воли во сне и в действенном влиянии внешних агентов на ход мыслей спящего человека, — то недалеко будет и до признания того, что сны можно видоизменять и даже направлять по своей воле.

Я только что назвал Бриер де Буамона. Чтобы точно следовать порядку времени, мне следовало прежде сказать о статье «Сон» (*Sommeil*), напечатанной в 1841 году в его «Новой энциклопедии» знаменитым проповедником социализма г-ном Пьером Леру.

Автор старается прежде всего и больше всего показать, что этот предмет до сих пор один из наименее проясненных в человеческом знании; он нападает разом на самых прославленных психологов и физиологов новейшей науки, чтобы показать, что ни те ни другие не сумели дать сну и сновидениям действительно удовлетворительного объяснения.

Теории Мажанди, Биша, Гассенди и школы Лейбница он разбирает весьма тонко. Не пощажен и Жуффруа. «Странный итог нынешней физиологии и психологии! — восклицает он наконец. — Если я спрашиваю физиолога, в чем состоит сон, он тотчас отсылает меня к душе, ибо, по его словам, тело не являет иных явлений, кроме ослабления против состояния бодрствования. Стало быть, только душа, или, как говорят физиологи, жизнь отношений, может объяснить сон. Временное прекращение или приостановка жизни отношений — вот в самом деле последнее слово физиолога; но если я обращусь к психологу — все наоборот. Он отсылает меня к телу; он и слышать не хочет, что его душа спит, что она входит в особое состояние, что во сне она иная, чем наяву. Это тело, говорит он мне, подвержено особому состоянию, которое называют сном; душа слишком благородна, чтобы спать. Итог этих двух наук, в нынешнем их положении, был бы, стало быть, очевидно, тот, что нам пришлось бы отрицать само существование сна, раз ни тело, ни душа не хотят взять его на себя, а физиолог и психолог поочередно перекладывают трудности друг на друга».

Вывод г-на Пьера Леру и выражение его личного взгляда сводятся к тому, что «существо, которое в нас, не есть ни мысль, ни материя; иными словами, понятия, которые мы составляем себе о мысли и материи, как если бы мысль и материя существовали где-то такими, какими мы их представляем, — лишь химеры и иллюзии; что нигде нет ни чистой мысли, ни чистой материи».

Видно, что, желая держаться середины между психологами и физиологами, философ-социалист, отрицая обособленное существование мысли, сам бросается в материализм, который можно было бы назвать весьма чистым. Так как наша задача не в

том, чтобы переносить спор на эту почву, ограничимся здесь указанием, что в глазах г-на Пьера Леру «сон не есть ни перерыв в деятельности души, ни перерыв в деятельности тела, но, напротив, совместный труд души и тела, как и бодрствование, то есть состояние, в котором то, что называют жизнью отношений, продолжается в форме, отличной от той, какую эта жизнь принимает наяву, тогда как то, что называют органической жизнью, также продолжается в форме, отличной от той, какую эта жизнь принимает наяву».

И наконец, «что углубленное изучение снов должно быть единственным путем к верному познанию сна».

Сказанным я показал, сколь разнообразны и противоречивы мнения многочисленных писателей, более или менее прямо касавшихся вопроса о снах. Академия нравственных наук, по-видимому, приняла во внимание это отсутствие метода, этот недостаток точных данных, обнаруживающий малую продвинутость науки в этой столь занимательной, однако, отрасли физиологии человека, когда в 1854 году предложила тему конкурса, о которой говорилось выше[13].

[13] См. выше, в Части первой.

Увенчанным оказалось сочинение г-на Альбера Лемуана, которое заслуживает особого внимания и которое мы сейчас тщательно рассмотрим.

Впрочем, я буду и дальше попутно излагать мои собственные наблюдения и мысли, по мере того как будет представляться удобный случай.

V. О сне с физиологической и психологической точки зрения; сочинение г-на Альбера Лемуана

Существует ли сон без сновидений? — Следует ли видеть в сновидении особую форму мысли? — О переходе от бодрствования ко сну. — Новые соображения о значении слов видеть сны и мыслить. — Нуждается ли душа в отдыхе? — Теория сотрясений волокон и система Мен де Бирана. — Как г-н Лемуан объясняет бессвязность снов. — О большей или меньшей отчетливости образов и почему наши сны очень редко бывают одинаково ясны. — При каких обстоятельствах одна дама увидела во сне брата, которого потеряла несколькими годами раньше. — Искажение одних образов-воспоминаний и чудесная сохранность других. — О переходе путем подмены или наложения образов. — О доле каждого из наших чувств в образовании наших снов. — Бессилие материалистических теорий объяснить иллюзии сна. — Чередование деятельности и пассивности нашего ума и последствия этого явления для ткани наших снов. — Как я охотно классифицировал бы сны. — О влиянии органических ощущений на ум во время сна и обратном действии умственных забот на органы. — Что порой мешает сну быть восстановительным. — Природа усилия, которое делает ум, чтобы разбудить тело. — Нравственная чувствительность. — Всегда ли чувства, испытываемые во сне, похожи на те, что бывают наяву? — Об уме во сне и почему суждения, выносимые в этом состоянии, очень часто ошибочны. — Сравнение сна и безумия. — О сознании, памяти, ассоциации идей и воображении по г-ну Лемуану. — Важные различия, которые надо провести относительно роли, какую играет в наших снах эта последняя способность. — О внимании и о двигательной силе.

Существует ли сон без сновидений? Можно ли спать, не видя снов? В этом главном и первостепенном вопросе г-н Лемуан с самого начала явит нам мучительнейшие колебания.

«Первая пора сна, следующая за дремотой, *почти всегда свободна от сновидений*», — прочтем мы в самом начале (с. 20).

Но немного дальше та же глава содержит такие места:

«Если воспоминание о сне рассеялось вместе со сном, мы говорим, что не видели снов. Пусть свидетель наших сновидений подметит на нашем лице или в наших движениях доказательство того, что нас волнует сон, и расскажет нам, что видел, — мы скажем только, что утратили о нем воспоминание; добавлю даже по этому поводу, что я будил людей, видевших сны, и, напоминая им последние их слова или жесты, заставлял их признать, что они действительно видели сон.

«Не подлежит сомнению, что наяву мы никогда не перестаем мыслить или чувствовать; однако к концу дня мы не могли бы припомнить всех мыслей, занимавших наш ум, всех ощущений, испытанных нашей душой. Если мы не сохраняем воспоминания о своих дневных ощущениях и мыслях, то тем более можем забыть ночные сны. Когда посреди непринужденной беседы минутное молчание вдруг прерывает перекрестные речи, кого не заставал врасплох неожиданный вопрос друга: „О чем вы думаете?“ Кто не отвечал, словно внезапно проснувшись: „Я ни о чем не думал“, — и, тотчас поправляя опрометчивость первого ответа, не добавлял: „Да, у меня, конечно, была мысль, может быть, и не одна, но такие легкие, такие неопределенные, что ваш вопрос их спугнул и они не оставили в моем уме никакого следа“ (с. 24).

. . . . . .

«Это доказывает, что когда, очнувшись от долгого и глубокого сна, я отвечаю тому, кто рассказывает мне свои ночные сны, что сам я не видел ни одного, — вовсе нельзя быть уверенным, что так оно и есть. Это доказывает даже, что по меньшей мере возможно, чтобы во время сна тела ум ни на миг не переставал

быть занят. Отсутствие всякого воспоминания еще не доказывает, что мы не видели снов: это может быть забвение. Напротив, наличие воспоминания доказывает, что мы могли бы видеть сны всегда, раз мы видим их иногда.

«Пробудившись от тяжелого и глубокого сна, мы редко помним, что видели сны; гораздо чаще это бывает, когда мы спали легким сном. Но вполне может статься, что глубина сна благоприятствует сновидениям не меньше, а быть может, и больше, чем его легкость».

В подкрепление этого весьма верного мнения автор приводит уже упоминавшийся факт: сомнамбулы, то есть те из спящих, чей сон глубже всего, чьи сны яснее и связнее всего, меньше всех и помнят свои сны — до того, что физиологи считают это беспамятство существенной чертой сомнамбулизма.

Он добавляет еще: «Не было бы, стало быть, невозможным, чтобы самый глубокий сон, как и самый легкий, от начала дремоты и до самого пробуждения, был лишь долгой чередой сновидений» (с. 34).

И, положив в основу аксиомы, которые я отнюдь не собираюсь оспаривать: «Спящую мысль так же невозможно понять, как умирающий дух»; «Дух, который не мыслит, — то же, что тяжелое тело, которое ничего не весит», — он неизбежно приходит к выводу: «У мысли не бывает сна. Дух не знает сна» (с. 61).

Еще Лейбниц сказал: «Состояние души без мысли и совершенный покой тела кажутся мне одинаково противными природе и не имеющими примера в мире. Если тело никогда не бывает в покое, то и душа никогда не будет без восприятия»[1].

[1] Лейбниц, «Новые опыты», изд. Эрдмана, с. 223.

Не будем, однако, думать, что г-н Лемуан так уж решительно отступится от своего первоначального мнения. Едва высказав эти мысли, он, кажется, уже находит их слишком смелыми. И с этой минуты старается смягчить их оговорками, тонкость которых, признаюсь, я улавливаю с большим трудом. Послушаем его:

«Одно дело — утверждать, что ум ни на миг не перестает видеть сны, пока мы спим, другое — просто сказать, что мысль никогда не прекращается совсем, пока органы отдыхают. Сновидение есть мысль особого рода. Это самая яркая и, быть может, самая обычная форма деятельности нашего ума во сне, но не единственная». Какую же иную форму может принимать деятельность нашего ума во сне, г-н Лемуан сказать нам не удосуживается. Он продолжает: «Даже редко бывает, чтобы сновидение не было ничем смешано с мыслями и ощущениями *иного рода*; никогда оно одно не заполняет всего времени нашего сна — разве что называть *сновидением* всякого рода чувства и мысли, все проявления деятельности нашего ума, словом, все явления, череда которых составляет состояние и историю души во время сна».

Я же, со своей стороны, и в самом деле полагаю, что *всякая мысль спящего человека есть сновидение*, более или менее ясное, и что именно эта форма мысли — или по меньшей мере та форма, которую она принимает во сне, — и составляет, с психологической точки зрения, различие между сном и бодрствованием. Человек засыпает; пока он еще бодрствует, его мысль не обретает ни плоти, ни красок — этому мешает окружающий мир; по мере того как сон одолевает его, мысль окрашивается и облекается плотью; это и есть сновидение, а сновидение — это форма мысли во время сна. Что же до той третьей формы мысли, о которой, по-видимому, говорит г-н Лемуан, я убежден, что ему было бы очень нелегко ее

определить. — Совершенно верно, что засыпают иначе, чем просыпаются: не вдруг и не без перехода, так что невозможно точно указать миг, когда мысль теряет черты бодрствования и становится сновидением. Но это переходное состояние так же мало составляет особое состояние ума, как сумерки — особое свойство света или как та минута, когда картины волшебного фонаря еще не вполне четки (потому что ставни еще не совсем закрыты), — особое оптическое явление. Это переход от одного состояния к другому, но никак не состояние *sui generis*.

Посмотрите, впрочем, что происходит при пробуждении.

Мне снится, что я в Тюильри и мимоходом разглядываю какую-нибудь статую, особенно хорошо сохранившуюся в моей памяти. Образ этой статуи и деревьев, что ее осеняют, предстает мне поистине во всей иллюзии формы и цвета. Я просыпаюсь. Сон, который я видел, еще очень жив в моем уме, но теперь глаза мои поражены предметами действительного мира, который меня окружает. Их образ заступил место образа статуи, которую я только что созерцал, — так картина убранства и обстановки зала заступает место картин волшебного фонаря, если вдруг распахнуть ставни; я думаю о статуе, но она мне больше не снится. Вот, повторю еще раз, различие между тем, чтобы видеть сон, и тем, чтобы думать.

Это сравнение относится, правда, лишь к иллюзиям зрения, поскольку зрение — единственное из наших чувств, на которое действуют картины волшебного фонаря; но, разумеется, мое замечание должно распространяться на все чувственные иллюзии сна — кажется ли нам, что мы осязаем или слышим, или чудится, что мы обоняем или ощущаем вкус. Я без колебаний заявлю, что если речь идет о мыслях чисто нравственных или метафизических, которые не могут повлечь за собой никакого

образа или чувственного восприятия, то поистине не будет никакой разницы в *форме деятельности ума* во сне и в бодрствовании — словом, между мыслью бодрствующего человека и мыслью человека спящего[2].

[2] Следует лишь заметить, что, подобно тому как наяву мы никогда не думаем о чем-либо, не находясь в это время в какой-нибудь действительной обстановке, так и во сне у нас никогда не будет мысли, сколь угодно отвлеченной, без того чтобы мы не воображали себя в то же время окруженными какими-то предметами, которые неизбежно составляют фон картины.

Я говорил только что, что засыпают иначе, чем просыпаются, что сон всегда приходит постепенно. Г-н Лемуан приводит по этому поводу материалистическое мнение доктора Бертрана, который полагает, что ум засыпающего человека тяжелеет и наконец совершенно цепенеет вместе с телом. Сохраняя, впрочем, известный нейтралитет в этом главном вопросе — может ли быть сон души или нет, — г-н Лемуан выражается все же так, что его следует считать более близким к учению Жуффруа, чем к учению доктора Бертрана. Те же колебания повторяются и в другом, тесно связанном с этим вопросе: душа, ум, нематериальная часть нашего существа — подвержена ли она усталости или нет, нуждается ли в отдыхе или нет?

«Да, душа устает так же, как и тело; подобно ему, она нуждается в отдыхе», — напишет он сначала (с. 52); но после многих смягчающих соображений мы увидим, как он приходит к выводам, весьма далеким от исходной точки:

«Мы заблуждаемся насчет нашего состояния и нашей природы, когда приписываем нашему уму бессилие, которое очень часто есть лишь бессилие органов.

. . . . . .

«Когда пустой желудок нуждается в пище, муку голода терпит душа, но голод — потребность тела. Если после долгого напряженного внимания мысли становится необходимо отвлечься, то требует этого не всегда ум — требует орган; ученый, проработавший всю ночь, страдает не от мысли, а от головы.

. . . . . .

«Странное заблуждение — думать, будто раз моя мысль мутится, чувствительность притупляется, деятельность замедляется, значит, это мой ум устает, значит, это он нуждается во сне. Это напоминает мне слова ребенка, который, увидев покрытых пеной лошадей упряжки после долгого пути, сказал, что кучер, должно быть, очень устал, столько времени их нахлестывая. Тело, которое умирает и непрестанно тратит себя, устает и нуждается в отдыхе; сон создан для него; сон — дело целиком органическое. Душа, которая не угасает, ничего не теряет, не умирает, не устает так, как устает тело. Усталость тела причиняет ей страдание; она дает телу отдых, чтобы прекратить свое страдание; в трудном деле она порой теряет мужество, но не силу, и вновь обретает его в забвении, которое доставляет ей сон органов. . . . . Она при случае пользуется сном тела, но этот сон — не ее сон. Если Бог в Своей мудрости и усмотрел это благо для души в покое органов, то все же не ради души дал Он этот закон телу; но все так согласно и так мудро в творениях Божиих, что даже вещи и существа, не ради которых прямо совершаются явления, извлекают из них пользу как из благоприятного случая, который Бог словно бы создал для них одних, а создал Он его столько же и даже больше для других. Так, сон есть сон тела; но он действует на душу благодаря столь чудесно устроенному стечению обстоятельств, что можно было бы подумать, будто

отвлечение души и забвение действительности — прямая цель сна органов.

«Если действия души слабее, ощущения ее тяжелее, мысли нерешительнее, то причину этого следует приписать оцепенению органов, но *дух не знает сна*» (с. 58)[3].

[3] Еще Жуффруа замечательно затронул этот вопрос в следующем отрывке: «Когда мы просто предаемся мечтательности, мы позволяем нашему уму идти, куда ему угодно; он отправляется от той мысли, которая занимала его в ту минуту, когда мы отпускаем поводья, и, так как эта мысль напоминает ему другую, та — третью, третья — четвертую и так далее, он странствует наудачу и пробегает ряд мыслей, которые не связаны между собой ничем, кроме прихотливых ассоциаций, приведших их в памяти одну за другой… Вот каков для нашего ума его способ отдыхать; другого у него нет. Утомляет его не деятельность: деятельность — его сущность; отсутствие деятельности было бы для него не отдыхом, а смертью. Утомляет его направленность его деятельности, сосредоточение его способностей на одном предмете. Это сосредоточение, которое называют вниманием, утомляет его потому, что оно — усилие, чуждое его естественному ходу. Весь день он трудится, как и тело; но когда приходит ночь, он чувствует себя усталым, как и его спутник, и, приглашенный к отдыху дремотой органов, отдается своей свободной природе. Иногда он дает себе отдых и днем; и он так ясно сознает тождество этих двух состояний, что называет одно *состоянием сновидения*, а другое — *состоянием мечтательности*».

По мере того как продвигаешься в рассмотрении этих столь сложных вопросов, оказываешься вынужден касаться и предметов, мимо которых поначалу думал пройти не останавливаясь. Так и желание следовать шаг за шагом за г-ном Лемуаном заведет нас ненадолго в области, сопредельные со страной сновидений в собственном смысле. Речь пойдет об отправлениях мозга как представителя души и орудия ее велений.

«Душу определяли то как разум, которому служат органы, то как разум, порабощенный органами, — говорит автор сочинения, увенчанного премией Института, — ни то ни другое из этих остроумных определений не верно; справедливее было бы их

соединить. Душа есть скорее разум, которому органы и служат, и в то же время его порабощают.

«Одно из прекраснейших и новейших применений науки может дать нам образ состояния души и тела в бодрствовании и во сне, в здоровье и в болезни. Не принимая той остроумной, но пока слишком мало обоснованной гипотезы, по которой в нервах обращается электрическая жидкость, а белое и серое вещество мозга — два противоположных начала, откуда эта жидкость непрестанно истекает, скажем, что в бодрствовании и здоровье мозг и нервная система подобны очагу электричества, откуда во все стороны расходятся проводящие лучи — изнутри наружу, от центра к окраинам, и куда сходятся другие лучи — снаружи внутрь, от окраин к центру; словом, подобны двойной системе прямых и обратных линий электрического телеграфа. Двойная машина действует от Парижа ко всем пограничным городам и от них к столице.

«Так поистине обстоит дело с мозгом и нервными стволами. Двигательные нервы — это провода, расходящиеся лучами, чувствительные — провода, сходящиеся к центру; мозг — батарея и циферблат; душа, свободная и разумная, — телеграфист, который отправляет приказы и принимает депеши. Все идет хорошо, пока машина исправна, пока провода как следует проводят электричество, которое дает батарея. Но предположим, что провода, расходящиеся от центра, перестали проводить, потому что они перерезаны или соединены с землей: Париж не перестает получать вести из провинций, но провинции уже не получают из столицы ни одной депеши. Предположим, напротив, что расходящиеся лучи целы, а сообщение по сходящимся проводам прервано: Париж приказывает, провинции получают его приказы; теперь уже столица остается в неведении обо всей

остальной Франции. Если бы в какой-нибудь части нашего тела одни только чувствительные нервы могли на время утратить проводимость от перевязки или паралича, осуществился бы первый случай: душа повелевала бы членом, не получая от него никакого впечатления; напротив, она страдала бы от его болезни, не имея власти его двигать, если бы при целых чувствительных нервах двигательные были перевязаны или онемели».

Я далек от того, чтобы согласиться с г-ном Лемуаном в том, как он намерен воспользоваться этим остроумным сравнением, чтобы объяснить, как рождаются сны; но оно так хорошо дает нам ключ к его теории, что я весьма охотно привожу его *in extenso*.

«Когда органы чувств, открытые и бдительные, поддерживают свободное сообщение между внешним миром и нами, внешние предметы сообщают чувствительным нервам — нервам зрения, слуха, осязания и всех органов чувств — движения, какой бы природы они ни были, а те в свою очередь возбуждают в нашей душе ощущения и мысли, о причине которых мы тоже выносим суждения. Чаще всего эти суждения верны, эти мысли справедливы, эти ощущения мы относим к их истинной причине; так мы получаем представление о видимых предметах, находящихся перед нашими глазами, о звучащих телах, поражающих наш слух: они возбуждают окончания зрительных и слуховых нервов и порождают в нашей душе ощущение, которое не обманывает нашего суждения и предмет которого ум помещает вовне, в окружающем нас мире.

«Но когда органы чувств, оцепеневшие или расслабленные на своем внешнем конце, остаются бесчувственны к прикосновению внешних предметов и уже не заставляют внутренние корни мозга звучать в унисон с малейшими их движениями, тогда лишь глубокая и скрытая органическая причина может в какой-нибудь

точке их пути, не захваченной сном, сообщить нервам сотрясение, которое, хоть и вышло из более близкого места, все так же пробуждает отклик в душе. Возникают ощущение, мысль, суждение; но чаще всего это ощущение нас обманывает, эта мысль лжива, это суждение ложно. В силу законов, которые связывают в уме мысли с мыслями, в органах движения с движениями, в человеке органические движения с мыслями и мысли с изменениями органов, нервное сотрясение, родившееся только внутри, сопровождается в нашем уме тем же ощущением и той же мыслью, какие оно вызвало бы, если бы зародилось на самом дальнем конце нервного луча; более того, обманутые этим ощущением, мы относим его к внешнему предмету, который его не породил, но который не раз вызывал его именно таким, каким мы его испытываем».

Откуда следует:

«Сновидение во всей его простоте, во всей чистоте будет галлюцинацией[4], порожденной сном, то есть тем *внутренним движением, рожденным в глубинах мозга или, быть может, в какой-нибудь точке пути чувствительных нервов*, которое пробуждает в нашей душе ощущение или образ, не вызванные внешним предметом, который они представляют или напоминают, и которые наш обманутый ум все же относит к этому призрачному предмету как к своей истинной причине (с. 97).

[4] Г-н Лемуан хочет провести различие между словами *иллюзия* и *галлюцинация*. «*Иллюзия*, — говорит он, — бывает тогда, когда наш ум оценивает ощущение, вызванное внешним предметом; *галлюцинация* — когда он относит к внешнему предмету (которого нет) ощущение, вызванное внутренним органическим сотрясением». При такой системе, мне кажется, во сне едва ли можно было бы иметь что-либо, кроме *галлюцинаций*. Я же буду пользоваться обоими этими выражениями без различия и, как и в случае слов *rêve* и *songe*, просто-напросто приму ту синонимию, которую приписывает им словарь Академии.

«Исходная точка всех наших сновидений есть, стало быть, не что иное, как одно из тех слепых движений внутренних органов, неощутимых в бодрствовании, но становящихся ощутимыми среди тишины внешнего мира, ставшего нам чуждым; затем каждое мгновение новые сотрясения доставляют материал для новых иллюзий» (с. 106).

Эта мало спиритуалистическая система приводит автора к выводу, что явления безумия, бреда и т. д. весьма сходны с явлением сна, поскольку все они, по его мнению, одинаково происходят от ложных восприятий, механически передаваемых мозгу больными волокнами.

Два весьма простых, но довольно трудно устранимых возражения, как мне кажется, сразу встают против такого способа объяснять все явления сна и безумия болезненным сотрясением чувствительных нервов в какой-нибудь точке их пути.

Во-первых, сновидение, как и галлюцинация бодрствующего человека, часто являет образы, странность которых трудно было бы объяснить сходными ощущениями, взятыми из бодрствования или здравого рассудка.

Во-вторых, галлюцинация спящего или безумного почти никогда не ограничивается ошибкой одного только зрения, слуха или осязания. Она почти всегда сложна — во сне по крайней мере; то есть нам кажется, что мы одновременно видим, осязаем и слышим призрак, порожденный галлюцинацией. Чтобы оправдать предложенную выше теорию, нужно было бы, следовательно, одно из двух: либо чтобы у меня была галлюцинация одного лишь зрения, слуха или осязания — что, быть может, и случается у безумных, но во сне почти не бывает; либо чтобы в тот самый миг, когда эта внутренняя причина, эта ненормальная игра какого-нибудь волокна, например

зрительного нерва, заставляет меня ложно поверить в появление призрака, как раз случилась бы и другая ненормальная игра слухового нерва, чтобы я так же поверил, будто этот призрак со мной говорит; а если призрак коснется меня — то опять-таки по чудесному совпадению ненормальных обстоятельств со стороны осязательных нервов. — Нет нужды доказывать, насколько несостоятелен был бы такой тезис. Г-н Лемуан хорошо это чувствует, и вот как он выходит из положения:

«Предположите, что лихорадка гонит кровь по сосудам, что винные пары поднимаются к моему мозгу, что воспаление какой-нибудь из его оболочек производит в головном мозге какое-нибудь расстройство или даже что при самом полном здоровье одно из тех тысяч движений, которые рождаются глухо и незаметно, вдруг возбуждается в его глубинах; мой рассудок, обычно столь твердый, сбивается с пути; я вижу призрак, которого нет передо мной; слышу слова, которых не произносят ничьи уста; я — игрушка галлюцинации. Рука моя, без сомнения, могла бы пройтись по пространству и убедить меня, что у этого образа нет предмета; но болезнь отняла у меня возможность ею пользоваться, ужас леденит меня и не дает сделать ни малейшего движения; или же расстроенный орган удваивает ощущения, громоздит образы, оглушает меня быстротой их смены или представляет их, всегда одни и те же, с такой ясностью, с таким упорством, что призрачная картина заслоняет образ действительности. Я не могу сомневаться в существовании предмета, образ которого так жив и так устойчив, я утверждаю, что он существует; более того, *заблуждение распространяется, я слышу его, я осязаю его*, рассудка моего больше нет; лихорадка, опьянение, безумие лишили меня его». *Я слышу его, я осязаю его* (заблуждение распространилось) — вот удобный способ

разрубить гордиев узел. Только что ужас или болезнь мешали моей руке *пройтись по пространству*, чтобы распознать ошибку; теперь, оказывается, *я осязаю* призрак, *я слышу*, как он со мной говорит. Но почему же? И каким образом, позвольте спросить? Рассудка больше нет, говорите вы. Ясно, что в явлениях такого рода рассудка всегда недостает; но, признаюсь, признание этого итога нисколько не объясняет мне, как к нему пришли. Эти тысячи движений, которые, как мне говорят, рождаются в глубинах головного мозга, — помимо того что они, быть может, существуют лишь в предположении автора, — ровным счетом ничего мне не объясняют. — Если бы такие движения существовали, если бы они могли так легко возникать у человека со здоровым мозгом каждую ночь, всякий раз, как он спит, и только оттого, что он неподвижен и бездействует, — разве не видели бы мы иногда того же явления и в бодрствовании? Разве каждый из нас не подвергался бы тогда ежедневно галлюцинациям того или иного чувства? Допускаю, что, бодрствуя и не всегда находясь во власти лихорадки или ужаса, мы могли бы поправить свидетельством других чувств то, что было бы ложного во впечатлении одного из них; но все же сама галлюцинация от этого не перестала бы иметь место. А найдется ли читатель, который помнит, что когда-нибудь испытывал нечто подобное при полном здоровье?

Последнее замечание об этой системе. Г-н Лемуан предполагает, что первая галлюцинация — например, зрительная, — вызванная каким-нибудь легким сотрясением волокон зрительных нервов, одной своей заразительной силой тотчас влечет за собой и галлюцинации слуха и осязания. Он допускает, стало быть, что воображение само по себе обладает силой действовать так же мощно, как все эти крошечные мозговые

деятели? Но если вмешательство (чисто теоретическое) этих деятелей не обязательно, зачем подменять наблюдение вымыслом?

Подобные же размышления внушает и другое место той же главы. Настояв на мысли, что материал сновидения доставляют органы, автор показывает нам ум, который берется за трудную и кропотливую задачу сшить вместе все эти разрозненные восприятия, чтобы соткать из них хоть какую-нибудь ткань, — подобно импровизатору, который старается подобрать стихи к заданным рифмам.

«Вот где, — восклицает он, — надо признать собственную работу ума спящего, который связывает друг с другом все эти обрывки, все эти лоскутья как можно менее неправдоподобно, как можно согласнее с законами природы.

«Каких только усилий не прилагает он, чтобы найти переходы, объяснить присутствие того или другого, создать немыслимые связи между лицами, которых разделяют века и моря! Несмотря на эту работу мысли, сны бессвязны; но вина тут в самих данных сновидения, а не в работнике» (с. 134).

Но если вы, как и я, признаете за умом спящего человека эту поразительную деятельность, если признаете за ним достаточно силы и почина, чтобы изобретать переходные происшествия, вызывать разнообразные образы, которые эти переходы обычно влекут за собой, — почему же ему самому не вызывать целые ряды картин, следуя попросту течению собственных вдохновений? Даже за неимением практического опыта, даже если видеть здесь только теорию, — не была бы ли эта теория по меньшей мере правдоподобнее теории непрестанных мозговых сотрясений и вечного латания лоскутьев, на которое был бы обречен ум?

Если изучение снов до сих пор не продвинулось дальше, то, быть может, потому, что большинство писавших об этом предмете старались отыскивать причины, вместо того чтобы изучать следствия, следуя в этом методу, прямо противоположному тому, который с таким успехом применяется в изучении положительных наук, таких как физика и химия. Еще Мен де Биран принял этот ошибочный метод предвзятых теорий. Все сны, по его мнению, должны распределяться по четырем разрядам, и ни один из них он не возводит ни к чему, кроме влияния органов, — благодаря сосредоточению чувствительности в одном из них. Сосредоточенная во внутренних органах — печени, желудке, половой системе, — она производит сны аффективные, кошмар; в мозговых окончаниях внутренних чувств — зрительном, слуховом — видения; в глубинах мозга — сны умственные, столь же редкие, сколь драгоценные; наконец, сосредоточенная в одном отделе мозга или в соответствующем ему внутреннем органе, она производит все те чудеса сомнамбулизма, о которых рассказывают. Все это, бесспорно, весьма остроумно, но доказательств в подкрепление — ни малейших.

Менее склонный к системам, г-н Лемуан все же пишет, «что многие наши сны, предмет и ход которых мы не можем объяснить, стали бы для нас ясны, если бы мы знали, какие шумы, какие внешние явления могли слабо возбудить наши уснувшие органы; что все они, несомненно, стали бы понятнее многих мыслей бодрствования, если бы мы могли знать череду бесконечно малых движений, совершившихся в глубинах головного мозга». Затем он приводит столь известные примеры: грелка с горячей водой, положенная к ногам спящего, заставляет его думать, будто он гуляет по Везувию; слишком тесный ночной колпак заставляет

другого видеть во сне, будто индейцы снимают с него скальп, и т. д. и т. п. Наконец, это желание все объяснить физическими причинами приводит писателя, обычно столь осторожного, к тому, что он смело высказывает вот какое мнение, — не подкрепляя его, разумеется, тоже никаким доказательством:

«Причудливость и бессвязность снов надо объяснять действием органов мысли. Когда в связном сне вдруг появляется мысль, ощущение, образ, который не вяжется с остальной картиной, — *не ум вызывает его по собственному почину*; признайте в самом этом противоречии новое вмешательство мозга, которому нет дела ни до красоты образов, которые он вызывает, ни до истинности суждений, которые он порождает, ни до согласия целого. Ум не поступает так неразумно даже во сне и в безумии; мысли, образы, которые он призывает или рисует *сам*, всегда имеют какую-то прямую или косвенную связь с предыдущими. Между тем в наших снах эти разнородные элементы, которые, кажется, не имеют никакого основания быть *и в самом деле его не имеют, если искать его в собственной работе ума, в ассоциациях наших мыслей, — элементы, которых ни самопроизвольность памяти, ни прихоти фантазии не могут достаточно объяснить, — эти мысли, эти образы пробуждаются*, так что ум не может их отвергнуть, *каким-нибудь сотрясением органов*».

Я же, полагая, что почерпнул из долгого наблюдения данные более точные и, главное, более положительные, далек от того, чтобы признавать за органическими причинами столь широкое влияние на возникновение и ход всех наших снов. Конечно, порой случится, что внешние впечатления или внутренние движения изменят их течение — то внося в них разные элементы бессвязности, то внезапно обрывая ткань сна; но это будет

исключением, а не постоянным правилом, и всякий раз, как это произойдет, причиной будет, по-моему, что-то прямое, действующее и действительное — укол, случайный шум, внутренняя боль, — а не те мнимые самопроизвольные сотрясения волокон, верить в которые я не вижу никакого основания.

Разбором нескольких снов я постараюсь доказать, что ходом сна, как правило, правит одна лишь ассоциация идей. Ее одной довольно, чтобы породить те странные отклонения, ту причудливость и бессвязность, которые кажутся г-ну Лемуану необъяснимыми без вмешательства всех тех маленьких теоретических средств, механизм которых он любит приводить в действие в глубинах нашего мозга.

На первых страницах этого исследования я сравнил бесчисленные воспоминания, накопленные в тайниках нашей памяти, с теми огромными собраниями фотографических отпечатков, которыми у известных фотографов полны большие шкафы. Для получения каждого из этих отпечатков понадобились определенные условия, определенные действия; в частности, нужно было, чтобы перед объективом находился действительный предмет, поставленный при таком освещении и на таком расстоянии, которые позволили получить вполне четко то, что называют *негативом*. Способы, которыми затем печатают снимки, будут совсем иными, чем те, что служили для получения отпечатков. Так вот, этот порядок вещей, быть может, не лишен сходства с тем, что мы можем наблюдать в отношении впечатлений, сохраняемых нашей памятью. Подобно тому как способы, с помощью которых изображение переносится с отпечатка на бумагу, совсем не те, что служили для создания самого негатива, так и умственная работа, посредством которой

ум находит впечатление в памяти, совершенно отлична от той, посредством которой был запечатлен его *образ-воспоминание*. Отсюда я прихожу к выводу, что теория сотрясений волокон г-на Лемуана, помимо того неудобства, что она чисто произвольна, имела бы еще и тот недостаток, что вела бы нас по ложному пути, желая установить между психологическим механизмом воспоминания и механизмом прямого восприятия сходство, которого нет.

Продолжая сравнение отпечатков и воспоминаний, я сделаю еще такое замечание.

Бывают отпечатки, вышедшие так четко благодаря целому стечению обстоятельств, что они всегда будут давать прекрасные снимки — выпуклые, сильные, точные в малейших подробностях. Другие, полученные при менее счастливых условиях, никогда не дадут ничего, кроме смутных очертаний и неясных изображений, сколько ни старайся извлечь из них толк. Так и у нас есть воспоминания, столь хорошо запечатленные в памяти благодаря телесным и душевным условиям, среди которых они родились, что если их вызвать во сне, то сцены и картины, которые они воспроизводят, поистине имеют полную видимость действительности; тогда как иные, оставшиеся неполными и бесцветными, никогда не являют ничего, кроме бледных силуэтов, в фантасмагории сна.

Как бы широко я ни был готов признавать иллюзии сна, я не могу, стало быть, пойти так далеко, чтобы сказать вместе с г-ном Лемуаном, «что бессвязность образов — единственный признак, который отличает их для нас от действительной жизни». Есть и другое весьма заметное различие между сновидением и действительностью: в бодрствовании окружающие нас действительные предметы действуют на наши органы чувств

действительно и все вместе, и потому образы и разнообразные впечатления, которые получаются у нас от этих сложных ощущений, всегда воспринимаются с четкостью и равномерностью, соответствующими их относительному значению; тогда как во сне, напротив, очень редко бывает, чтобы совокупность иллюзий предстала с одинаковой степенью ясности. Весьма простая причина этого чаще всего — в неодинаковом совершенстве воспоминаний, которые ассоциация идей прихотливо соединила, чтобы составить из них единую картину. Ткань сна похожа тогда на какую-нибудь обивку, в которую вошли куски изношенных или выцветших шпалер, сшитые край к краю с другими кусками ослепительной свежести.

Что же до этого неравенства в совершенстве воспоминаний, оно происходит от очень многих причин. Одни, общего порядка, зависят единственно от уже отмеченного факта: мы сохраняем более или менее живые впечатления обо всякой вещи смотря по тому, больше или меньше внимания мы уделили первоначальному восприятию и при более или менее исключительных обстоятельствах оно нас поразило. Другие, которые я охотно назову причинами относительного порядка — по их особому действию на явления сновидений, — заслуживают того, чтобы остановиться на них здесь подробнее.

Я приводил пример лица старого нищего, которое несколько раз являлось мне во сне всегда неясным и словно окутанным тенью, потому что вошло оно в мою память вечером, в сумерки, так что, вызванный во сне, этот образ не мог приобрести большей четкости, чем было у первоначального впечатления. Я говорил также о девушке, которую видел во сне при сходных условиях, потому что видел ее только издали[5]. Подобные факты будут часто встречаться во сне — касается ли дело зрительных воспоминаний,

которым порой недостает четкости оттого, что они были первоначально получены при плохом освещении, как то, о котором только что шла речь, или на слишком большом расстоянии, или же слишком быстро; или неясность и несовершенство сна относятся к впечатлениям другого чувства.

[5] См. выше.

Одна дама рассказала мне, что видела сон, будто она сидит за своим фортепиано, а рядом с ней — один из ее братьев, убитый за несколько лет перед тем на Итальянской войне; он являлся ей в офицерском мундире, чему она, впрочем, не удивлялась. Она играла военный марш, но, как ни нажимала на педаль, фортепиано издавало лишь глухие, металлические, почти угасшие звуки. Повернувшись к брату, словно чтобы выразить ему свое удивление, она его уже не увидела, но увидела, как в глубине гостиной безмолвно проходит длинная вереница солдат, похожих на полустертые тени. Тут ей вдруг вспомнилось, что брата больше нет. Она ощутила очень сильное волнение и проснулась, вздрогнув.

Дама, видевшая этот сон, никогда не говорила о нем без какого-то трепета, который зависел и от природы оживленных им впечатлений, и от мысли о некоем таинственном вмешательстве, которую он заронил в ее душу. Я же вижу в нем лишь сцепление ряда воспоминаний, вполне согласное с обычными законами ассоциации идей, и привожу его именно как пример неравной ясности, которая царит — и должна царить — в разных элементах одного и того же видения. Эта дама воображает себя за фортепиано — вот исходная точка; ее брат некогда садился рядом с ней; воспоминание об этом брате вызывается совершенно естественно; его образ предстает ей ясным и четким, ибо это

образ, глубоко запечатленный в ее памяти. От офицера в мундире к вдохновению военного марша, который она часто слышала издали, к солдатам, которых она, должно быть, тоже видела издали на каком-нибудь смотру, — связь не могла бы быть очевиднее. Но этот марш, который она вспоминает, она не может воспроизвести в памяти ни четче, ни сильнее, чем слышала его на самом деле. И солдаты, чьи силуэты оживают, не могут явиться отчетливее, чем их видели в действительности. Воображение, которому дана власть связать все эти воспоминания в одно действие, не властно сообщить им одинаковую силу.

Отсюда та бессвязность в ясности предметов наших снов, как и в сценах, которые они представляют. Отсюда то заметное различие между картинами сна и картинами действительности, на которое я указывал только что.

Будут ли образы-воспоминания, совершенно четкие вначале, обычно искажаться со временем? Не будут ли они порой искажены под влиянием разных причин настолько, что станут доставлять нам лишь неверные портреты или причудливые смеси, в которых исчезнет первоначальный образец? — Этот двойной вопрос часто давал мне пищу для размышлений и доставил материал для нескольких наблюдений, которые читатель найдет ниже[6].

---

[6] См. часть третью, «Практические наблюдения».

Что до первого пункта, то несомненно: если старые воспоминания, некогда очень живые, кажутся порой как бы стертыми, когда ассоциация идей вдруг возвращает их посреди сна после долгой поры забвения, то, с другой стороны, можно привести — и найти в собственном опыте — многочисленные примеры поразительной ясности, с которой память неожиданно

представляла нам во сне то лицо человека, умершего еще в пору нашего детства, то некоторые сцены или мелкие подробности, о которых наяву мы с великим трудом припомнили бы хоть что-нибудь. Те, кто склонен приписывать сомнамбулам сверхъестественные способности, приводили в подтверждение этого убеждения пример одного магнетизированного сновидца, который сумел прочесть не только не видя, но и на расстоянии ста лье разные места из редкой книги, хранившейся в публичной библиотеке чужого города, где он держал ее перед глазами лишь несколько минут, за несколько лет до того. Что этот факт необычен — согласен; что он сверхъестествен — не признаю. Я вижу в нем, со своей стороны, лишь подвиг памяти и спрашиваю: не есть ли точное и живое представление во сне, перед очами нашего ума, человека, который уже десять лет лежит в могиле, — случай, который вовсе не слывет исключительным, — психологическое явление того же порядка и столь же удивительное?

Отсутствие четкости в образах, которые не могут быть четкими уже потому, что никогда не были четко восприняты, очень часто становится заметным источником бессвязности, порождая явления перехода, которые объясняются так. Вследствие какого-нибудь сцепления воспоминаний в моем уме возникает образ рассыльного, который однажды принес мне письмо; мне тотчас кажется, что я вижу этого человека, ибо свойство сна — мгновенно вызывать образ, едва возникла мысль, с которой он связан. Итак, я вижу его, но не различаю ясно черт его лица, потому что едва взглянул на него в тот единственный раз, когда он был у меня перед глазами. В этом туманном наброске память, однако, улавливает нечто целое, что напоминает ей другие, лучше знакомые черты — черты знаменитого профессора,

чьи лекции я иногда слушал. И вот рассыльный уже далеко от моей мысли. Я сижу теперь на лекции профессора. Переход мог бы, впрочем, совершиться и иначе. Лицо профессора могло попросту вписаться в силуэт рассыльного, и я увидел бы этого ученого стоящим на углу улицы с бляхой на груди; или же мне представилось бы, что он восходит на кафедру с бархатной курткой на плече и с непременным крюком носильщика под мышкой.

В первом случае было бы то, что я назову *переходом через простую подмену*; во втором — *переходом через наложение образов*. Оба эти рода сцепления всегда вносят много разлада в ход сна, особенно, разумеется, последний. И все же это всегда психологическое явление ассоциации идей — без механического вмешательства какого бы то ни было физико-мозгового деятеля.

Как мы видели выше, г-н Лемуан соглашается предоставить уму некоторую свободу, чтобы упорядочить и сшить вместе все эти разрозненные лоскутья, которые, по его предположению, доставляют ему исключительно те самые маленькие волокна, наделенные непрестанным почином и столь чудесной подвижностью.

Разнообразие, которое естественно существует в материале наших снов в отношении природы впечатлений или чувственных иллюзий, которым они обязаны, внушает г-ну Лемуану, как и нескольким другим авторам, мысль положить в основу своего рода классификации снов то, какие из наших чувств в них главным образом участвуют. Так приходят к выводу, что галлюцинации зрения самые многочисленные; что за ними следуют галлюцинации слуха и осязания и что, наконец, самые редкие — те, в которых участвуют вкус и обоняние.

Против этого положения самого по себе я не возражаю; но чего я не могу допустить — так это желания вывести из него то вещественное следствие, будто чувства, доставляющие нашим снам меньше всего материала, — это те, чьи органы цепенеют глубже всего. Будь это так, слуховые и обонятельные впечатления были бы гораздо чаще самих видений, ибо слух, несомненно, из всех наших чувств остается во сне наиболее восприимчивым. Истина попросту в том, что, поскольку материал сна доставляет память (идет ли речь о самопроизвольном сцеплении мыслей или о том, что особый порядок мыслей вызван каким-нибудь случайным органическим ощущением[7]), память естественно доставляет этот материал для каждого чувства в той доле, в какой им располагает. Зрение — то из наших чувств, которое играет наибольшую роль в наших действительных впечатлениях каждого дня; если бывают мгновения, когда мы видим, ничего не слыша и ничего не осязая, то едва ли бывают такие, когда мы осязаем или слушаем, ничего не видя. Память снабжается воспоминаниями через наши глаза столько же и, быть может, даже больше, чем через органы всех прочих чувств, вместе взятых. Вполне естественно поэтому, что видения составляют господствующую основу наших снов и что прочие чувственные воспоминания входят в них в свою очередь лишь в доле, соразмерной их значению в нашем общении с внешним миром. Благодаря связи, которая к тому же устанавливается в нашей памяти между разными одновременно воспринятыми ощущениями, воспоминание о впечатлении слуха или осязания никогда не пробудится, не призвав вместе с собой воспоминания о зрительном образе, которым оно сопровождалось при первоначальном восприятии.

[7] Как, например, если звон колокола напоминает нам обряды крестин или похорон.

Что же до утверждения Монфалькона, Лемуана и Брийя-Саварена (который этому удивляется), будто воспоминания вкуса и обоняния во сне чрезвычайно редки, то у меня нет достаточно убедительных частных наблюдений, чтобы его подтвердить или оспорить; но в моих общих наблюдениях и в соображениях, которые я только что изложил, я нашел бы совершенно логичный способ его объяснить. Достаточно было бы указать на то, с каким трудом впечатления этих двух чувств, вкуса и обоняния, запечатлеваются в памяти. Закрыв глаза, легко вспоминаешь лицо друга; превосходно запоминаешь песню; но я сомневаюсь, чтобы бодрствующий человек одной силой воображения мог вызвать в памяти аромат цветка или вкус кушанья. Другое наблюдение, вытекающее из этого, казалось бы, способно к тому же его подтвердить: воображение, которое сочиняет формы и напевы, не может мысленно, тем же путем, изобрести ни вкуса, ни запаха[8]. Поскольку творения воображения, собственно говоря, суть лишь новые сочетания, которые оно составляет из материалов, взятых из кладовых памяти, его бессилие в этом случае могло бы происходить от бессилия самой памяти доставить ему, по его требованию, первые составные элементы.

[8] Не следовало бы возражать, что повар или парфюмер могут изобретать соусы и букеты. Это совсем другое дело. Те, кто так сочиняет, не пробуют и не смакуют заранее, в мыслях, эти смеси, которые суть лишь плод рассуждения. Одно дело — вообразить причину ощущения, другое — мысленно вообразить себе ее следствие, то есть само ощущение.

Я говорю «по его требованию», чтобы относить это замечание лишь к произвольному припоминанию; ибо, как бы редки они ни были, несомненно, что у нас бывают иногда во сне

самопроизвольные воспоминания вкуса и обоняния самой изысканной тонкости.

Продолжим наши наблюдения над двумя чувствами, о которых идет речь, рассмотрев ту долю деятельности, которую они сохраняют, и то особое влияние, какое они могут оказывать на ход наших мыслей во время сна. Прежде всего подчеркнем, что было бы очень большой ошибкой полагать вместе с Монфальконом, «что органы вкуса и обоняния впадают в полное бездействие, как только сон становится глубоким». Если вкус почти не передает ощущений спящему, это объясняется самим устройством его органов, укрытых от всякого случайного впечатления; но раздражите вкусовые органы спящего человека — и вы легко убедитесь, что они оцепенели не глубже, чем его ухо. Что касается чувства обоняния, я считаю его, напротив, быть может, самым способным продолжать воспринимать во сне чрезвычайно тонкие ощущения; но я отмечаю в том, как оно влияет на сны, одну странную особенность, которую практический опыт не раз позволял мне установить. Пусть неожиданный шум поразит слух сновидца, не разбудив его, но достаточно ощутимо, чтобы внести в его сон новую мысль; пусть прикосновение так же подействует на какую-нибудь часть его тела — произойдет ли от этого простое изменение картин, развертывающихся перед очами его ума, или совершится внезапный поворот и возникнет явление ретроспекции[9], — этот новый элемент сна почти всегда будет в прямой связи с природой воспринятого ощущения, и это ощущение, которое часто поражает спящего сильнее, чем в бодрствовании, будет ощущаться им непосредственно. Так треск мебели может превратиться в пистолетный выстрел, укус мухи — в укус змеи и т. д.; шум или боль, то есть действительное ощущение, господствует таким образом над вызванным сном.

[9] См. выше.

С ощущениями, которые поражают орган обоняния во время нашего сна, чаще всего будет совсем иначе. Доходят ли они до души сильно ослабленными, или память, которая, как мы видели, с трудом их удерживает, с трудом же и представляет себе тотчас связанные с ними образы, — я в девяти случаях из десяти замечаю, что их действие, несомненно влияя на сон, проходит, однако, незамеченным как прямое впечатление и лишь посредством ассоциации идей приводит ближайшую к нему связанную мысль. Я вдыхаю, например, запах серы; он напоминает мне столовую, где лампы были зажжены дешевыми спичками и где за столом моим соседом был человек, которого я давно не видел. Я снова вижу этого человека, мне кажется, что я с ним беседую; о запахе же серы я и не думаю. Мой камин дымит, и запах сажи расходится по комнате. Быть может, мне покажется, что я присутствую при пожаре; быть может, отойдя еще на одну ступень от первоначальной мысли, я буду думать, что осматриваю пожарную часть. О самом же запахе дыма я тоже прямо не думаю. Не придавая слишком большого значения этому маленькому оттенку, который дает разбор, я все же нахожу в нем свой интерес, оценить который предоставляю физиологам. Ощущение четко воспринято органом, раз оно влечет за собой ассоциацию идей, о которой свидетельствует изменение сна; и все же оно воспринято не так, как в бодрствовании, раз понятие о прямом ощущении, по-видимому, даже не доходит до ума.

Сходное явление касается порой и чувства слуха. Музыкальные мотивы, услышанные издали или слабо, могут, сами не входя в сон, вызывать в нем образы мест и людей, с воспоминанием о которых они соединились в уме сновидца; но сходство тут не будет полным, потому что тогда мотив и человек так слиты в

одной и той же мысли, что между воспринятым ощущением и вызванным образом поистине есть прямая связь, — как если бы запах серы заставил меня увидеть во сне, что я сам зажигаю плохие спички, или как если бы аромат цветка показал мне во сне букет. Надо добавить также, что для слуха такие действия исключительны, тогда как для обоняния они составляют обычное правило.

Итак, было бы чистой оплошностью судить по характеру наших снов о большей или меньшей бдительности, которую сохраняют во сне наши органы чувств. Так мы смешали бы действительное восприятие с воспоминанием об ощущениях, воспринятых прежде, а их необходимо хорошо различать, если хочешь изучать явления сна в их ближайших поводах. Положим, во сне я кладу руку на мрамор, и мне от этого снится, будто я держу в руках снег. Этим сном я обязан прямому мгновенному восприятию, которое передает мне чувство осязания; но снег, который я, как мне кажется, вижу, но прочие чисто воображаемые подробности этого видения, вызванные ассоциацией идей, — ими я обязан единственно моей памяти; это лишь воспоминания о восприятиях, полученных прежде.

Тогда как осязание, слух, вкус и обоняние продолжают во сне воспринимать ощущения, способные более или менее прямо влиять на сновидение, одно лишь зрение можно считать полностью бездействующим: глаз спящего из всех органов чувств лучше всего закрыт для внешних впечатлений. Сны, относящиеся к четырем более доступным чувствам, могут, стало быть, происходить либо от одной лишь работы воображения и памяти, либо от мгновенных ощущений, которые органы сохраняют способность воспринимать во сне, тогда как видения в собственном смысле все будут чистыми воспоминаниями. И если

какой-нибудь повод их вызывает, то это всегда будет лишь через ассоциацию идей и посредством другого чувства[10].

[10] Редкое исключение можно было бы сделать для случая, когда на глаз сквозь веко действует какой-нибудь солнечный луч или какой-нибудь другой очень яркий свет; но при обычном порядке вещей ничего подобного не происходит.

Правда, мне тут же сказали бы, если бы приняли теорию г-на Лемуана: «Волокна, обслуживающие орган зрения, гораздо сильнее, чем прочие, склонны приходить во сне в сотрясение на своем пути. Почему? Мы этого не знаем; но так мы это устанавливаем, и потому-то видения изобилуют в наших снах, и вот почему зрение — то чувство, которое сохраняет у спящего наибольшую деятельность».

Пусть же мне будет позволено отважиться еще на несколько рассуждений по поводу этой чистой теории, по которой, поскольку каждая мысль, так сказать, воплощена в нерве, память, вместо того чтобы быть способностью души, оказалась бы лишь следствием свойства мозговых волокон производить, посредством своего рода гальванизма, обратные сцепления неких маленьких сотрясений волокон, произведенных прежде; так что само явление ассоциации идей свелось бы к нескольким маленьким мозговым подергиваниям.

Посмотрим, как при такой системе объясняется механизм сна. Предполагаю прежде всего, что нам придется допустить в мозгу существование стольких волокон, сколько он может вместить мыслей. Условившись об этом, вот одно из этих бесчисленных волокон вдруг начинает вздрагивать; это волокно как раз представляет кузнеца, стоящего перед наковальней, с молотом, поднятым в одной руке, и клещами в другой, а в клещах — кусок раскаленного железа. Но это будет лишь застывший, неподвижный образ, не способный ни к какому изменению, если

за первым самопроизвольным сотрясением не последуют другие, вторичные движения, согласованные как раз так, чтобы представить кузнеца, опускающего руку с молотом, чтобы ударить по раскаленному железу, двигающего клещами, вновь поднимающего молот и т. д. и т. д. Но если первое подергивание мозговых волокон было случайным, как предположить, что все прочие движения, которые должны за ним последовать для продолжения сна, тоже произойдут случайно? Неужели это кажется допустимым?

Мне, быть может, ответят, что эти сотрясения волокон сцепляются друг с другом одной лишь силой привычки и что довольно какому-то сцеплению совершиться однажды, чтобы оно повторялось бесконечно. Уступлю и в этой гипотезе; но тогда, поскольку первое сцепление произошло бы в действительной жизни и вследствие действительно воспринятых впечатлений, во сне можно было бы видеть лишь сцены и картины, в точности подобные тем, что уже действовали на чувства наяву. Если, например, этот кузнец стоял неподвижно, когда я сохранил о нем воспоминание, я никогда не смог бы увидеть его во сне в движении. А кто захотел бы отстаивать подобное мнение, и что сталось бы при нем с бессвязностью снов?

Заметим, впрочем, что наши сны очень редко бывают простым воспроизведением прошлых происшествий нашей жизни, как бы вторым представлением сцен, уже прежде разыгранных. Почти всегда, напротив, и особенно в самых ясных снах, нам кажется, что мы видим вещи, совершенно отличные от свершившейся действительности, что мы присутствуем при осуществлении того, что, как мы предполагаем, могло бы случиться.

Те, кто признает эту очевидность, но желает оставить свою долю и маленьким сосудам мозга, заявляют, что если ход мыслей

не всегда управляется рядом органических движений, то движение мыслей все же вызывает в мозговых волокнах соответствующие сотрясения, необходимые по требованиям правильной физиологии. Было бы, стало быть, то органическое движение, которое вызывает мысль, то почин ума, который выдвигает мысль, а та тотчас вызывает свое маленькое сопутствующее движение волокон. Ясно, что ум, который властен двигать моей рукой по приказу моей воли, будет властен и сообщить известное движение органу, если органу необходимо прийти в сотрясение так или иначе, когда пробуждается та или иная мысль; но раз уж допускают иногда умственный почин, зачем ограничивать его действие? К чему эти бесплодные споры о фактах, проверить которые невозможно? Само движение ума — вот что нас занимает, а не волокнисто-мозговой механизм, которым оно может сопровождаться[11].

[11] Доказательство того, что почин в картинах сна часто принадлежит уму, вытекает из нескольких наблюдений, помещенных в третьей части этой книги. Оно заключается, впрочем, и в том факте, что очень часто достаточно во сне пожелать или испугаться, чтобы явился образ или совершилось событие, — и в тот же миг это желание или этот страх осуществляются. — В других случаях, когда нет, собственно, ни страха, ни желания, есть просто предвидение, то есть мы угадываем, что предстанет нашим глазам, — и именно потому, что мысль о предмете в этом случае предшествует его воображаемому явлению перед очами нашего ума.

Как бы, впрочем, ни работал мозг — повинуется ли он целиком толчкам, которые сообщает ему ассоциация идей во время наших снов, или время от времени передает душе какие-то предупреждения органов, — доля ума как источника почина всегда будет, по-моему, гораздо большей, по крайней мере у человека в добром здравии. Нужно лишь заметить, что ум его поочередно переходит от пассивности к деятельности и обратно,

и наблюдение за этими чередованиями было для меня первой исходной точкой опытов, которые привели меня к тому, что я стал по своей воле направлять ход своих снов. То он позволяет мыслям сменять друг друга по прихоти капризных связей, которые их соединяют и которые мы называем ассоциацией, — и из этого выходят те в высшей степени бессвязные и разнородные сны, где *отвлечения* и самые немыслимые *наложения* смешиваются с проблесками правдоподобия и разума; это состояние и будет для него истинным восстанавливающим отдыхом. То, прельщенный или заинтригованный одной из сменяющихся мыслей, которая поражает его мимоходом, он удерживает ее, привязывается к ней, следит за ее развитием и тогда берет на себя руководство сном, сам того не замечая.

Пример прояснит это различие.

Мне снится сперва, положим, что я еду по железной дороге; места, которые я проезжаю, лица, которые меня окружают, тысяча мелких происшествий, которые совершаются, нисколько не занимают моего внимания. Эта поездка в вагоне пробудила, однако, воспоминание о городе, где я побывал. Я переношусь туда — и вот я на мосту, который оказывается покрыт взволнованной толпой вследствие какого-то другого, самопроизвольно вызванного воспоминания. Но на что же может смотреть эта толпа, скопившаяся у одного из парапетов? Неужели человек бросился в реку? Неужели лодочники пытаются его спасти? — Здесь мой ум, сам того не подозревая, возьмет на себя руководство сном, который его занимает; он начнет сам вызывать смену картин, которые развернутся перед ним, — оставляя еще некоторую свободу ассоциации идей, но уже не позволяя ей резко перескакивать с одного предмета на другой и тем заставлять его терять из виду главную мысль, к которой он привязался. — Уже

потому, что мне пришла мысль о человеке, которому грозит утонуть, мое воображение не преминуло тотчас представить мне картины, связанные с этой мыслью. Все, что я представлю себе как то, что должно случиться, все происшествия, навстречу которым мой ум пойдет таким же образом — призывает ли он их или страшится их, — непременно осуществятся точно так же во всем. Я вижу человека, который бьется в воде, лодку, которая приближается к нему, чтобы его спасти, лодочника с багром, который старается зацепить его за одежду, и т. д.

Так как это главенство ума над содержанием сна не мешает, впрочем, свободной ассоциации идей доставлять подробности, то, если я когда-нибудь видел картину, изображающую подобную сцену, тонущий человек вполне может оказаться похожим на того, которого изобразил живописец. В костюмах присутствующих, в виде прибрежных домов, в бесчисленных мелких подробностях проявятся самые, казалось бы, странные родственные связи, и я этому не удивлюсь. Если человек в опасности, образ которого взят с картины, окажется похож также на кого-нибудь из моих знакомых, не будет ничего удивительного, если тотчас именно этот знакомый займет мое внимание. Все это не мешает моему воображению продолжать, само их вызывая, все перипетии совершающейся драмы.

Теперь, если мне придет в голову опасение, что лодка опрокинется или что гарпун ранит того, кого хотят спасти, эти несчастья, весьма вероятно, осуществятся с быстротой мысли. — Если же, напротив, я последую за течением мыслей, которое ведет к спасению, я могу вдруг оказаться рядом со спасенным, от всего сердца поздравляя его и горячо пожимая ему руку. Пожимал ли я ему уже когда-нибудь руку посреди бала, поздравляя с каким-нибудь счастливым семейным событием? Этот бал, быть может,

воскреснет перед очами моего ума без всякого иного перехода. Мне приснится, что я вальсирую; ассоциация идей вступит на совсем иной путь, и, так как мой ум с этой минуты перестанет вносить в нее свое направляющее внимание, самые разнородные происшествия смогут вновь сменять друг друга и перепутываться, без того чтобы над ними господствовало какое-либо связное действие, и без того чтобы я мог, проснувшись, понять, как они связались друг с другом, если только я утратил воспоминание хотя бы об одном звене.

Вернемся к одной из фаз этого сна: если бы, пока человек был в воде, ход моих мыслей навел меня на мысль спасти его самому, это я оказался бы с багром в руках, это я ранил бы того дорогого мне человека, которого хотел спасти; быть может, я даже убил бы его, если бы меня посетил такой страх, — ведь мы знаем, что бояться образа во сне — вернейшее средство его вызвать. Тогда я мог бы представить себе горе его семьи, я почувствовал бы, что задыхаюсь от слез; и вместо того чтобы попасть на бал, как в другом сочетании, я вообразил бы себя на похоронах покойного, посреди церкви, затянутой черным. Наконец, если бы при новом повороте мыслей память внезапно вернула меня к воспоминанию о совсем другом человеке, с которым я встречался на каком-нибудь погребальном шествии, но также и на какой-нибудь увеселительной прогулке, это новое ожившее воспоминание разорвало бы ткань, нить которой направлял ум; катафалк исчез бы, на его месте появились бы другие декорации, и ум вернулся бы к своей пассивной роли, описанной выше.

Так проявляются чередующиеся явления деятельности и пассивности. Так сцепляются и сменяют друг друга образы во снах, так самые, по видимости, разнородные сцены и картины всегда тесно связаны началом ассоциации идей, когда никакая

ненормальная вещественная причина не прерывает и не изменяет их.

Если уж отводить свою долю мозговым волокнам, я скажу, что они — как струны скрипки под пальцами артиста. Они могут вибрировать, могут издавать звук, но сами они от этого не перестают быть бездеятельным инструментом, а музыкальный мотив рождает вдохновение артиста.

А теперь, чтобы вернуться к самому началу сна, который мы только что кратко разобрали, — если спросят, как возникла сперва мысль о поездке по железной дороге, первое звено описанного ряда впечатлений, я отвечу, что она могла возникнуть равным образом либо через простую преемственность прежних мыслей, самопроизвольно связавшихся, исходная точка которой предшествовала сну, либо через вмешательство физической причины, внутренней или внешней, — например, движения крови, или свиста в замочной скважине, или любого другого шума, способного пробудить, по сходству с прежде воспринятыми ощущениями, мысль об этом способе передвижения.

Если бы мне пришлось, со своей стороны, принять классификацию снов, рассматриваемых по их первопричине, я разделил бы их, стало быть, попросту на три разряда:

1. Сны, обязанные одной лишь ассоциации идей.

2. Сны, вызванные внутренними ощущениями.

3. Сны, вызванные внешними причинами.

Говоря о влиянии органических ощущений на возникновение снов, я охотно обращу внимание физиологов на тот любопытный факт, что то малейшее внешнее или внутреннее впечатление тотчас и явно вносит в сон новый элемент, связанный с ним, то, напротив, какой-нибудь очень сильный шум проходит неуслышанным; какая-нибудь сильная телесная боль остается

приглушенной, забытой во время сна до того, что порой видишь во сне приятные вещи в то самое время, когда эта боль вполне действительно существует.

Следует ли заключить отсюда, что даже в глубоком сне бывают чередования телесной чувствительности и полного оцепенения, или же что бывают мгновения, когда ум так пленен предметом своих снов, что уделяет предупреждениям органов гораздо меньше внимания, чем мог бы уделить наяву, даже во власти очень сильной озабоченности?

Тогда как легкое внутреннее недомогание, еще неощутимое наяву, порой значительно влияет на характер снов, как заметил еще Гиппократ, недуги чрезвычайной остроты — например, зубная боль — чаще всего оставляют полную свободу ассоциации идей, если сон смог одолеть боль. Упорна ли эта боль? Приводит ли она наконец к снам, в которых сама присутствует? Редко это бывает с первой же ночи, когда от нее страдаешь, — что, казалось бы, указывает, что на сон в таком случае действует не столько сама боль, сколько воспоминание о боли, испытываемой уже несколько дней, — воспоминание, которое уже сочеталось со многими другими и может чаще приводиться ассоциацией идей.

Лемуан делает остроумное замечание: «ощущение внешних предметов во сне бывает редко и обычно смутно; будь оно чаще и яснее, оно рассеяло бы оцепенение органов. По-настоящему живым, — добавляет он, — оно становится лишь тогда, когда подлинные ощущения, рождающиеся в нашей душе, могут войти в рамки нашего сна, не возвращая нас к действительности». Но он рассуждает, не принимая в расчет явлений *ретроспекции*[1], которых не наблюдали ни он сам, ни его предшественники.

[1] См. часть третью, «Практические наблюдения».

Вслед за вопросом о влиянии органов на дух во время сна сам собой встает вопрос обратный: каково то частичное, неполное, но вполне действительное воздействие, которое дух, в свою очередь, способен оказывать на органы в иных случаях душевного перевозбуждения, — а глубокий сон таких случаев вовсе не исключает. Это воздействие (его не следует смешивать с действием инстинктивного чувства бдительности, следствием которого бывают непроизвольные движения), когда уж оно проявляется, мешает сну восстанавливать наши силы, на мой взгляд, куда больше, чем самые бурные сновидения, в которых участвовал один только дух[2].

[2] См. выше наблюдение Моро (де ла Сарта).

Пусть многочисленных наблюдений на этот счет у меня нет, пусть я и относил этот разряд явлений скорее к патологической физиологии, чем к изучению снов в собственном смысле, — я все же обращу внимание всех, кто любит изучать самого себя, на природу того мучительного усилия, которое душа порой совершает в тяжелом сне, чтобы шевельнуть рукой или ногой или закричать. Особенно отмечу я тот акт подлинной воли, которым душа, восставая против обступивших ее призрачных образов, чью ложность она в конце концов поняла, вдруг стряхивает с себя глубокий сон и заставляет тело проснуться. Это необычайное усилие направлено уже не на какой-то один член нашего тела, а на все разом; оно действует одновременно на весь организм, словно стискивает грудь и внутренности; в ту минуту, когда оно возвращает нас к действительной жизни, мы отчетливо ощущаем его силу. Сопротивление органов, их нежелание подчиниться позволяют лучше, чем при любых других обстоятельствах, распознать двойственность души и тела.

Возвращаюсь к сочинению Лемуана, разбор которого дает повод к стольким отступлениям. В главе, озаглавленной *«О способностях души во время сна»*, автор, объявив, что примет самое распространенное деление на *чувствительность*, *ум* и *деятельность*, принимает также деление на параграфы, которому и я охотно последую: каждый вопрос только выигрывает, когда он так четко обособлен. Опасность, пожалуй, в том, что придется возвращаться к некоторым предметам, уже обсужденным и которые всплывут еще не раз; но, следуя порядку параграфов Лемуана, я не сочту нужным упоминать их все без разбора.

Прежде всего пропускаю то, что сказано о чувствительности органической, внутренней и внешней. Сон особенно притупляет первую, тогда как вторая под его влиянием порой, напротив, достигает высшей степени напряжения. Это факт установленный, и возвращаться к нему незачем.

Рассмотрим несколько положений, развиваемых одно за другим.

Нравственная чувствительность

«Чем ярче окрашен и отчетливее очерчен образ сновидения, — говорит Лемуан, — чем яснее и определеннее мысли, чем живее и горячее чувства, тем дальше сила этих состояний нашей души уводит нас от сна *подлинного* и *восстанавливающего силы*».

Вторую часть этого положения я в известной мере принимаю: если душа во сне охвачена бурными страстями, она, как правило, оказывает на организм тягостное действие, которое не дает сну восстановить силы. Но что до первого утверждения, а именно мнимой несовместимости отчетливых образов и связных мыслей с подлинным, восстанавливающим сном, то я уже решительно его отверг: я глубоко убежден, что отчетливость образов, когда она

сочетается с картинами мягкими и спокойными, есть, напротив, один из признаков самого лучшего и самого глубокого сна.

Не менее ошибочным кажется мне и следующее мнение: «Страсти в самых страшных и в самых прекрасных снах ведут себя всегда так же, как наяву, и по тем же законам. Чувства во сне настолько похожи на чувства бодрствования, что даже чувство добра в наших снах не ослабевает (с. 180)».

Страсти во сне ведут себя отнюдь не всегда так, как наяву: они часто внушают спящему странные желания, которым и названия не подберешь и которых он сам не понимает, проснувшись.

Чувства во сне порой так мало похожи на чувства бодрствования, и в особенности чувство добра может во сне так исказиться, что человеку кажется, будто он совершает как самое простое дело поступки, которые в действительности были бы чудовищны или безрассудны.

Так, одна молодая и очаровательная дама, привыкшая к самой аристократической изысканности, призналась мне однажды, что видела во сне, как одного толстого господина из числа ее знакомых подали на стол вместо жаркого; хозяин дома преспокойно его разрезал, а она, нисколько этому не удивляясь, думала лишь о том, чтобы протянуть свою тарелку и получить ломтик этого блюда, мягко говоря, необычного.

Впрочем, явление перехода через подмену образов[3], которому обязаны своим происхождением подобные сны, — не единственное, что производит такое действие. Скоро мы увидим, что обостренная чувствительность, нравственная или телесная, сосредоточившись во сне на какой-нибудь одной мысли или на какой-нибудь части нашего организма, довольно часто, нарушив всякое душевное равновесие, внушает нам такие желания и заставляет нас совершать во сне такие поступки, что человека,

который поступил бы так в действительной жизни, по справедливости сочли бы одержимым манией или лишившимся рассудка.

[3] См. выше, а также часть третью, «Практические наблюдения».

«Подобно тому как вымысел способен усилить живость наших ощущений, — продолжает Лемуан, — подобно тому как он превращает легчайший шум в раскат грома, сон украшает или обезображивает все, что творит. Не в спокойном и холодном бодрствовании, когда вещи предстают перед ним такими, каковы они есть, художник может с любовью плыть по океану красоты; лишь когда им овладевают вдохновение, восторг, почти исступление, когда чувствительность поднимается до самой высокой ноты, любовь и чувство прекрасного рождают в его воображении образец, идеальный тип, к которому он долго стремился. Это возбуждение всех чувствующих способностей, и в особенности эстетического чувства, приходит к нам в свой час; его нужно ждать, не торопя. Но если есть время и условия, которые ему особенно благоприятны и которые его призывают, то это время сна. Отсюда те редкие и возвышенные видения, которые сны ясно являют живописцу, музыканту, поэту. Отсюда дьявольская соната, которую Тартини тщетно искал наяву, услышал во сне и по клочкам восстановил в памяти. Но отсюда же и все эти безобразные лица, все эти страшные чудища, все виды уродства, все прихоти искаженной формы, соединяющие в одном теле все, что природа в минуты своих ошибок лишь наполовину извлекла из хаоса (с. 182)».

Я с большим удовольствием привожу этот красноречивый отрывок. Автор признает в нем, как и я, несравненную силу чувств, которые испытываешь во сне, и тем самым оправдывает

ту привлекательность и тот интерес, какие может иметь мысль овладеть своими снами и управлять ими.

Об уме

Об уме Лемуан высказывает мнение, которое я тоже разделяю: если мы во сне часто судим ложно, это вовсе не доказывает, что мы находимся тогда под влиянием временного расстройства способностей нашего рассудка. Суждения наши ложны потому, что то, из чего мы сравниваем и рассуждаем, по большей части разнородно и бессвязно. Так поступил бы математик, который не ошибается в вычислениях, но с самого начала положил в их основу неверные числа.

Это само собой приводит нас к тому, чтобы попутно отметить другое мнение, способное заставить задуматься. А именно, что помешательство, лихорадка и опьянение ставят душу в этом отношении в те же условия, что и сон. «Если для врачей здесь есть различие, то для психолога его быть не может, потому что различие лишь в состоянии органов; для самой души его, по правде говоря, нет никакого.

«Слабоумие и помешательство, стало быть, неправильно называют душевными болезнями. Больна не душа, а лишь орган. Слепой лишен зрелища света только из-за порока или болезни зрительного органа. Способность видеть у него, впрочем, так же цела, как и у того, кто действительно видит. Так и разум помешанного, пьяного и спящего лишь сбит с пути иллюзиями или галлюцинациями, во власти которых он находится».

Доктор Бейль опубликовал примечательное наблюдение над одной больной, страдавшей галлюцинациями, которая считала себя окруженной демонами. Тем, кто пытался доказать ей ее ошибку, она отвечала: «Как познают предметы? Потому что их

видят и трогают. — Так вот, я вижу, слышу и трогаю демонов, которые вне меня, и самым отчетливым образом чувствую тех, что внутри меня. Почему вы хотите, чтобы я отвергла свидетельство своих чувств, когда все люди ссылаются на них как на единственный источник своих познаний?»

С другой стороны, Бриер де Буамон в своем *«Трактате о галлюцинациях»* приводит несколько примеров душевнобольных и людей, страдавших галлюцинациями, которые, хотя и бывали живо потрясены страшными звуками и видениями, все же признавали и соглашались, что в этих звуках и видениях не было ничего действительного.

Помешанный, быть может, — это сновидец, который грезит вслух. Поэтому изучение работы ума у душевнобольных, пожалуй, тоже могло бы пролить некоторый свет на состояние души во время сна.

Между сном обычного спящего и сном душевнобольного было бы, однако, то существенное различие, что спящий, сознающий свое состояние, всегда может сильным усилием воли стряхнуть с себя сон, тогда как больной, даже сознающий, не в силах избавиться от обступивших его иллюзий.

О сознании

Лемуан полагает, что сознание как способность внимательно наблюдать свои ощущения и мысли во время сна упраздняется; что мы не можем во сне отдавать себе отчет в том, в каком состоянии находимся, и что о снах, которые мы видели, у нас бывает лишь *сознание задним числом*.

Если бы это утверждение не выдвигалось как безусловное, если бы его хотели отнести лишь к большинству спящих, которым никогда и в голову не приходило изучать себя в эту пору своего

существования, я без всякого труда принял бы его: беседуя об этом предмете со множеством людей, я часто убеждался, что сознание сна во время самого сна у большинства из них и вправду случай совершенно исключительный. Но, с другой стороны, испытав на себе самом и при содействии нескольких друзей, как быстро и легко приобретается способность обладать этим сознанием, если только упражнять в нем свой ум, я могу лишь самым решительным образом отрицать то, что утверждает Лемуан. Напротив, я выдвигаю как правило: среди тех, кто возьмет на себя труд хотя бы три месяца записывать каждое утро свои ночные сны (делая некоторое усилие памяти, чтобы отыскать их, когда им поначалу покажется, *что им ничего не снилось*, как принято говорить), исключением окажутся те, у кого уже не будет часто во сне и сознания того, что они спят, и, более того, мысли внимательно следить за образами сна, чтобы запомнить их к пробуждению.

Впрочем, Лемуан и сам очень скоро чувствует, что, пожалуй, зашел слишком далеко. Поэтому он добавляет в виде поправки: «Когда мы знаем (во сне), что наши сны — это сны, мы узнаем это по *некоторым признакам*, которых сон не стер совсем; мы знаем это не через сознание».

Но какими же могут быть эти особые признаки? Нам этого не говорят, и, признаюсь, сам я угадать их не в силах.

Что, как мне кажется, я знаю и что должен повторить здесь, — так это то, что чувство, позволяющее во сне знать, что спишь, и станет как раз исходной точкой на пути к управлению снами, как я и намерен показать[4].

[4] См. часть третью, «Практические наблюдения».

О памяти и ассоциации идей

«Во сне, — говорит Лемуан, — нет больше ни произвольных ассоциаций, ни произвольных воспоминаний; все самопроизвольно, все безразлично».

. . . . . .

«Ассоциация идей, составляющая самую основу памяти, утрачивает, как и она, во время сна все то постоянство и всю ту разумность, которые сообщают ей наяву внимание и воля (с. 215)».

Я привожу эти два отрывка лишь затем, чтобы отметить самое коренное расхождение между моими взглядами и взглядами Лемуана на этот счет.

О воображении

«Воображением называют силы весьма различные. Живописец, который одним взглядом охватывает все черты лица, все подробности пейзажа и продолжает видеть их, когда они уже не у него перед глазами, музыкант, который отчетливо различает все партии оркестра, все арии оперы и продолжает слышать их в тишине, наделены могучим воображением; но это воображение почти пассивное.

«Мы приписываем дар воображения более драгоценного тому, кто, вместо того чтобы верно, но просто воспринимать звуки и краски и все, что действительно подействовало на его чувства, видит, словно на внутренней картине, чертами и красками, которые не поражают его глаз, идеальный предмет, задуманный его умом и целиком им созданный, или слышит как бы мысленный голос, выводящий череду гармонических звуков, никогда не звучавших ни для чьего уха. Воображение такого

человека поистине деятельно, ибо оно совершает величайшее из всех деяний: оно творит.

«Как бы ни называть первое — воображением чувственным, пассивным, животным, образной памятью, — оно еще теснее связано с чувствительностью, чем с умом; оно зависит от чувствительности органов почти так же, как от чувствительности души. Его достоинства — лишь достоинства зеркала или эха, которые отражают или повторяют, с большей или меньшей верностью и отчетливостью, образы и звуки. Второе, воображение, которое делает человека поэтом в греческом смысле слова, идет путем, обратным первому. Вместо того чтобы быть зеркалом или эхом внешних органов, оно излучается на чувства и органы, а те воспроизводят и представляют по-своему, звуками, красками и всякого рода движениями, замыслы ума. Эти представления бывают странными или прекрасными; это мелкие сочетания или великие и подлинные творения; но во всяком случае здесь всегда ум действует на чувства и материю.

«Если для психологии бодрствования важно установить это различие, то еще важнее оно для психологии сна и разбора сновидений, чтобы отделить долю влияния органов от доли ума.

«В самом деле, во сне, как и при помешательстве, следует различать два рода галлюцинаций: одну можно было бы назвать органической, *и причина ее — оцепенение или болезнь мозга и возникающее в нем внутреннее движение*; другую можно назвать умственной, и происходит она от произвольного или вынужденного действия, которое ум сообщает мысли. В первой материальный знак отсутствующего предмета пробуждает представление об означаемой вещи или о чем-то сходном с ней; во второй предмет мысли принимает форму и осуществляется вовне, *вызывая в мозгу движение, которое служит для него привычным*

знаком, или движения, ему подобные. Когда во сне мне вдруг является призрак, хотя нет никакой причины, даже почерпнутой из ассоциации наших идей, которая могла бы вызвать его появление, — это галлюцинация органическая; *это образ, вызванный сотрясением какого-то волокна*. Но когда я, испугавшись его безобразия, хочу бежать, то это мой страх приводит призрак в движение и пускает его за мной в погоню, — это галлюцинация умственная».

Я позаимствовал у Лемуана отрывок, который начинается превосходными, на мой взгляд, соображениями о различии, которое следует провести между двумя родами воображения; но само собой разумеется, что в отношении мест, набранных курсивом, я оставляю за собой все оговорки. Эти места связаны с системой автора, считающего сотрясения мозговых волокон действующей причиной сновидений, — а это я уже отверг. Признаюсь также, что предпочитаю называть просто *памятью*, или, если угодно, *образной памятью*, ту способность, которая состоит единственно в том, чтобы вспоминать предметы такими, какими они были восприняты, и сохраняю имя воображения за другой, отдельной способностью — мысленно сочетать по-новому материал, доставляемый памятью, так чтобы образовать из него перед глазами ума, как и перед его ушами (если позволительно так выразиться), образы, которых он никогда в действительности не видел, напевы, которых он никогда в действительности не слышал, — словом, творения, насколько человек вообще способен творить.

С другой стороны, здесь можно лишний раз убедиться, как опасны чисто теоретические рассуждения, наименьший недостаток которых — то, что они не приводят ни к чему достоверному. Кто укажет мне когда-нибудь, органическая

галлюцинация или умственная? Как я когда-нибудь узнаю наверняка, что образ (призрак или другой предмет) возник *без всякой причины, даже почерпнутой из ассоциации моих идей, которая могла бы вызвать его появление*? И если образ являющегося мне призрака таков, что подобная фигура никогда не поражала моих чувств, то как может заранее существовать в моем мозгу *некое движение, служащее для него особым знаком*? Как может сотрясение какого-то волокна *напомнить* мысль, которой еще не было?

Не устану повторять: желание вот так потрогать пальцем неразрешимые тайны союза души и тела, сокровенные связи души и материи представляется мне самым бесплодным из всех методов — он не может породить ничего, кроме пустых предположений, и впереди у него одно лишь сомнение.

Впрочем, если мы вернемся к мнению Лемуана, освободив его от умозрительной части, если, например, заменим произвольную теорию волокон — деятелей или орудий мысли — простым признанием того бесспорного факта, что почин сновидений принадлежит то самопроизвольной ассоциации идей (будь она деятельной или пассивной[5]), то различным телесным причинам, внешним или внутренним, которые действуют на спящего, — мы придем в этом вопросе к полному согласию взглядов и вместе признаем, что все наши сны неизбежно исходят из этих двух начал.

---

[5] См. выше.

По правде говоря, нет, пожалуй, ни одного сна, ткань которого принадлежала бы исключительно одному из них. Сон, который исходил бы из одной лишь ассоциации идей, без всякого перерыва какого бы то ни было рода, был бы следствием столь

совершенного равновесия человеческого тела и вместе с тем столь полного покоя в окружающем мире, что, хотя такое состояние легко вообразить мысленно, встретить его в действительности было бы, без сомнения, невозможно.

Итак, наши сны постоянно и попеременно складываются из тех цепочек мыслей, которые порождает самопроизвольная работа ума, и из тех тысяч побочных впечатлений, которые вызывают воздействия вещественного мира. В том, как эти два начала сочетаются и по очереди влияют одно на другое, и заключена главным образом тайна самых бессвязных и несообразных снов.

Что же до роли, которую играет в наших снах воображение в собственном смысле, то, тщательно ее разобрав, мы убедимся, что она не сводится лишь к тому, чтобы образовывать новые соединения из уже приобретенных частей, порождая порой то чарующие видения, которые словно вмещают все наши стремления к идеалу, то чудовищные сочетания, соединяющие все, что внушает нам наибольшее отвращение. Помимо этих созданий, в которых всегда есть что-то исключительное, мы обнаружим у воображения частое стремление опережать самопроизвольную работу ассоциации идей, само сообщая ей то направление, о котором я говорил выше, когда речь шла о деятельности и пассивности ума во время сна. Если воображение остается пассивным, сон всегда бессвязен и непоследователен по отношению к предметам, занимающим ум, потому что тогда мысли сцепляются посредством ассоциаций, совершенно чуждых логическому порядку действительной последовательности. Мундир солдата заставляет меня подумать об одном знакомом офицере; этот офицер — о его сестре; сестра — о другой даме, которая на нее похожа; эта дама — о театре, где я ее встретил, затем о пьесе, которую там давали; действие происходило на

Востоке; и вот я уже перед мечетью, и так далее. Если же поводья держит воображение, сон, напротив, представляет действие всегда связное (разумное оно или нет — дело другое).

Прежде чем перейти к другому предмету, подведем итог тому, что, как нам кажется, вытекает из разных замечаний, которые мы до сих пор могли сделать о доле, принадлежащей воображению в ткани наших снов. Доля эта, естественно, будет больше или меньше в зависимости от склада ума и от его минутного расположения; но в принципе можно сказать, что она никогда не будет безраздельной, поскольку значительная часть наших снов будет исходить из одной лишь самопроизвольной ассоциации идей, то есть исключительно из памяти.

Сила воображения, разумеется, никогда не дойдет до того, чтобы доставлять образы или созвучия совершенно новые, ибо оно не способно произвести ничего, что не было бы сложено из материала, взятого им у памяти. Но, находя под влиянием сна огромную легкость в том, чтобы обшаривать все ячейки памяти, пользуясь сочетаниями, которые приносит случай, — как художник порой пользуется удачным беспорядком, которого он не искал, — производя отвлечения и сближения, которые никогда не пришли бы в голову бодрствующему человеку, воображение, освобожденное к тому же от ига разума временным исчезновением действительного мира, может порождать соединения тем более новые в целом, что мы уже не в силах наяву уловить те обрывки воспоминаний, из которых они сложены.

Добавим, наконец, что оно постоянно доказывает нам, насколько стремление к прекрасному врожденно человеческому уму. Если в движущейся картине воспоминаний возникает образ в виде смутного наброска, то воображение, если оно его дорисует, сделает это, чтобы опоэтизировать и украсить его. В этом оно

будет подчиняться тем же законам, что и наяву, когда неясный свет, вуаль, приглушенное освещение заставляют его придать какому-нибудь лицу, мелькнувшему в полумраке, очарование чисто воображаемое.

О внимании

Здесь, вопреки своему обыкновению, Лемуан решается прямо принять определенное мнение. Это мнение я, со своей стороны, должен решительно отвергнуть, ибо оно совершенно противоречит итогам моего опыта. Вот что он утверждает:

«Внимание невозможно во сне, *который приостанавливает волю*[6]. Какую бы гибкость, какую бы верность ни проявляла память во сне, я не могу по своей воле догнать ускользающее воспоминание, не могу выбрать среди видений моих снов образ, на котором остановлю взгляд, а среди мыслей, сменяющих друг друга в моем уме, — ту, которую мне угодно разобрать».

[6] На первый взгляд можно подумать, что Лемуан, быть может, допускает сон, *приостанавливающий волю*, и другой, ее не приостанавливающий; но из рассуждений, сопровождающих этот отрывок, ясно следует, что фразу эту надо понимать здесь в безусловном смысле.

Сколько утверждений, столько и прямых ошибок, доказывающих, что автор рассматривал этот вопрос лишь теоретически, а вовсе не путем наблюдения.

Внимание может продолжать действовать во время сна, и притом благодаря воле, которая не приостановлена.

Можно быстро привыкнуть выбирать среди видений и мыслей, сменяющих друг друга во сне, те, которые хочешь закрепить, удержать, разобрать или прояснить. Порой для этого требуется известное усилие ума, которое дается лишь ценой почти

мучительного напряжения; но с точки зрения психологии дело это от того не перестает быть возможным.

О способности к движению

Этот последний параграф исследования, посвященного Лемуаном естественному сну и сопровождающим его сновидениям, говорит главным образом о том, в какой мере душа сохраняет во время сна власть над различными органами движения. Это уже несколько уклоняется от предмета, которым мы занимаемся: это скорее физиология сна, чем психология сновидения.

Что до меня, я без колебаний выдвигаю как правило: если душа, пока ей снится сон, сохраняет какую-то власть над органами, значит, сон тогда неполон. В полном прекращении всякого действия души на органы, словом, в прекращении способности к движению я вижу одновременно и главный признак сна, и дивный закон творения, наложенный на человеческую природу, чтобы обеспечить телу необходимый ему покой. Душа, которая в покое не нуждается, как сказал и сам Лемуан, без этого закона никогда не дала бы телу отдохнуть. Вспомним те часы бессонницы, когда мы делаем все, что от нас зависит, чтобы удержать тело в покое, — удается ли нам это хоть когда-нибудь? Пусть же, напротив, неустанная деятельность ума будет занята призрачными картинами, которые разыгрывает перед ним воображение; пусть душе кажется, будто она приводит тело в движение, на деле на него не действуя, — тогда тело отдыхает. А под телом следует понимать не только двигательный аппарат, но и все внутренние органы, на которые, к слову сказать, мы умеем оказывать, когда нам вообще случается их оказывать, лишь одно влияние — вредное: свидетельство тому — действие

ожидания, горя, радости или даже одно лишь желание не думать о беде, которой мы страшимся.

Будучи обязан заполнить рамки программы, начертанной Академией, Лемуан переходит наконец к опасным вопросам магнетизма, в разбор которых я пускаться отнюдь не намерен. Поэтому здесь я прекращаю критический разбор его замечательного сочинения, не преминув, однако, посоветовать прочесть его тем, кто пожелает углубиться в предмет. Они найдут в нем остроумные мнения о многих особенностях наших снов, которых я не счел нужным отмечать, потому что они показались мне чисто теоретическими, но которых не могу и отвергнуть безусловно как чисто теоретические, ибо теории не возбраняется порой сходиться с истиной.

VI

Краткий разбор недавнего сочинения Альфреда Мори «Сон и сновидения». — Гипнагогические галлюцинации. — Об уме, рассматриваемом как отправление мозга, и о размещении способностей рассудка в отдельных частях головного мозга, согласно учению этого писателя. — Любопытные наблюдения, которые Мори провел над самим собой. — Dissolving views. — О снах, в которых подхватываешь нить прежнего сна, ранее забытого. — Как во сне можно без угрызений совести совершать весьма дурные поступки и в каком смысле можно сказать, что свобода воли тогда у нас отнята. — Мнения докторов Макарио и Сериза, гораздо более близкие к моим, чем к мнениям Альфреда Мори. — Размышления Шармы и Брийя-Саварена об изысканной чувственности некоторых снов. — О том, что изучение сна и естественных сновидений — лучшее введение к изучению сомнамбулизма и магнетизма. — Несколько размышлений доктора Сериза в завершение обзора

писателей, которые занимались вопросом о сне и сновидениях от древности до наших дней.

Теории по существу своему гадательные, довольно откровенно материалистические, в которых автор, как и Лемуан, старается объяснить все явления сновидения тайными колебаниями волокон головного мозга и теми тысячами внутренних движений мозга, о которых всегда будут рассуждать тем свободнее, что спор об этом никогда не сможет выйти за пределы умозрения;

Наблюдения очень тонкие, очень деликатные, очень здравые, в которых я с радостью нахожу подтверждение многих психологических фактов, которые, как я думал, до сих пор отмечал я один, —

таковы две весьма различные составные части, которые я прежде всего улавливаю, читая книгу Альфреда Мори о сне и сновидениях[7].

[7] *«Сон и сновидения»*, Альфред Мори, член Института. Париж, 18…

Мори начинает с того, что посвящает особую главу тем первым образам, тем первым ощущениям, которые возникают, когда нас одолевает сон. Он называет их *гипнагогическими галлюцинациями* и хочет видеть в них особое явление, которому будто бы подвержены лишь некоторые люди. Я удивлен, что такое разграничение предлагает писатель, склонный скорее обобщать, чем дробить. Я сам испытываю это явление каждый день и не могу видеть в нем ничего иного, кроме начала представления перед глазами ума предметов, занимающих мысль, то есть начала самого сна. Я уже отмечал эти первые появления ярко окрашенных фигур или пейзажей как верный признак того, что сон близок; да и сам Мори разве не признает косвенно, что они лишь предвестники сна, когда пишет: «Черный кофе, шампанское,

которые даже в небольшом количестве вызывают у меня бессонницу, сильно располагают меня к гипнагогическим видениям. Но в этом случае они появляются лишь по прошествии очень долгого времени, когда сон, тщетно призываемый в течение нескольких часов, наконец вот-вот меня одолеет».

Это все равно что сказать: оттягивая наступление сна, эти возбуждающие напитки, естественно, оттягивают и его первые признаки; а возбуждая к тому же нервную систему, они располагают нас сильнее воспринимать идеи-образы или разнообразные ощущения, из которых будут сложены наши сны.

Что есть люди особенно впечатлительные, у которых идеи-образы возникают с первым наступлением сна живее, чем у других, — это вполне понятно; Мори из их числа, и я тоже; но мы отнюдь не должны заключать отсюда, что эти первые проявления первого сна под именем *гипнагогических* составляют у нас особое явление.

Не могу я согласиться и с тем, что эти образы суть «отголоски мыслей, не зависящие от последних забот ума». Мои практические наблюдения многократно доказывали мне обратное[8].

[8] Не следует смешивать этот будто бы самопроизвольный отголосок с тем, что происходит, когда действительное ощущение пробуждает какую-то мысль и вслед за тем вызывает ее одинокий образ. Так бывает с Мори, когда у него стреляет боль в ноге и в его сне тотчас появляется нога. Так бывает в снах, связанных с половой сферой, когда возбуждение или полнокровие органов поддерживает сладострастные сны, без конца повторяя телесные ощущения, которые призывают образы, связанные с пробуждаемыми ими воспоминаниями.

Рассмотрев таким образом галлюцинации, возникающие в первой дремоте, Мори переходит к изучению более глубокого сна и без колебаний заявляет, что для того, чтобы быть полным, такой сон должен быть свободен от всяких сновидений. На его взгляд, существует полная зависимость между полным или частичным

оцепенением мозга во время сна — физиологическим явлением, в котором он не сомневается, — и более или менее полной приостановкой способностей ума[9]. Подобно Галлю и Шпурцгейму, он к тому же верит в то, что эти способности размещены в определенных частях головного мозга, и полагает, что в зависимости от того, на какую часть органа сон действует сильнее всего, та или иная страсть может в наших снах ослабевать больше или меньше.

---

[9] «Во всем, что касается сна, слишком настаивали на различии души и тела. Оба механизма действуют согласно и сохраняют свои взаимные связи» (с. 22).

«Чем больше преобладает душевное оцепенение, тем сон смутнее и мимолетнее; чем больше, напротив, некоторые органы бодрствовали во сне, тем глубже след, который сон оставляет в нашем уме.

«Добавим, что некоторые части мозга могут оставаться бодрствующими и даже быть способными к высокой степени возбуждения, тогда как другие остаются в оцепенении; причем ослабление, поражающее ту или иную способность *и, следовательно, ведающий ею орган головного мозга*, может к тому же меняться на протяжении сна» (с. 36–37).

«Словом, сновидение зависит от того, что некоторые части головного мозга и органов чувств остаются бодрствующими вследствие возбуждения, которое препятствует полному оцепенению» (с. 53).

«Нет сомнения, что в зависимости от того, какая часть мозга или нервной системы поражена, в зависимости от рода поражения органов умственной жизни (при душевной болезни) та или иная страсть может быть более или менее возбуждена или ослаблена» (с. 145).

Этот ход мыслей не из тех, которые я был бы инстинктивно склонен отбросить. Отказываться искать объяснение движений нашего ума в непроверяемых анатомических гипотезах — не значит упускать из виду очевидную связь, которая существует у человека между состоянием его мозга и состоянием его ума. Поэтому критика, которой я в целом должен был бы подвергнуть

теоретические взгляды Мори, — если бы это не грозило повторением всего, что я только что сказал о взглядах Лемуана, — не заставила бы меня отвергнуть без рассмотрения изучение того разряда фактов, в котором я, напротив, предвидел бы самые интересные практические наблюдения.

Френологическое учение живо поражает воображение всякого психолога. Не раз я задумывал ряд опытов, которые можно было бы провести во время нашего сна, чтобы проверить возможное соответствие между каким-нибудь раздражением, произведенным на ту или иную точку черепа, и характером тех впечатлений и душевных забот, картину которых представили бы тогда наши сны. Если сам я не сумел уловить никакого вполне убедительного откровения, я тем не менее советую наблюдателям этот путь опытов.

Перехожу к той части книги Мори, которая, на мой взгляд, интереснее всего, — к той, где ясно изложено немало наблюдений, проведенных автором над самим собой и свидетельствующих прежде всего о силе нашей памяти во время сна.

«Первые годы жизни я провел в Мо, — рассказывает Мори, — и часто ездил в соседнюю деревню под названием Трильпор, на Марне, где мой отец строил мост. Несколько месяцев назад я во сне переношусь в дни своего детства и играю в этой деревне Трильпор; я замечаю человека в каком-то мундире и заговариваю с ним, спрашивая, как его зовут. Он сообщает мне, что его зовут С..., что он сторож моста, затем исчезает, уступая место другим лицам. Я просыпаюсь с именем С... в голове. Было ли это чистым вымыслом, или в Трильпоре действительно был сторож по имени С...? Я этого не знал, так как не помнил подобного имени. Некоторое время спустя я спрашиваю старую служанку, некогда служившую у моего отца и часто водившую меня в Трильпор,

помнит ли она человека по имени С…; она тотчас отвечает, что это был сторож моста на Марне, когда мой отец строил там мост. Совершенно очевидно, что я знал это так же, как она, но воспоминание стерлось. Сон, вызвав его, словно открыл мне то, чего я не знал».

«В другой раз, — пишет Мори в другом месте, — мне пришло на память слово *Мюсидан*; я хорошо знал, что это название французского города, но где он находится, я не знал, или, вернее сказать, забыл. Через несколько дней я увидел во сне некое лицо, которое сказало мне, что приехало из Мюсидана; я спросил его, где этот город. Это, ответило оно, главный город кантона в департаменте Дордонь. Я просыпаюсь, спешу заглянуть в географический словарь и, к великому своему удивлению, убеждаюсь, что собеседник из моего сна знал географию лучше меня, то есть, разумеется, что я вспомнил во сне факт, забытый наяву, и вложил в чужие уста то, что было лишь моим собственным воспоминанием».

«Наконец, — сообщает еще Мори, — лет восемнадцать тому назад я провел вечер у живописца Поля Делароша и слышал там изящные импровизации искусного композитора Амбруаза Тома на фортепиано. Вернувшись домой, я лег и долго не мог уснуть; наконец сон одолел меня, и вот я слышу словно издалека многие из тех прелестных мест, которые исполняли блестящие пальцы Амбруаза Тома. Заметьте, что я не музыкант и музыкальная память у меня развита слабо. Наяву я, конечно, не смог бы вспомнить таких длинных отрывков».

В тех снах, где нам кажется, будто мы беседуем с разными людьми, мы, очевидно, приписываем другим мысли или слова, которые на самом деле наши собственные; но следует заметить, что одна из причин, заставляющих нас воображать, будто эти речи

ведет посторонний человек, состоит как раз в том, что *мы не помним, что сохранили эти воспоминания*, если мне позволено так выразиться.

Психологический факт, который я счел возможным отметить уже в первой части этой книги[10], опираясь на собственные наблюдения, — а именно что воображение умеет придать во сне всю видимость живой действительности образам, *образ-воспоминание* которых обязан между тем лишь нескольким гравюрам или картинам, — подтверждается несколькими подобными свидетельствами Мори, из которых приведу следующее:

---

[10] См. часть первую.

«Однажды ночью мне привиделось во сне, будто я вижу город Нью-Йорк и хожу по его улицам вместе с одним другом. Когда я проснулся, воспоминание об этом сне было очень живо в моем уме; у меня еще стоял перед глазами общий вид города и одной из его площадей. Днем я отправился на бульвары, где, как я знал, в витрине торговца гравюрами был выставлен вид большого американского города, поразивший меня за несколько недель до того; но на этой панораме, неизбежно сильно уменьшенной, я никак не мог узнать ту большую площадь, по которой, как мне казалось, гулял со своим другом. Я долго рылся в воспоминаниях и наконец вспомнил, что эта площадь, должно быть, большая площадь Мехико, великолепный рисунок которой я некогда видел в Берлине. Вскоре я получил тому прямое доказательство, случайно наткнувшись на таблицу в одном сочинении, где она была изображена».

Дальше Мори с неменьшей точностью рассказывает о снах, в которых ему довелось наблюдать и прослеживать эту

прихотливую работу собственного воображения.

«Засыпая, — пишет он, — я, по своему обыкновению, видел с закрытыми глазами множество голов и гримасничающих лиц, из которых некоторые произвели на меня такое впечатление, что я и сейчас верно себе их представляю. И вот сначала я увидел черты человека, который побывал у меня двумя днями раньше и чье своеобразное и несколько забавное лицо меня поразило. Затем — и тут-то самое любопытное — я увидел очень отчетливо собственное лицо, которое исчезло, уступив место новому, на манер того, что называют *фантаскопом*, а по-английски *dissolving views*».

Свидетельства такого рода чрезвычайно ценны. В тот день, когда их будет собрано много, мы окажемся совсем близко к тому, чтобы найти в их сравнительном изучении ключ почти ко всем психологическим тайнам сна. Книга Мори, где их немало, имеет поэтому в моих глазах большую ценность; и если материалистические объяснения, которые он чаще всего дает собственным наблюдениям, не могут меня удовлетворить, то его метод наблюдения, совершенно новый в подобном предмете, кажется мне превосходным образцом для подражания.

Доктор Макарио гораздо ближе к спиритуализму, чем автор, чье сочинение мы только что разобрали. Соглашаясь в этом с доктором Серизом, написавшим предисловие к его книге[11], он не допускает, что явления сновидения можно объяснить механически, одной лишь физиологией мозга. Оба они, кроме того, отвергают теорию сна без сновидений.

[11] *«О сне, сновидениях и сомнамбулизме»*, Париж, 1857.

«Ни один орган, ни один аппарат не спит в живом существе, — пишет доктор Сериз. — Будьте уверены, что мораль притчи о

талантах исполняется в организме. Ни одному работнику не дозволено оставить там хоть на миг без дела ту долю жизни, которую он получил». Доктор напоминает мнение Кабаниса, который видит во сне лишь особую форму *деятельности* мозга, и добавляет: «Не спрашивайте у меня большего; глубинная суть жизненных отправлений вообще и нервных в особенности недоступна наблюдению; в физиологии знание следствий не обязательно влечет за собой точное понятие о причине и способе ее действия. А уж в том, что касается сна, физиологи едва ли прозорливее всех прочих... Лучше прекрасное изображение спящего, чем все объяснения сна, чем все эти рассуждения, приводящие, увы, к словечку Мольера, объясняющему действие опиума: *quia est in eo vis dormitiva*.

. . . . . .

«Сон без сновидений — отвлеченное понятие, которое физиологу позволительно допустить на миг, но которым он не должен злоупотреблять. Что я могу вам сказать — так это то, что сон ни разу не застигал меня, даже на секунду, без того чтобы не бросить меня в мир химер».

«Едва сон отяжеляет наши веки, — говорит, в свою очередь, доктор Макарио, — едва чувства более или менее полно закрываются для впечатлений внешнего мира, как нас тотчас настигают сновидения, эти причудливые порождения воображения, и удваивают наше существование. То ясные и отчетливые, то смутные и спутанные, они *непрестанно* волнуют душу разными чувствами, и когда нам кажется, что мы ничего не видели во сне, это значит лишь, что мы утратили воспоминание».

Это слишком хорошо согласуется с моими взглядами, чтобы мне не было приятно это привести. Не менее охотно приведу я и следующие места из того же автора:

«Есть бесспорный физиологический факт: чувствительность во время сна порой развивается необычайно. Сновидениям свойственно преувеличивать ощущения, как внутренние, так и внешние, и искусный врач-наблюдатель может извлечь отсюда выводы величайшей важности».

К этому я, разумеется, добавлю, что такого рода распознавание болезней приобретет еще гораздо большее значение, если привычка наблюдать себя во сне позволит спящему самому разбирать свои ощущения.

«В самом деле, как известно, болезни начинаются обычно со скрытой болезненной работы, совершающейся в глубинах организма; это называют скрытым периодом. В этот период больные, по всей видимости, пользуются совершенным здоровьем и уж точно далеки от мысли, что им грозит близкая опасность. И вот во время сна эта болезненная работа в иных случаях может стать ощутимой и заметной и вызвать сны, которые будут более или менее прямо или по сочувствию связаны с органом, где совершается это начало болезненного процесса. Так, например, предположим, что пораженный орган — печень или сердце; больному приснится, что его пронзают шпагой, кинжалом или каким-нибудь орудием, которое проходит сквозь эти органы; и если такие сны повторяются часто, их можно считать предвестниками тяжелой болезни, действие которой врач, быть может, сумеет предотвратить подходящими предупредительными средствами. Следующие примеры доказывают истинность этого утверждения.

«Арнольду из Виллановы снится, что собака кусает его за ногу, и через несколько дней на том же месте развивается раковая язва.

«Ученому Конраду Геснеру приснилось однажды ночью, что змея укусила его в левую сторону груди, и вскоре в этом самом

месте появилось тяжелое и глубокое поражение. Это был злокачественный карбункул, который через пять дней окончился смертью.

«Тест, бывший министр Луи-Филиппа, за три дня до смерти увидел во сне, что с ним случился апоплексический удар, и через три дня после этого сна он действительно умер от этой болезни.

«Я сам, — добавляет наконец доктор Макарио, — видел однажды ночью во сне, что у меня сильно болит горло. Проснувшись, я был здоров, но несколько часов спустя у меня началось сильнейшее воспаление миндалин.

«Многие атаксические лихорадки нередко возвещаются снами. Бывали даже эпидемические болезни, неизменным предвестником которых служили сны».

Это положение, которое я подкреплю собственными наблюдениями, Макарио отстаивает довольно пространно: «Поскольку внешняя чувствительность во время сна порой ослабевает настолько, что кажется почти приостановленной, а внутренняя, напротив, приобретает огромный избыток деятельности, органические потребности и сокровенные процессы растительной жизни становятся неиссякаемым источником снов, богатых ценными уроками.

«Нравственная чувствительность, то есть та нежная и тонкая способность человеческой души трогаться и волноваться, также становится чрезвычайно живой. Отсюда то примечательное развитие, которого достигает во сне чувство жалости, сострадания и т. п., так что мы просыпаемся с глазами, полными слез. Радость, огорчения, страдания и удовольствия тоже живее и глубже, чем в действительной жизни[12]».

[12] Макарио. *«О сне, сновидениях и сомнамбулизме»*, гл. II.

Шарма и Брийя-Саварен, два автора столь различного склада, уже сходились в этом вопросе.

«Разве не доказано нам, — писал Шарма, — что наши недоброжелательные и доброжелательные чувства, когда мы спим, а свобода сдерживает их лишь ослабевшей рукой, поднимаются до такой степени напряжения, до какой наяву не позволяет им подняться наш полный и неущербный разум? Скажем смело, что при тех же условиях и по тем же причинам наша способность страдать или наслаждаться расцветет с такой силой, какой мы бодрствуя в ней и не подозревали бы».

Брийя-Саварен, со своей стороны, поделился такой шутливой мыслью чувственного толка: «Всего несколько месяцев назад я испытал во сне совершенно необычайное ощущение удовольствия. Оно состояло в каком-то восхитительном трепете всех частей, из которых состоит мое существо. Это было какое-то полное очарования покалывание, которое, начинаясь от кожи, от ног до головы, проникало в меня до мозга костей. Мне казалось, будто вокруг моего лба играет фиолетовое пламя.

Lambere flamma comas et circum tempora pasci.

«Я полагаю, что это состояние, которое я вполне ощущал телесно, длилось не менее тридцати секунд, и я проснулся, исполненный изумления, к которому примешивалась некоторая доля страха.

«Из этого ощущения, которое еще очень живо в моей памяти, и из нескольких наблюдений, сделанных над людьми, впадающими в экстаз, и над нервными людьми, я вывел заключение, что пределы удовольствия еще не известны и не положены и что неизвестно, до какой степени наше тело может быть осчастливлено. Я надеюсь, что через несколько веков будущая физиология овладеет этими необычайными ощущениями, будет

вызывать их по желанию, как вызывают сон опиумом, и что наши далекие потомки получат таким образом возмещение за жестокие страдания, которым мы порой подвергаемся[13]».

[13] Брийя-Саварен. *«Физиология вкуса»*.

Чрезвычайное обострение чувствительности во сне — один из тех фактов, которых никто не оспаривал. Что же до пожелания Брийя-Саварена, то, думаю, не понадобится ждать несколько веков, чтобы увидеть его исполненным, хотя бы отчасти. Способы вызывать иллюзии наших снов и управлять ими, которые я должен указать в последней части этой книги, позволят, надеюсь, читателю самому прийти к результатам немедленным и вполне убедительным.

Я не захотел следовать за Лемуаном в его аналитической теории сомнамбулизма и магнетизма, чтобы не заблудиться вместе с ним в новом поле споров, которое я недостаточно исследовал. Взгляд доктора Макарио на этот двойной вопрос не обязывает меня к такой же сдержанности, ибо, на его взгляд, как и на взгляд доктора Моро (де ла Сарта) и на мой собственный, сомнамбулизм, самопроизвольный или искусственный, есть не что иное, как более или менее необычное видоизменение естественного сна и сновидений.

«У сомнамбулы не развиваются и не создаются новые способности; у него есть и может быть лишь возбуждение его естественных способностей, область действия которых тогда чрезвычайно расширяется. Душа сомнамбулы, стало быть, не разрывает, разве что в переносном смысле, уз, связывающих ее с землей; его чувства даже не перемещаются, как утверждают некоторые магнетизеры; лишь чувствительность становится утонченнее, все его способности приобретают больший размах и

большую деятельность. Чтобы объяснить, насколько это вообще возможно, способности сомнамбул, достаточно, следовательно, расширить, увеличить поле деятельности способности естественной и общей всем людям, а именно восприимчивости. Уже отсюда видно, что изучение сомнамбулических явлений входит в область физиологии» (с. 181).

«И прежде всего несомненно, что, зная данные факты, сомнамбулы могут предвидеть их последствия яснее, чем это удается умам выдающимся через логическую связь вещей; ибо тогда ум сомнамбулы сосредоточивается в себе самом, как лучи света в фокусе, и становится весьма проницательным. Его способность восприятия приобретает удивительную живость, а память — баснословную точность; самые мимолетные и самые давние воспоминания воскресают тогда с отчетливостью и точностью поразительными. Из столь точных и свежих воспоминаний он может извлечь выводы такой меткости, что она кажется даром прорицания; из совершившегося факта, из слова, из тени воспоминания, из малейшего указания он выведет заключения о будущем, и будущее его оправдает» (с. 214).

То, что думает доктор Макарио о получудесных явлениях сомнамбулизма, в точности совпадает с тем, что думаю я сам о некоторых снах, в которых мы как будто угадываем настоящее и даже предвидим будущее. Многие факты, о которых мне с восхищением рассказывали как о доказательствах поистине сверхъестественного магнетического ясновидения, на мой взгляд, самым естественным образом объяснялись обычными законами психологии сновидений. Так и иные расстройства организма странного на вид характера не удивляют того, кто хоть немного знает анатомию человеческого тела. Ключ не к одному магнетическому явлению, которое слывет чудесным лишь потому,

что исключительно, вполне мог бы найтись попросту в углубленном разборе наших еженощных снов; и исследования того рода, что советует эта книга, были бы подлинным способом их открыть.

Доктор Сериз не менее меня склонен указывать на изучение естественных снов как на предмет, прежде всего достойный нашего самого серьезного внимания. Последнее заимствование, которое я у него сделаю, завершит этот обзор писателей, занимавшихся сном и сновидениями в разные эпохи. Читатель найдет в нем несколько соображений о магнетических явлениях вообще, к которым я, впрочем, всецело присоединяюсь.

«Ходить туда и сюда, зажигать свечи, исполнять домашнюю работу, спускаться в погреб, подниматься на чердак — все это, без сомнения, достойно уважения; но останавливаться на этом я вовсе не намерен.

«Есть обычные сны, которым уделяют меньше внимания, а они, по-моему, заслуживают его больше. Вспомните, что чудесного, что великолепного видим мы в иных наших обычных снах: будь то храм во всем блеске великого торжества, религиозного и народного (так было со мной в одном сне, посвященном Ирландии, освобожденной О'Коннеллом), будь то картина благородной композиции и превосходного исполнения или любое другое произведение искусства, — это наш ум творит их, видя, или видит, творя. Изумительная одновременность замысла, сочинения, взгляда и наслаждения! Сколько бесчисленных подробностей, отобранных и расположенных с изысканной уместностью, выводится на сцену и содействует впечатлению чудесного целого, словно над этим трудился гений, вооруженный долгими занятиями и глубокими размышлениями! Обращаю ваше внимание на эту самопроизвольность ума, для

которой не существует ни времени, ни усилия и которая создает шедевр мгновенно, как грозовая туча мгновенно рождает молнию.

«Эта одновременность различных действий, надо сказать, плохо вяжется с полной пассивностью души во сне; ведь тогда пришлось бы поверить, что мозг делает свое дело лучше и быстрее, когда ум в него не вмешивается. Во всяком случае, она далеко оставляет позади обычный сомнамбулизм, который сводится к тому, чтобы машинально, одно за другим, проделывать дела невысокого порядка, сотни раз повторенные.

«Между сном, в котором воображение развертывает все свое великолепие, и сном, в котором ясновидящее и пророческое видение щедро дарит откровения, лежит еще все то расстояние, что отделяет иллюзии от истины. Это расстояние, занятое весьма значительными промежуточными явлениями, огромно. Самые необычайные, самые возвышенные зрелища, открывающиеся спящему, не стоят единого взгляда счастливого провидца, который достигает действительности сквозь бездны времени и пространства, во мраке темной ночи и глубокого неведения. Но надо еще знать, верен ли этот взгляд, не ложь ли та действительность, которой он достиг, словом, не иллюзия ли эта истина. В этом-то и трудность.

«Что же до самого этого ясновидения, о котором каждый день рассказывают столько примеров, то оно, признаюсь, мало меня занимает, потому что ни одно из несчастий, которых мы больше всего страшимся и которые на нас обрушиваются, им не предвидено и не предотвращено, потому что им не облегчена ни одна беда, не принесено никакого блага, не решено ни одной задачи. Его успехам недостает достоверности. Позвольте же мне не касаться неразрешимых задач по поводу пророков, от которых

нет пользы, и прорицательниц, чьи слова не приносят плода. Мне трудно примириться с тем, что сомнамбулы, которых называют магнетическими, ясновидящими или прозорливыми, никогда не предвидели и не открыли ничего важного ни для отдельных людей, ни для народов, и особенно с тем, что они померкли рядом с вертящимися столами. Они щедро являли великие чудеса, которые оспаривают, в малых делах, которых никто не проверяет. Поэтому и самые знаменитые из них проходят по земле, как насекомое в воздухе, как рыба в воде, не оставляя ни отзвука своего шума, ни следа своего пути[14]».

[14] Предисловие доктора Сериза к сочинению доктора Макарио *«О сне, сновидениях и сомнамбулизме»*, с. XXIV и след.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СНАМИ И СПОСОБЫ ИМИ УПРАВЛЯТЬ

✦

Первая часть этой книги познакомила читателя с обстоятельствами, при которых была начата моя работа, и вместе с тем сразу изложила мои общие взгляды на предмет, к которому я собирался приступить. Во второй части, посвященной главным образом истории мнений о сне и сновидениях от древности до наших дней, я продолжал излагать собственные мысли всякий раз, как к тому представлялся случай.

Прежде чем перейти к третьей части, где мне предстоит прежде всего записать множество практических наблюдений — как в подкрепление уже высказанных утверждений, так и для обоснованного доказательства новых фактов и новых взглядов, — я хочу предупредить упрек, который, без сомнения, уже прозвучал. Справедливость его я готов признать, но в ответ у меня все же есть несколько соображений.

Вероятно, сочтут, что мне недоставало метода: я преждевременно обсуждал не один вопрос, к которому мне придется вернуться, и бросал там и сям утверждения, взятые из опыта, еще не подкрепив их достаточными доказательствами, — а это оставляет мнение читателя в нерешительности и не удовлетворяет ум. Я сам себя в этом упрекал и хотел бы идти путем более последовательным. Но, с одной стороны, предварительное знакомство со всем, что написано о снах, казалось мне, как я уже говорил, необходимым вступлением,

чтобы затем, с помощью сознательных наблюдений, перейти к более глубокому изучению их явлений; а с другой — если бы я не стал оспаривать или толковать иные теории в ту самую минуту, когда их излагал, я обрек бы себя на неблагодарный труд повторять позднее целые разборы под страхом остаться непонятым. Поэтому я решил, что лучше поступить так, как я поступил, и что неудобство порой возвращаться к одному и тому же предмету меньше, чем неудобство возвращаться к одним и тем же текстам.

Немало затруднит меня и распределение материала — тот порядок, в каком мне следует расположить разные части этой третьей книги. Правило «все во всем» чудесно подошло бы к бесчисленному множеству наблюдений, которые все же приходится размещать по немногим определенным местам. Один сон дает любопытный пример чудес памяти и вместе с тем может доказать, что внимание во сне не прекращается. Другой показывает разом, как сцепляются одни мысли, как искажаются одни образы и как мы можем, продолжая спать, вызывать, удерживать, направлять или прогонять те или иные видения. Очень часто и сами задачи, которые нужно решить, весьма сложны по своей природе: чтобы их распределить, их как раз и надо было бы сперва решить.

За неимением лучшего метода я приму следующий. Напомнив сначала несколько главных вопросов, вокруг которых, как мы только что видели, больше всего шел спор, я начну с того, что сгруппирую вместе наблюдения, призванные доказать прежде всего:

1. Что не бывает сна без сновидений.

2. Что ни внимание, ни воля не прекращаются во сне непременно.

А сделав эти первые разделы, я постараюсь выяснить, чему опыт может научить нас о ходе и ткани сновидений, а также о способах вызывать их или направлять, — не придавая, впрочем, распределению этих заметок больше значения, чем подобает книге, автор которой стремится не столько воздвигнуть систему, сколько собрать точные материалы для будущей науки.

I. Наблюдения над сновидениями первого сна, призванные прежде всего доказать, что не бывает сна без сновидений

Выдержки из самых старых тетрадей дневника моих снов. — Опыты над другом во время его сна. — Первые сны, в которых мне удается уловить переход от бодрствования ко сну. — О глубине сна и яркости сновидений в разные часы ночи. — Как глубина сна и яркость сновидений попеременно зависят от состояния тела и от состояния духа. — Весьма убедительный опыт в подтверждение того, что образы, из которых складывается сон, тем ярче, чем глубже сон. — О том, сколь долгий отрезок наших сновидений мы можем удержать в памяти при пробуждении. — Итог вопросов, затронутых в этом разделе.

Мы видели, что те, кто допускает такую фазу сна, когда мысль будто бы совсем исчезает, единодушно относят ее к тому первому периоду, когда органы чувств сильнее всего отрезаны от внешнего мира, — видимый признак того, что называют глубоким сном.

Так понаблюдаем же внимательнее, чем делали до сих пор, что происходит в нас, когда нас одолевает сон. Изучим характер сновидений, которые первыми являются нашему уму. Быть может, так нам удастся решить — если не положительными доказательствами, то хотя бы весьма сильными предположениями — основной вопрос: бывает ли сон,

совершенно пустой от сновидений, может ли человек на время утратить даже чувство собственного существования. Очевидно, что если этот первый сон окажется так же населен видениями и мыслями, как утренний, мы вправе будем считать сильно поколебленным излюбленный довод материалистов.

Открываю прежде всего первую тетрадь дневника моих снов и читаю в ней следующее[1]:

[1] Все, что будет взято в кавычки, приводится дословно из этого дневника. Я ничего не меняю в слоге заметок, извлеченных из моих ученических тетрадей, чтобы сохранить их относительную ценность. Прошу читателя принять это во внимание.

«15 сентября. — Мои сны этой ночью разделены на две части: я спал уже час или два, когда меня пришли будить, чтобы я встал, потому что в соседней комнате сильно разгорелся огонь в камине и боялись, как бы он не перекинулся на деревянную обшивку стен. В ту минуту, когда меня разбудили, мне снилось, будто я гуляю с дядей в лесу Г... и мы любуемся большими, очень странными птицами, сидящими на дереве, с которого облетели листья. Вот рисунок. (Далее следует изображение одной из этих птиц, какой она осталась у меня в памяти.) — Около трех часов ночи, когда огонь совсем погас, я снова лег, опять заснул, и тогда мне приснилось...» (Далее следует рассказ о снах этого второго сна.)

Несколькими месяцами позже в той же тетради, которая относится ко времени моего отрочества, я нахожу упоминание о другом нечаянном пробуждении в первой фазе сна:

«Через несколько минут после того, как я заснул, меня внезапно разбудил грохот каминного экрана, который опрокинул ветер. Не знаю, яркость ли сна, который я видел в ту минуту, сильнее запечатлела его в памяти, или тут сыграло роль

потрясение, сопровождавшее пробуждение, но так или иначе, обратившись к себе, я прекрасно вспомнил все, что мне только что снилось и как снилось, — не упустив, кажется, ничего от начала до конца. Мне представлялось, что я в парке Б… беседую с кюре из О…, и он показывает мне необыкновеннейшие часы с репетиром, в которых бой выбивал на звонкой наковальне маленький золотой кузнец, покрытый эмалью. Все это было очень ясно и так же отчетливо, как если бы я не спал. Теперь, хорошо помня все, что было прежде, я могу записать это так. Сначала у меня перед глазами были неясные и разрозненные образы, сопровождавшие столь же смутные мысли. Это было как бы туманное изображение людей и вещей, о которых я думал. Фигуры представлялись мне то отчетливее, то темнее и запутаннее — смотря по тому, засыпал ли я глубже или на мгновение снова ощущал, что дремлю. Бывали минуты, когда я различал ветви деревьев с четко вырезанными листьями, ярко освещенными солнцем. В одну из таких минут я подумал о муравейнике, который мы собирались уничтожить и который находится в конце большой аллеи парка; мне показалось, что я вижу его — сперва смутно, потом очень отчетливо, вплоть до самих муравьев и т. д., и т. д.

С этой минуты ко мне уже ни разу не возвращалось чувство моего настоящего существования. Я вполне верил всему, что, как мне казалось, я видел. Значит, я крепко спал. Мой зять был во сне рядом со мной и расправлял большой мешок, чтобы сложить в него муравейник. Я услышал голос, звавший меня с середины аллеи. Я обернулся и увидел одного из наших соседей, г-на де С…, вместе с кюре из О…, который показывал ему свои часы. Я забыл и зятя, и муравьев, которые, можно сказать, исчезли из моего сна, и разглядывал часы кюре, о которых говорил выше, когда шум вокруг меня разбудил меня почти внезапно. Почему мне

приснились эти странные часы? Не знаю; но в чем я вполне уверен — это в том, что, проснувшись, я вспомнил все, что непрерывной чередой прошло через мой ум за время первой дремоты и этого столь короткого сна».

Подобные наблюдения после случайных пробуждений встречаются еще семь раз в моих тетрадях более позднего времени. Наконец, в разные годы своей жизни я сто шестьдесят раз заставлял будить себя во время первого сна, в частности тридцать четыре ночи подряд, — и всякий раз, как и доктор Сериз[2], убеждался, что ум мой был занят какой-то мыслью в образах.

---

[2] «Могу сказать одно: сон никогда не застигает меня, даже на секунду, без того чтобы не забросить меня в мир химер». Доктор Сериз, предисловие к сочинению г-на Макарио «О сне, сновидениях и сомнамбулизме», с. XVII.

Это что касается моих собственных наблюдений. Посмотрим теперь, что мне удалось испытать вне себя.

Один близкий друг, с которым я совершил довольно долгое путешествие и который интересовался моими изысканиями, с полной убежденностью утверждал, что в первом сне ему никогда ничего не снится. Несколько раз я будил его вскоре после того, как он засыпал, и всякий раз он совершенно чистосердечно уверял меня, что не может припомнить никакого сна. Однажды вечером, когда он спал уже около получаса, я подхожу к его постели, вполголоса произношу несколько военных команд: «На плечо! Изготовься!» и т. д. — и тихонько бужу его.

«Ну что, — говорю я ему, — и на этот раз тебе ничего не снилось?

— Ничего, совершенно ничего, насколько я знаю.

— Поищи хорошенько у себя в голове.

— Ищу хорошенько и нахожу там только промежуток полнейшего небытия.

— А ты уверен, — спросил я тогда, — что не видел ни солдата…»

При слове «солдат» он перебивает меня, словно пораженный внезапным воспоминанием: «Верно! Верно! — говорит он. — Да, теперь вспоминаю: мне снилось, что я присутствую на смотре. Но как ты угадал?»

Я попросил позволения хранить свою тайну, пока не повторю опыт. На этот раз я пробормотал возле него несколько слов из языка верховой езды, и, едва он проснулся, между нами завязался почти такой же разговор. Сначала он не помнил никакого сна, потом, по моим подсказкам, вспомнил тот, что вызвали мои слова; а встав на этот путь воспоминаний, нашел к тому же память о нескольких прежних видениях, ход которых я прервал своим вмешательством.

Вскоре после этого второго опыта я произвел и третий, удавшийся не хуже. Вместо того чтобы воздействовать на сон моего спутника словами, я воспользовался маленькими бубенчиками, которыми слегка позвякивал; их звон вызвал у него мысль, будто мы продолжаем путешествие в почтовой карете, катящей по большим дорогам[3].

[3] Заметим мимоходом, как физиологический факт иного порядка, что после этого тройного опыта мой спутник, прежде никогда не помнивший своих снов, стал вспоминать некоторые из них сам собой.

Эти факты и бесчисленное множество подобных почти не оставили у меня сомнений в том, что первый сон других людей ничем не должен отличаться от моего. Продолжим и изложим, что изучение моего собственного сна позволило мне установить

относительно самого перехода от мыслей человека, еще не уснувшего, к мыслям человека, спящего совсем.

Весьма распространенное предубеждение гласит, что достаточно, засыпая, обдумывать какую-нибудь мысль, чтобы она прямо повлияла на ночные сны. Чаще всего подобный случай попросту докажет, что в памяти осталось сновидение первого сна, ибо одна из черт сновидения — крайняя подвижность мыслей, и самопроизвольное сцепление тех, что занимают ум в минуту засыпания, очень быстро уводит нас далеко от исходной точки.

Привожу из своего дневника несколько отрывков, написанных в разное время под первым впечатлением от наблюденного:

«Я только что вырвался из первого сна в миг просветления, когда, вспомнив о наблюдениях, которые хочу вести, счел полезным записать то, что сейчас испытал. Сначала это было нечто вроде оцепенения, во время которого я самым смутным образом думал о людях, обедавших сегодня у нас, и о хорошеньком личике г-жи де С… Лицо ее сперва являлось мне неотчетливо; потом я увидел его лучше, а затем — сам не знаю, как это случилось, — я видел уже не ее, а ее кузину, г-жу Л…, сидевшую за пяльцами. Ее работа изображала гирлянду из цветов и плодов дивных оттенков, которую я различал превосходно, как и все подробности комнаты и наряда г-жи де С…, — как вдруг мне пришла в голову мысль, что я сплю и только что заснул; усилием воли я стряхнул сон и, взяв карандаш, тотчас записал это, полагая, что запись поможет мне установить, как начинается сновидение. Мне кажется, что не было настоящего перерыва между мыслями, которые я перебирал, засыпая, и этими последними образами, такими отчетливыми, такими законченными, что это был, несомненно, настоящий сон. Не вполне понимаю я только переход от г-жи де С… к ее кузине[4]».

[4] Я привожу эти выдержки такими, какими они были написаны в то время. Сегодня я не нахожу ничего удивительного в том, что вполне естественная ассоциация идей перевела меня от образа г-жи де С… к образу ее кузины.

Несколькими месяцами позже: «Сегодня я испытал живое удовлетворение: мне удалось вполне определенно уловить свой сон целиком — от последней мысли, какая была у меня еще наяву, до той, что занимала меня в минуту пробуждения, — и притом не упустив ничего из разных вещей, которые, как мне казалось, я поочередно видел, слышал или делал. Вот что произошло. Еще бодрствуя, но уже совсем засыпая, я смутно подумал о визите, который мы должны были нанести завтра утром в замок Орс…, и мне вспомнилась большая каштановая аллея, ведущая к нему. Сначала я видел ее словно в тумане. Потом ясно различил деревья с ярко-зелеными, четко вырезанными листьями. Только это была уже не каштановая аллея Орс…, а, кажется, аллея Тюильри или Люксембургского сада. По ней прогуливалось много людей. Я узнал среди них г-на Р… с Алексисом де Б… и заговорил с ними. Тем временем садовники или дровосеки выкорчевывали большое сухое дерево. Они крикнули нам, чтобы мы отошли, потому что дерево может упасть в нашу сторону. Тотчас же, прежде чем мы успели сделать хоть шаг в сторону, я увидел, как дерево раздавило моих спутников, и волнение, которое я при этом испытал, разбудило меня.

Я уверен, что на этот раз вполне понял, как засыпают и как начинается сон».

Продолжаю брать примеры из своих тетрадей:

«Я закрываю глаза, чтобы заснуть, думая о нескольких вещах, замеченных мною в тот же вечер в лавке на улице Риволи; мне вспоминаются аркады этой улицы, и я смутно вижу как бы светящиеся аркады, которые повторяются и вырисовываются

вдали. Вскоре перед очами моего ума развертывается змей, покрытый фосфоресцирующей чешуей. Рамкой ему служит бесчисленное множество неясных образов. Я еще в периоде смутных вещей. Картины стираются и меняются очень быстро. Этот длинный огненный змей принял вид длинной пыльной дороги, выжженной летним солнцем. Мне тотчас кажется, что я сам иду по ней, и оживают воспоминания об Испании. Я беседую с погонщиком мулов, у которого на плече *манта*; я слышу колокольчики его мулов; я слушаю его рассказ. Пейзаж соответствует главному предмету; с этой минуты переход от бодрствования ко сну совершился полностью. Я весь погружен в иллюзию ясного сна. Я предлагал погонщику нож, который, казалось, ему нравился, в обмен на прекрасную античную медаль, которую он мне показывал, когда меня вдруг вырвала из сна внешняя причина. Я спал, по оценке разбудившего меня человека, около десяти минут».

Другой сон: «Я очень устал, проведя предыдущую ночь в экипаже. Предвидя, что засну быстро, я попросил друга, который сел у моей постели, разбудить меня через пять-шесть минут после того, как увидит, что я крепко уснул. Все произошло так, как я хотел. Меня разбудили в ту минуту, когда мне снилось, что я не даю собаке растерзать раненую птицу, — сон вполне сложившийся, отчетливое впечатление от которого я сохранил при пробуждении. Я тотчас поднимаюсь вверх по течению своих воспоминаний и восстанавливаю их цепь так. Среди первых силуэтов, явившихся мне, я вспоминаю прежде всего нечто вроде пучка стрел, который поднялся, потом как будто раскрылся и превратился в одну из тех длинных корзин, в которых греют белье в купальнях. Сквозь ивовые прутья виднелись белые полотенца. Вскоре прутья, казалось, стали тоньше, начали

изгибаться, свиваться и наконец превратились в зеленый куст, посреди которого вздымалось густое дерево. Белая собака (явное превращение полотенец) металась по ту сторону куста, стараясь пробраться сквозь него, а раненая птица волочилась у моих ног по траве. Когда собаке удалось продраться сквозь заросли, я отгонял ее ударами трости — и тут меня разбудили. Уже несколько мгновений состояние сна вполне определилось».

В этих четырех примерах переход от бодрствования ко сну совершается посредством чувственных воспоминаний, принадлежащих зрению, которые мало-помалу принимают вид живой, окрашенной действительности. В других случаях переход совершается через память о звуках. Думаешь о каком-нибудь спорном мнении. Сам себе возражаешь; влагаешь это возражение в уста воображаемого существа или кого-то из знакомых. Этот человек появляется — и вот уже завязался разговор с собеседником, который и становится первым ясно вызванным образом, первым элементом настоящего сна.

Я записал шестнадцать наблюдений такого рода. Приведу одно, которое кажется мне ясным и убедительным:

«Вот как я заснул вчера вечером; сегодня утром я очень отчетливо это помню. Пока я находился в той дремоте, которая еще не сон, но уже и не бодрствование, мне снова пришла на ум мысль о множественности миров; днем я прочел сочинение Фонтенеля об этом предмете и вспомнил несколько возражений, которые сам себе делал; я приписал их, не знаю почему, человеку в черной мантии и парике и долго с ним спорил. Полагаю, что собственно сон мой начался с этого воображаемого спора, ибо я прекрасно помню, что еще не спал и не видел никаких видений, когда перебирал в уме первые его доводы. Быть может, человека в парике внушил мне портрет Фонтенеля, помещенный в начале

прочитанной книги. Как бы то ни было, этот человек, с которым я спорил, достал из кармана инструмент странной формы и т. д., и т. д.». Далее следует рассказ о сне, который с этой минуты вполне определился.

Итак, переход от бодрствования ко сну, от мысли бодрствующего человека к сновидению спящего, может совершаться постепенно, без перерыва в цепи мыслей, — словом, без того, чтобы между этими двумя состояниями наступало своего рода умственное междуцарствие. Телесные глаза закрываются для реального мира лишь затем, чтобы глаза духа открылись миру фантазии и воспоминаний.

Я уже замечал, что в те часы бессонницы, когда долго ждешь сна, один из вернейших признаков его приближения — появление, пусть еще мимолетное, какого-нибудь отчетливого и красочного образа среди смутных силуэтов, сопровождающих мысли полудремлющего человека. Добавлю, что более двадцати опытов убедили меня: яркость образов всегда соответствует глубине сна — в том смысле, что чем глубже сон, тем ярче образы, и наоборот.

Наблюдения, внушившие мне убеждение, столь противоположное мнению многих писателей, не все одного рода; не все они касаются исключительно сновидений первого сна; но, пользуясь оставленной за собой свободой порой заходить из одного раздела в другой, когда к тому подведет меня какая-нибудь ассоциация мыслей, я думаю, что здесь подходящее место, чтобы затронуть этот предмет.

Во-первых, часто заставляя будить себя в разные часы ночи и судя о большей или меньшей глубине своего сна по тому, насколько трудно мне было из него вырваться, я постоянно замечал: чем ярче был мой сон, тем больше была эта трудность.

Когда мне удавалось простым усилием воли разбудить себя самому (сохранив во сне чувство своего настоящего положения), я всякий раз замечал, что стряхнуть очень ясный сон требует большего усилия, чем прогнать бессвязные видения, бледные и неясные картины.

Те, кто хочет объяснить все явления сновидений соображениями физического порядка, скажут вам, что относительная глубина сна зависит единственно от состояния органов. Я же скажу, что во сне, как и в жизни наяву, постоянно происходит взаимное воздействие телесного на душевное и душевного на телесное. Если оцепенение тела под влиянием чисто физических причин приводит к тому обособлению ума, которое и составляет сновидение, то ум, в свою очередь, воздействует на материю, усиливая или ослабляя оцепенение тела.

Засыпая, крепко сосредоточьте мысль на каком-нибудь воспоминании; удержите очертания одной из тех галлюцинаций первого сна, которые назвали гипнагогическими, если вы из числа людей, у которых такие видения бывают. От этого сосредоточения, от этого обособления ума тотчас последует постепенное возрастание отчетливости зарождающихся образов, которые уже составляют ваш сон.

Попросите, напротив, чтобы вас будили понемногу, когда вы крепко уснете, и так постепенно рассеивали ваш сон. Тотчас соберите воспоминания — и вы убедитесь, что ваши видения заметно теряли отчетливость в последние минуты этого потревоженного сна.

Не берусь учить вас, какую роль играют мозговые волокна в этих последовательных взаимодействиях. Повторю лишь, что, как оцепенение тела побуждает ум обособиться, так и обособление ума приводит к оцепенению тела; и, не боясь забежать здесь

вперед, в следующую главу, где особо пойдет речь о *внимании* во сне, приведу в подтверждение этого мнения один весьма доказательный опыт, который каждый сможет повторить, как только известная практика приучит его иногда наблюдать за собой во сне[5]. Вам снится, допустим, что вы в саду; вы сознаете, что спите, и любуетесь тем, с какой отчетливостью и какой яркостью красок волшебное зеркало вашей памяти воспроизводит все эти деревья, цветы и растения, которые как будто вас окружают. Если ничто не нарушает чистоты этих иллюзий, сон продолжается, видоизменяется по воле ассоциации идей, и роща исчезает, уступая место какой-нибудь другой картине, не менее отчетливой; но если вы видите, что образы этих деревьев, растений, цветов, только что столь ясные, бледнеют и путаются перед очами вашего ума, можете быть уверены, что сон ваш рассеивается. Дайте этому совершиться — и через несколько мгновений вы совсем проснетесь.

[5] Из четырнадцати человек, с которыми я беседовал о возможности наблюдать за собой во сне и которые любезно согласились последовать моим советам, двое сразу заявили, что им уже случалось иногда замечать во сне, что они спят; девять очень скоро достигли того же; двое проявили в своих попытках слишком мало упорства, чтобы из них можно было сделать сколько-нибудь серьезный вывод; лишь один сказал мне, что ему по-настоящему так и не удалось этого добиться.

Хотите повести опыт в противоположную сторону? Постарайтесь сохранить (во сне) полную неподвижность[6] и крепко сосредоточьте внимание на одном из мелких предметов, образ которого не исчез, — например, на листке дерева. Этот образ мало-помалу вновь обретет всю утраченную отчетливость; вы увидите, как постепенно возрождается живость очертаний и красок, — как это было бы с изображением в камере-обскуре, по мере того как вы наводили бы его *на фокус*. Когда вы снова станете ясно различать мелкие подробности, можете прервать это

мгновенное созерцание и опять обвести очами ума окружающие вас иллюзии. Сон вновь пойдет своим чередом; немедленное пробуждение будет предотвращено. Вы остановите выход органов из оцепенения, начавшийся под влиянием какой-то внешней или внутренней причины, и сон вновь обретет всю свою глубину.

[6] Когда сон полон, действие воли на мышцы совершенно прекращено. Вы можете во сне приказывать любые движения, и ваши руки и ноги нисколько этого не ощутят. Но как только сон нарушается, дело обстоит иначе. Пусть очень слабо, воля вновь начинает действовать на мышцы, и каждое движение, которое им приказывают во сне, понемногу помогает рассеять оцепенение тела. Поэтому неподвижность, которую спящий будет стараться сохранить, не будет чисто воображаемой. Напротив, она сильно поможет сну.

Итак, образы, из которых складывается сон, тем ярче, чем глубже сон. Переход от бодрствования ко сну характеризуется, следовательно, постепенным возрастанием отчетливости образов, а возвращение от сна к бодрствованию (при постепенном пробуждении) — постепенным убыванием этой самой ясности.

Это вполне естественно объясняет нам факт, который почти все авторы лишь упоминают, не толкуя, а именно что самые ясные сны — вместе с тем и самые связные. Они самые связные потому, что, приходя во время самого глубокого сна, гораздо меньше, чем сны чуткого сна, подвластны тысячам мелких поводов к изменению, которые возникают из впечатлений, производимых на наши чувства реальным миром, пока сообщение между ним и нашим умом не прервано полностью. — Попросите разбудить вас через два часа после того, как заснете; вспомните сны, которые тогда занимали вашу мысль; сравните их с теми, что остались у вас в памяти утром при пробуждении, — и вас поразит верность этих практических наблюдений.

«Физиологи, — говорит г-н Лемуан по поводу сомнамбулизма, — заметили, что, тогда как обычные сны рождаются

преимущественно в последнем сне, приступы сомнамбулизма, напротив, наступают почти сразу после засыпания» (с. 280).

Это замечание физиологов кажется мне не вполне продуманным. Они только не объясняют нам, почему мы должны больше доверять их замечаниям, чем они сами доверяют заявлению сомнамбулы, который тоже помнит лишь свои утренние сны. Не гораздо ли вероятнее, что приступ сомнамбулизма случается как раз в то время, когда сновидения возникают с наибольшей силой? Откуда двойное следствие: самые яркие сны приходились бы на первый сон, который и есть самый глубокий, и чем глубже сон, тем труднее было бы сохранить его в памяти.

Подведем итог.

В какую бы минуту сна я ни просыпался сам или ни заставлял будить себя, у меня всегда было чувство прерванного сновидения.

Очень много раз я восстанавливал весь путь, пройденный ассоциацией моих мыслей за пять–десять минут, протекших между мгновением, когда я начал засыпать, и мгновением, когда меня вырвали из уже сложившегося сна, — то есть от полного бодрствования до полного сна. И несколько друзей, которых я просил проделать те же опыты, уверяли меня, что получили те же результаты.

Будучи разбужен после более чем четверти часа сна, я ни разу не мог уверенно проследить течение своих видений вспять до того гипнагогического периода, который должен был служить им исходной точкой. Добавлю, что, имея случай часто будить человека, говорившего во сне вслух, — так что он сам, не просыпаясь, давал мне вехи в своих снах, — я, расспрашивая его тотчас о том, что ему снилось, постоянно замечал, что его

воспоминания почти никогда не простирались дальше чем на пять-шесть минут назад.

Однако и этого столь короткого времени довольно, чтобы оставить в нашем уме впечатления, словно бы соответствующие целому прожитому дню, ибо, как мы уже говорили в другом месте, о протекшем времени мы судим по числу и характеру событий, которые, как нам казалось, следовали одно за другим.

Я где-то читал историю одного человека, принимавшего гашиш, которому в ночь умственного возбуждения показалось, будто он прожил сто лет; и если я сомневаюсь, что, проснувшись, он мог сохранить все воспоминания об этом долгом пути, то вполне допускаю, что за двенадцать часов перед ним могло пройти больше событий, чем вместила бы столетняя жизнь. Я даже думаю, что и при обычном, правильном сне каждый из нас нашел бы в сновидениях одной ночи чем заполнить год своей жизни, если бы умел утром вспомнить все, что ему снилось. Но как это возможно, если никто из нас не мог бы даже после получаса мечтаний вспомнить множество мыслей, прошедших через его ум? И насколько же труднее было бы вновь уловить ассоциации идей, тем более мимолетные, чем причудливее они складывались?

Имея возможность привести в этой книге лишь весьма ограниченное число наблюдений, которые я сделал или собрал, я должен предвидеть, что их, быть может, не всегда сочтут достаточно убедительными; но я призываю всех, кого занимает этот предмет, не отступать перед собственными опытами и уверен, что они очень скоро согласятся со мной в следующих положениях:

1. Теория сна без сновидений — всего лишь теория, основанная на недостатке опыта. Крайняя трудность, с которой вспоминается

длинный ряд сновидений, вероятно, и ввела в заблуждение тех, кто, помня лишь свои последние сны, счел возможным утверждать, будто первый сон их лишен.

2. Переход от бодрствования к сновидению совершается постепенно, без остановки мысли.

3. Самый глубокий сон — именно тот, во время которого видишь самые ясные и самые связные сновидения.

II. Наблюдения, призванные доказать, что ни внимание, ни воля не прекращаются во сне непременно

Первые условия, необходимые для управления снами. — Как воля может отстранять тягостные сны и вызывать приятные. — Примеры воли и внимания во сне. — Воля в виде желания. — Направляющая воля. — Внимание и воля. — Способ резко изменить ход сна и вызывать по желанию те или иные образы. — Что происходит, когда во сне создаешь положение, в котором никогда не мог бы оказаться наяву. — При каких условиях усилие внимания становится во сне трудным и даже болезненным. — Как действует воля, вызывая немедленное пробуждение, когда заметил, что стал игрушкой тягостного сна, и решительно хочешь из него выйти?

Те, кто хочет видеть в событиях наших снов лишь череду механически воспроизводимых впечатлений, над характером и направлением которых мы будто бы властны не более, чем простой зритель над картинами, которые ему показывают, — те, вполне естественно, без колебаний объявляют несовместимым с самой сущностью сна всякое усилие и даже всякое упражнение внимания или воли. Я же, сознавая, что лучшими своими наблюдениями обязан именно тому, что во сне сохранял обе эти способности вместе, особенно постараюсь убедить читателя, что

он может и должен обрести ту же власть над собой. Мы подходим к применению — быть может, самому любопытному — по-настоящему новых положений, проверить которые на опыте предстоит каждому. И в самом деле, именно у совместного действия внимания и воли во время сна мы станем искать первые средства направлять его и изменять его ткань по своему желанию.

Напомним некоторые соображения, уже высказанные, но которые здесь важно держать в уме.

Наяву вы всегда властны на мгновение остановить мысль на каком угодно предмете, хотя бы его и не было перед вашими глазами; что же до итога этого акта внимания и воли, он не может пойти дальше простого и чистого представления, ибо лишь люди, подверженные галлюцинациям, и люди в экстазе наделены способностью видеть наяву предметы, которыми занят их ум.

Но если та же власть произвольно направлять мысль на заданный предмет принадлежит нам и во сне, что произойдет, когда мы ею воспользуемся? А то, что, поскольку сон есть изображение перед очами ума того, что занимает вашу мысль, как мы не раз говорили, вы тотчас увидите образ того, о чем по своей воле подумали, а следовательно, и увидели во сне; иными словами, вам приснится то, что вы захотели.

Эти начала, думаю, вполне ясны. Докажем, что вполне определенные акты воли и внимания встречаются во многих снах; докажем, что во сне можно направлять свои мысли, — и разве мы тем самым не докажем, что можно управлять своими снами по желанию?

Мне снится, что мой отец болен и меня зовут к нему; я пытаюсь прочесть на лице посланного правду, которую, боюсь, от меня скрывают. Скажут ли, что я разглядываю его без внимания? Мне кажется, что я тотчас сажусь в экипаж; в дороге возникает

несколько происшествий, вызванных, быть может, сами собой разными ассоциациями мыслей; но разве сама мысль о поездке не принадлежит моей воле?

«В другом сне, где мне кажется, будто я прогуливаюсь верхом в погожий день, мне вспоминается мое настоящее положение, а вместе с ним и вопрос: принадлежит ли мне во сне свобода моих воображаемых поступков или нет? Посмотрим, — говорю я себе, — эта лошадь — лишь иллюзия, эта местность, по которой я еду, — декорация; но если и не моя воля вызвала эти образы, мне все же кажется, что у меня есть над ними некоторая власть. Хочу скакать галопом — скачу; хочу остановиться — останавливаюсь. Вот передо мной две дороги. Правая, по-видимому, уходит в густой лес; левая ведет к какому-то полуразрушенному замку. Я ясно чувствую, что волен свернуть направо или налево и, следовательно, сам решить, хочу ли я вызвать ассоциации идей-образов, связанные с этими развалинами или с этим лесом. Сначала я сворачиваю направо, потом мне приходит в голову, что в интересах моих опытов лучше направить столь ясный сон в сторону башенок и донжона, потому что, постаравшись точно запомнить главные подробности этой архитектуры, я, быть может, проснувшись, смогу узнать, откуда взялись эти воспоминания. Итак, я выбираю левую тропу, спешиваюсь у очень живописного подъемного моста и несколько мгновений, пока еще сплю, очень внимательно рассматриваю бесчисленное множество подробностей, больших и малых: стрельчатые своды, резные камни, полуизъеденные ржавчиной железные оковки, трещины и выбоины стены, — любуясь тем, с какой тщательной точностью все это рисуется перед очами моего ума. Вскоре, однако, пока я разглядываю громадный запор старой ветхой двери, предметы вдруг теряют цвет и четкость очертаний, как фигуры диорамы,

когда отодвигают источник света. Я чувствую, что просыпаюсь; я открываю глаза в реальный мир; меня освещает лишь мой ночник; три часа ночи».

В этом сне, как мне кажется, соединены явные акты воли и внимания. Думаю, я могу утверждать, что, выбирая между двумя дорогами, лежавшими передо мной, я обладал свободой воли в той же мере, в какой обладал бы ею в действительной жизни. Я выбрал левую, в конце которой показался воображаемый замок. На этом избранном мною пути ассоциация идей доставила мне образы столь же точные и столь же разнообразные, как те, что доставила бы мне действительность. Я предоставил памяти вызывать те самые дорожные происшествия, неожиданность которых в жизни наяву принадлежала бы случаю; но образы возникали в порядке, который назначила им моя воля, и я так же действительно управлял своим сном, как «Спящий наяву» из «Тысячи и одной ночи».

Я не сомневаюсь, что если бы я предпочел свернуть на правую дорогу, ту, что уходила в лес, ассоциация идей и образов так же верно извлекла бы из кладовых моей памяти множество подробностей, отвечающих этому иному роду картин, к которым я направил бы движение своих мыслей. Вместо мостов, башенок и вековых стен я увидел бы всевозможные деревья, уходящие вдаль аллеи, быть может, какие-нибудь сцены охоты или разбойничьи сцены. Разумеется, моя воля как прямая причина была бы ни при чем в этих подробностях постановки, издержки которой взяла на себя память; но если бы мы захотели довести дух сравнения и разбора до крайности, разве не нашли бы мы и между законами, управляющими нашими ясными снами, и законами, которым подчинена действительная жизнь, одну из тех общих черт сходства, что так часто встречаются в делах этого мира, — то есть

разделение событий нашего существования на две доли: одну, подчиненную нашему произвольному почину, и другую, лежащую совершенно вне нас? Наяву, свободный настолько, насколько может быть свободен человек, я выхожу из дому и выбираю по своему усмотрению дорогу, которая приведет меня на Елисейские Поля, или другую, которая приведет в Люксембургский сад; но происшествия, которые встретятся мне по пути, приятные или досадные встречи, которые могут со мной случиться, — этот порядок фактов, очевидно, мне не принадлежит. Спящий и целиком отданный иллюзиям ясного сна, я властен сначала дать определенное направление движению идей-образов, которые составят основу сна; но самопроизвольные ассоциации, но неожиданные воспоминания — вот дорожные происшествия.

Из того, что действие воли кажется мне очевидным в некоторых снах, само собой разумеется, я вовсе не хочу вывести, будто оно проявляется в них постоянно. Не говоря уже о столь многочисленных снах, вызванных внешними или внутренними телесными ощущениями, и о не менее частых, когда ум, так сказать, отпускает поводья, есть много других, где ассоциация некоторых мыслей обретает такую сильную самопроизвольность, что даже воля была бы бессильна ее остановить. Так бывает прежде всего, когда вызванные образы способны возбуждать бурные чувства. Страха увидеть какой-нибудь образ обычно достаточно, чтобы он тотчас появился, — потому уже, что ум им занят; это факт, о котором мы уже упоминали; но не то же ли самое, если не считать образов, происходит наяву, когда мы тщетно пытаемся отогнать какую-нибудь мучительную заботу, неотступно нас преследующую? И, с другой стороны, сколько бывает снов, где нам кажется, что мы должны принять какое-то важное решение, где мы обдумываем, где мы распоряжаемся

сценой, которая разыгрывается у нас на глазах! Мне снится, например, что у меня в доме поймали вора, что его ко мне приводят и спрашивают, что с ним делать. Я на мгновение колеблюсь; наконец решаю отпустить его. Я вижу, как человек убегает. Разве сама эта картина не плод моей воли?

Если нам удастся твердо установить, что воля может сохранить во сне довольно силы, чтобы направлять бег ума по миру иллюзий и воспоминаний (как днем она направляет тело среди событий реального мира), нам легко будет убедить, что известная привычка упражнять эту способность, вместе с привычкой часто сознавать во сне свое настоящее состояние, постепенно приведет того, кто будет упорно работать над собой, к весьма убедительным результатам. Он не только сразу признает действие своей обдуманной воли в направлении ясных и спокойных снов, но вскоре заметит влияние той же воли и на сны бессвязные или страстные. Бессвязные сны под этим влиянием заметно упорядочатся; что же до снов страстных, полных бурных желаний или мучительных мыслей, то следствием обретенного сознания и свободы духа будет то, что из них уйдут тягостные образы и, напротив, станут являться отрадные иллюзии. Поскольку страх увидеть неприятные видения будет тем слабее, чем лучше понимаешь их пустоту, а желание увидеть пленительные — тем деятельнее, чем больше чувствуешь в себе власть их вызывать, желание вскоре станет сильнее страха; а так как образы рождаются из господствующей мысли, верх возьмет приятный сон. Так, во всяком случае, я объясняю себе в теории явление, которое на практике испытываю постоянно.

Эти факты влекут за собой слишком значительные последствия, чтобы мне не захотелось умножить примеры,

способные их подкрепить или прояснить. Итак, продолжаю приводить выдержки из собственного дневника.

Воля и внимание. — «Мне снилось, что я в садовой аллее. У меня было чувство, что я сплю; я подумал о разных задачах, решение которых хотел бы продолжить. Перед очами моего ума была ветка цветущей сирени. Я рассматриваю ее с несомненным *вниманием*. Вспоминаю, что читал, будто воспоминания обоняния редко бывают верны в наших снах; я беру ветку и прежде всего убеждаюсь, что запах сирени вызван в моей памяти ассоциацией связанных между собой впечатлений, которые пробудил этот воображаемый, но *произвольный* поступок. Теперь: это видение кисти сирени — целой, продолговатой, держащейся на кусте, такой, какой я ее наконец вижу, — неизменное ли оно, стереотипное воспроизведение образа-воспоминания, запечатленного в волокнах моего мозга, как сказали бы материалисты? В таком случае мое воображение и моя воля будут бессильны его изменить. Размышляя так, я сломал ветку и обрывал кисть сирени, отмечая после каждой оторванной частицы, как неизменно отчетливы были последовательные виды этого все уменьшавшегося букета и как точно они совпадали с тем, какими были бы, поступи я так на самом деле. Когда остался лишь совсем маленький букетик, я спросил себя еще, довершу ли я свое мнимое разрушение или остановлюсь на этом последнем изменении первоначального образа. Смею утверждать, что это действительно зависело от моего свободного решения. В эту минуту я проснулся».

Воля в виде желания. — «Мне кажется, что я на пустынной улице. Я вижу женщину, на которую напали двое убийц в масках. Мне нечем ее защитить. Я думаю о длинном ятагане, который украшает камин в моем кабинете. Если бы он был у меня под

рукой! Едва это желание внутренне сложилось, как я оказываюсь вооружен этим грозным клинком и пускаю его в ход как нельзя удачнее. Именно потому, что моя мысль крепко остановилась на этом предмете, его образ тотчас явился, и это совершилось так естественно, что я понял, что произошло в моем уме, лишь проснувшись».

— «Мне снится, что я в просторной комнате, богато убранной в восточном вкусе. Напротив дивана, на котором я сижу, — большая дверь, задернутая занавесями из шелковой парчи. Я думаю, что эти занавеси, должно быть, скрывают от меня какую-то неожиданность и что было бы очень мило, если бы они приподнялись и открыли взору прекрасных одалисок. — Тотчас занавеси раздвигаются, и желанное видение передо мной».

Направляющая воля. — «Мне снится, что я открыл великие магические тайны, с помощью которых могу вызывать тени умерших, а также преображать людей и вещи по прихоти своей воли. Сначала я вызываю перед собой двух человек, которых нет в живых уже несколько лет и чьи верные образы тем не менее являются мне с совершеннейшей ясностью. Я желаю увидеть отсутствующего друга — и тотчас вижу его лежащим и спящим на канапе. Я превращаю фарфоровую вазу в фонтан из горного хрусталя и прошу у него прохладного питья, которое тотчас струится из золотого крана. Несколько лет назад я потерял кольцо, о котором очень жалел. Оно мне вспоминается. Я хочу найти его; я высказываю это желание, устремив взгляд на маленький уголек, который поднимаю у очага, — и кольцо тотчас у меня в пальцах. Сон продолжается так до той минуты, когда одно из вызванных мною явлений очаровывает и пленяет меня настолько, что я забываю свою роль волшебника и погружаюсь в новую череду более жизненных иллюзий. Проснувшись, я

поражен мыслью, что одна лишь моя воля поочередно вызвала все эти образы. Правда, у меня не было чувства, что я игрушка сна; но тем не менее мне приснилось именно то, чего я хотел».

Внимание и воля. — То, о чем я рассказываю ниже, снилось, кажется, очень многим. По крайней мере несколько моих друзей, и в их числе самый знаменитый из наших карикатуристов, рассказывали мне почти такие же сны.

«Я не сознавал, что сплю, и мне казалось, что меня преследуют страшные чудовища. Я бежал через бесконечную анфиладу комнат, с трудом отворяя двери между ними и закрывая их за собой лишь затем, чтобы услышать, как их снова открывает это жуткое шествие, которое силилось меня настичь и испускало ужасные крики. Я чувствовал, что меня догоняют; я проснулся внезапно, задыхаясь, весь в поту.

Каково было происхождение и исходная точка этого сна, я не знаю; вероятно, в первый раз его породила какая-то болезненная причина, но затем, несколько раз в течение шести недель, его явно возвращало одно лишь впечатление, которое он у меня оставил, и страх, который я безотчетно испытывал перед его возвращением. Если во сне мне случалось оказаться одному в какой-нибудь запертой комнате, воспоминание об этом ненавистном сне тотчас оживало; я бросал взгляд на дверь, и, поскольку мысль о том, что я боялся увидеть, как раз и вызывала его внезапное новое появление, то же зрелище и тот же ужас повторялись тем же образом. Проснувшись, я тем более бывал этим удручен, что по странной роковой случайности сознание своего состояния, которое к тому времени так часто бывало у меня во сне, неизменно изменяло мне, когда возвращался этот сон. Однако однажды ночью, при четвертом его возвращении, в ту минуту, когда мои преследователи собирались вновь начать

погоню, чувство истины вдруг проснулось во мне; желание побороть эти иллюзии дало мне силу укротить безотчетный ужас. Вместо того чтобы бежать, я — усилием воли, несомненно вполне определенным в этом случае, — прислонился спиной к стене и решил с плодотворным вниманием рассмотреть призраков, которых до сих пор скорее мельком видел, чем разглядывал. Первый душевный удар был, признаюсь, довольно силен — так трудно уму, даже предупрежденному, защититься от пугающей его иллюзии. Я устремил взгляд на главного нападавшего, который походил на одного из тех взъерошенных, гримасничающих демонов, что высечены на порталах соборов, и, так как любовь к изучению уже брала верх над всяким другим чувством, я смог наблюдать следующее. Фантастическое чудовище остановилось в нескольких шагах от меня, шипя и прыгая так, что это становилось забавным, едва переставало быть страшным. Я заметил когти на одной из его рук или лап — как угодно их назовите, — числом семь и очень отчетливо очерченные. Волоски его бровей, рана, которая, казалось, была у него на плече, и бесчисленное множество других подробностей отличались точностью, позволявшей отнести это видение к самым ясным. Было ли то воспоминанием о каком-нибудь готическом барельефе? Во всяком случае, мое воображение прибавило к нему движение и цвет. Внимание, сосредоточенное мною на этой фигуре, привело к тому, что ее спутники исчезли как по волшебству. Сама она вскоре словно замедлила движения, потеряла четкость, приняла вид ваты и превратилась наконец в нечто вроде висящей пустой оболочки, похожей на те выцветшие костюмы, что служат вывеской лавкам маскарадных нарядов во время карнавала. Последовало несколько незначительных картин, а затем я проснулся».

Этот сон больше не повторялся — по крайней мере сам собой; но он дал мне повод к другому опыту, быть может еще более убедительному, относительно действия воли и внимания на ткань наших сновидений. Однажды ночью, когда я, спя, вполне сознавал свое настоящее состояние и довольно равнодушно смотрел, как проходит вся фантасмагория моего сна, впрочем очень отчетливая, мне пришло в голову воспользоваться этим, чтобы проделать несколько опытов над тем, есть ли у меня власть вызывать те или иные образы одним лишь почином своей воли. Ища, на каком предмете мне для этого остановить мысль, я вспомнил о тех чудовищных явлениях, которые некогда так сильно на меня действовали благодаря внушаемому ими ужасу. Я попытался их вызвать, тщательно отыскивая их в памяти и желая увидеть их вновь со всей силой, на какую был способен. Эта первая попытка не имела никакого успеха. Передо мной в ту минуту развертывалась совершенно пасторальная картина: поля, позолоченные ярким солнцем, а среди них жнецы и телеги, груженные хлебом. Ни единый призрак не являлся на мой зов, и ассоциация идей-образов, составлявших мой сон, по-видимому, вовсе не желала сходить с того мирного пути, на который она встала сама собой. Тогда, продолжая спать, я сделал следующие размышления. Так как сон есть как бы отражение действительной жизни, события, которые, как нам кажется, в нем совершаются, обычно следуют даже в самой своей бессвязности известным законам последовательности, согласным с обычным сцеплением всех действительных событий. Я хочу сказать, например, что если мне снится, будто у меня сломана рука, мне будет казаться, что я ношу ее на перевязи или пользуюсь ею осторожно; если мне снится, что в комнате закрыли ставни, у меня как прямое следствие явится мысль, что свет не проходит и вокруг меня

наступает темнота. Исходя из этого соображения, я подумал, что если во сне я закрою глаза рукой, то должен буду прежде всего получить первую иллюзию, соответствующую тому, что произошло бы со мной на самом деле, если бы я поступил так наяву, — то есть заставлю исчезнуть образы предметов, которые, казалось, находились передо мной. Затем я спросил себя, не будет ли моему воображению, когда этот перерыв прежних видений совершится, вольнее вызывать новые предметы, на которых я постараюсь остановить мысль. Опыт последовал вскоре за этим рассуждением. Рука, положенная во сне на глаза, действительно прежде всего уничтожила это видение полей в пору жатвы, которое я тщетно пытался изменить одной лишь силой воображения. Мгновение я оставался, ничего не видя, точно так же, как случилось бы со мной в действительной жизни. Тогда я вновь энергично воззвал к воспоминанию о памятном набеге чудовищ, и, словно по волшебству, это воспоминание, на этот раз четко поставленное в фокус моих мыслей, вдруг обрисовалось — ясное, яркое, бурное, — причем, пока я не проснулся, я даже не уловил, как совершился переход.

Это подтверждение на опыте психологического факта, который я сам предчувствовал теоретически, доставило мне столько радости и так сильно меня заняло, что в следующие шесть недель, шестнадцать раз сознавая во сне свое состояние, я девять раз сумел повторить это испытание воображаемым закрыванием глаз во сне как средство резко изменить ход ясного видения. С тех пор — а с той поры прошло более пятнадцати лет — я так часто пользовался своим способом, то чтобы превратить неприятный сон в приятный, то просто чтобы вызвать по желанию какой-нибудь образ, что не мог бы сказать, сколько раз подтвердился мой первый опыт. Приведу, однако, следующие

соотношения в отдельных результатах, полученных из сорока двух записанных наблюдений. Двадцать три раза успех полный, то есть происходит прямая и немедленная замена образа, который требовалось удалить, желанным образом. Тринадцать раз результат такой, что его можно назвать смешанным: воображаемое закрывание глаз уничтожает прежнее видение, но то, что приходит ему на смену, не вполне отвечает моим желаниям. Четыре раза в короткий миг смены образов сами собой происходят столь же быстрые, сколь и неожиданные ассоциации мыслей, вызывающие картины, совершенно чуждые тем, которых я сначала желал. Один раз видение, которое я хотел прогнать, вновь оказывается перед моими глазами, когда мне кажется, что я их открываю. Наконец, один раз попытка приводит лишь к пробуждению.

Очень часто одно наблюдение влечет за собой другое. То же рассуждение, что привело меня к только что описанным результатам, — рассуждение, основанное на том начале, что воображаемые события наших снов, как бы бессвязны они ни были в целом, тем не менее следуют в законах своего сцепления известной логике, заимствованной из воспоминаний действительной жизни, — это самое рассуждение, говорю я, навело меня на мысль, что если мне удастся поставить себя во сне в положение, в котором я никогда не мог оказаться в действительности, память будет бессильна доставить образ или ощущение, *вытекающие* из него, так что, как бы воображение ни выпуталось из этого тупика, непременно должен будет последовать резкий обрыв ткани сна. Выпрыгнуть из окна пятого этажа, пустить себе пулю в лоб или перерезать горло бритвой — вот, очевидно, ощущения, которых я никогда не испытывал; вызвать их во сне значило бы, следовательно, подвергнуть мой ум

любопытному испытанию. Я решил не упускать первого же представившегося случая, то есть первого ясного сна, посреди которого я вполне буду сознавать свое положение. Я ждал почти месяц: нужно иметь терпение. Наконец однажды ночью, когда мне снилось, что я гуляю по улице, когда все образы моего сна были очень отчетливы и я тем не менее прекрасно чувствовал, что не бодрствую, я вдруг вспомнил о задуманном опыте и тотчас поднялся на верхний этаж дома, казавшегося мне очень высоким; я увидел открытое окно и мостовую далеко внизу; я полюбовался мгновение совершенством этой иллюзии сна и, не дожидаясь, пока она исказится, бросился в пустоту, полный тревожного любопытства. И вот что случилось и в чем я, разумеется, отдал себе отчет лишь после того, как проснулся. Мгновенно утратив память обо всем предшествовавшем, я вообразил себя на соборной площади, в толпе любопытных, теснившихся вокруг разбившегося насмерть человека. Вокруг меня рассказывали, что этот незнакомец бросился с церковной башни, и я видел, как тело унесли на носилках. Вот как моя память и мое воображение выпутались из ловушки, которую я им расставил. Вот как поступила ассоциация идей-образов.

Мне довольно часто удавалось повторять этот опыт — бросаться во сне с высокого здания, в пропасть или в глубокий колодец. Всякий раз происходил какой-нибудь поворот мыслей, более или менее сходный с тем, о котором я только что рассказал. Однажды, когда я таким образом бросился на дно колодца, чтобы прекратить неприятный сон, мне приснилось, что я окружен волшебниками и астрологами, одетыми примерно как традиционный Матье Ленсберг из альманахов. Проснувшись, я отлично вспомнил, что в самый миг падения у меня мелькнула мысль о *звездочете, упавшем в колодец*. Переход яснее ясного. В

другой раз, когда мне показалось, что я прыгаю с высокого прибрежного утеса, мне вдруг приснилось, что я лечу на воздушном шаре.

Что до других вариантов, которые я хотел в свою очередь испытать, — перерезать себе горло бритвой или навести пистолеты себе в лоб, — должен сказать, что так ни разу и не смог довести испытание до конца. Однажды, когда мне удалось во сне взять в руку бритву, безотчетный ужас перед тем, что я хотел изобразить, оказался сильнее моей обдуманной воли. Что касается пистолетов, нужно было бы, чтобы какое-нибудь их видение сперва само собой явилось очам моего ума. В таком случае я, без сомнения, осуществил бы задуманный опыт. Но необходимость искать во сне это оружие и приготовлять его влекла за собой слишком много побочных мыслей, и под влиянием той подвижности образов, что свойственна снам, первоначальная мысль неизменно сбивалась с пути, прежде чем ее удавалось исполнить. Собираясь взять пистолеты, я, например, останавливал внимание на маленькой связке ключей, среди которых был ключ от их футляра. Заодно я замечал ключ от ящика стола, куда, как я помнил, убрал несколько фотографий. Одна из них вспоминалась мне, рисовалась перед моими глазами, захватывала мои мысли — и вот уже ум мой нисколько не думал о пистолетах.

В предыдущей главе я говорил об одном особом применении внимания во сне — как средстве продлить сон и усилить его глубину[7]. В условиях сознательного и спокойного сна, о которых там шла речь, внимание всегда может напрягаться без труда и без утомления. Есть другие случаи, надо признать, когда требуемое от него усилие оказалось бы бессильным и даже болезненным. Прежде всего, я считаю последовательное внимание почти

невозможным в тот переходный период от бодрствования ко сну, который есть по преимуществу царство безначалия мыслей и смешения образов. Оно очень трудно, когда самопроизвольная ассоциация идей, ускоряя ход, умножает перед очами ума образы, которым он не может не уделить доли любопытства или интереса. Очень нелегко отстранять повторяющиеся отвлечения; этому каждый день находятся примеры в действительной жизни. Во сне я несколько раз замечал, что если пытался, так сказать, уцепиться за какую-нибудь идею-образ, когда она стремилась ускользнуть, уступая место другим, я ощущал довольно сильную боль, которая словно сжимала мне виски и затем распространялась до самой глубины мозга.

---

[7] См. выше.

Я мог заметить также, что внимательное и долгое созерцание иллюзий наших снов гораздо труднее, когда оно обращено на живое существо, и особенно на лицо, чем когда дело идет лишь о мелких вещественных предметах. Образ цветка, листка, камешка может иногда довольно долго оставаться перед очами нашего ума без всякого изменения. Если же, напротив, вы попытаетесь пристально вглядеться в черты — красивые или некрасивые — какого-нибудь человека, редко бывает, чтобы через мгновение вам не явилась череда самых причудливых превращений. То совершаются быстрые подмены по сходству, то это пугающие метаморфозы, жуткие внезапные перемены, как на сцене: нос, который вытягивается и крутится вихрем, глаза, которые становятся совсем круглыми и начинают вращаться. Тогда возвращаешься в своего рода гипнагогический период. Сон, очевидно, нарушен.

Подведем итог: насколько непомерно было бы утверждать, что спящий человек может непрерывно упражнять внимание и волю над иллюзиями своих снов, настолько же ошибочно считать упражнение этих двух способностей несовместимым со сном.

Проследить и подчинить себе все фазы сновидения — этого я никогда не достигал и даже никогда не пытался. Но порой пользоваться вниманием и волей, чтобы разобрать какое-нибудь психологическое явление, удержать или вызвать отрадный образ, подстегнуть работу памяти, направить полет воображения, изменить ход мыслей, — вот действия, которые совершаются с подлинной легкостью, как только ум к ним привыкнет.

Я не закончу этот ряд наблюдений над силой воли во сне, не указав еще на одно волевое действие, которое сотни раз совершал над самим собой и которое, верно, испытали и многие читатели. Я говорю о том усилии, которым стряхивают сон и вызывают немедленное пробуждение, когда заметили, что стали игрушкой сновидения, и твердо решили из него выйти. Как действуют при этом волокна, как действуют мышцы? Где начинается усилие и где оно кончается? Я тщетно пытался отдать себе в этом отчет. Заметил я, однако, что при этом происходит довольно сильное сокращение в груди, а также в мышцах живота.

III. Наблюдения над тем, как во сне действуют способности рассуждать и судить

Как чувство действительности порой примешивается к обманам сна и почему неразумные суждения, которые мы выносим, вовсе не доказывают, что способность суждения ослабела или повреждена.

Наблюдения над тем, как мы рассуждаем и судим во сне, по-моему, вполне естественно следуют за наблюдениями над работой

внимания и воли.

Мы видели, что очень многие авторы отказывают уму спящего человека в способности здраво рассуждать и выносить обдуманные суждения. Посмотрим, что скажет нам на этот счет опыт:

«Мне кажется, что я в тире. Я уже дважды выстрелил из пистолета, и пули оставили следы рядом с яблочком. Стреляю в третий раз — и в тот же миг слышу жалобные крики. Сначала меня охватывает сильное волнение: я боюсь, не ранил ли кого-нибудь; но, взглянув на щит мишени, я вижу след последней пули. Раз она расплющилась о щит, она никого не могла ранить. Итак, за свою ответственность я спокоен; я хладнокровно отдаю пистолет служителю тира и спрашиваю у него, отчего были крики, которые я слышал».

В другом сне: «Мне кажется, что меня навещает родственник, жена которого несколько дней назад была при смерти. Я не решаюсь спросить его о ней, потому что он одет в черное. Однако я соображаю, что цвет его платья — еще недостаточное основание считать его в трауре. Надо взглянуть на шляпу. Обвита ли она крепом? И вот я непринужденно подхожу к столику, на который он положил шляпу, чтобы узнать, как обстоит дело, прежде чем завести разговор».

Разве это не достаточно убедительно?

Другие примеры рассуждения, которые очень часто встречаются в моих записях, — это те, где чувство моего действительного положения смешивается с впечатлениями от обманов, занимающих мой ум.

«Я болен, и меня занимает мысль, что утром мне надо принять микстуру. Мне это снится. Приготовленная микстура стоит на столике у моей кровати; мне кажется, что я только что проснулся,

и я собираюсь ее выпить, но замечаю, что она стоит передо мной в той чашке, в которой я привык ее находить, а между тем я отлично помню, что эту чашку накануне разбили и заменили другой, совсем иной формы. Отсюда я заключаю, что я игрушка сна и что, для того чтобы действительно выпить микстуру, мне надо сперва проснуться. Однако я рассуждаю, что сон мне нужен и что проснуться я всегда успею. Поэтому я не делаю никакого усилия, чтобы проснуться, а, напротив, отдаюсь обманам сна». Разве это не верное и вполне ясное рассуждение?

— «Мне снилось, что я в деревне». — На самом деле я в Париже. — «Ко мне приехал друг. Деревня зеленела, деревья стояли в летнем уборе». — Однако, как и в предыдущем сне, мной владела вполне определенная забота. Я хотел встать в шесть часов утра, чтобы встретить сестру, возвращавшуюся после довольно долгого отсутствия. — «В посещении друга, которого, как мне казалось, я принимал в деревне, не было ничего удивительного. Поэтому я мог без удивления принимать картины, представлявшиеся очам моей мысли. Но когда мне пришло на ум, что я жду сестру, что она должна приехать в Париж, а не в деревню, что сейчас зима, а не лето, я рассудил, что все, что я будто бы вижу, может быть только сном и что я, несомненно, сплю. В эту минуту я услышал, как бьет пять часов; я сосчитал все пять ударов. Это стало для меня доказательством, что я действительно в Париже, где живу рядом с церковью, часы которой бьют довольно громко. Отсюда я заключил также, что мне остается спать еще час, и, не давая уму задерживаться на мыслях, которые могли бы привести к пробуждению, я, напротив, сосредоточил все внимание на образах, вызванных моим воображением; я сжился с положением, в которое оно меня поставило; я гулял на солнце с другом, который у меня гостил, — словом, спокойно продолжал свой сон».

Еще пример:

«Я нахожусь под тяжким действием череды тех мучительных снов, в которых кажется, будто задыхаешься или, по меньшей мере, попадаешь в крайне неприятное положение. Но я чувствую, что сплю, и, зная, как трудно мне бывает снова заснуть, хотел бы переменить сон, не просыпаясь. Пробую несколько способов, которые я указал для этой цели. Они остаются без действия; мучительные видения все возвращаются. Тогда я замечаю, что левая щека кажется мне теплее правой. Я делаю вывод, что, по всей вероятности, лежу на левом боку и что, если мне удастся повернуться, характер моих видений, быть может, переменится. Тогда я пытаюсь во сне лечь на левый бок, а потом с известным напряжением воли повернуться на правый, в надежде, что мышцы действительно исполнят отданный приказ, как это часто бывает в снах, где человек жестикулирует». — Истина обязывает меня сказать, что опыт этот не удался: я проснулся от усилия, которое оказалось слишком уж настоящим; но рассуждение от этого не становилось менее складным.

В этот разряд снов, где рассуждаешь довольно верно, я мог бы включить почти все те, в которых пользовался сознанием своего действительного положения, чтобы прямо во сне изучать явления собственного сна. Приведу один, которому, быть может, место скорее в главе о памяти, но который вполне естественно ложится и сюда:

«Фоном моего сна стала улица, в которой я узнал одну из улиц Севильи, где не бывал уже десять лет; мне тотчас вспомнилось, что за поворотом этой улицы должна быть лавка одного из самых знаменитых мороженщиков, и мне стало любопытно, как справится моя память с испытанием, если направить сон в эту сторону. Итак, я пошел той дорогой, какой следовало идти. Я

снова увидел лавку с мельчайшей отчетливостью; узнал там всевозможные маленькие пирожные особенной формы, а среди прочих прохладительных — шербеты на молоке из лесного ореха, лакомство, которого я больше нигде не встречал. Тогда я подумал, что это драгоценный случай проверить, сумею ли я вспомнить вкус так же верно, как вспоминаю образы. Я выбрал один из этих воображаемых шербетов. Поднес его к губам, сосредоточил все внимание, чтобы хорошенько его распробовать, и так убедился, что память, оплошав, дает мне лишь приблизительно то ощущение, которого от нее требовали. Она находила вкус миндаля, а не лесного ореха. Я тотчас проснулся усилием воли, чтобы записать этот факт, показавшийся мне любопытным для изучения явлений памяти и не менее любопытным в том, что касается работы во сне способностей быть внимательным, рассуждать и судить».

Другой пример:

«Однажды вечером в Б…[1] я слышал, как кричат совы. Ложусь, и мне снится, что я только что приехал в Париж, и приехал ночью; в эту минуту те же совы, что кричали прежде, снова заводят свои неприятные крики. Я слышу эти крики посреди сна, в котором мне казалось, что я в Париже. И тогда я рассуждаю так: право, эти совы меня преследуют. *Вчера* я слышал их в Б…, *сегодня* слышу их опять в Париже. В то же время мне мерещится, что одна из этих птиц летит над крышами соседнего дома».

[1] Наш загородный дом.

Несколько аналитических замечаний по поводу этого последнего, столь простого сна:

1. Внешнее восприятие — крик совы — вносит новый элемент в уже идущий сон, но не придает самому сну нового направления.

2. Крик совы пробудил во мне мысль об этой птице, и подлинное ощущение, полученное слухом, тотчас вызвало согласную с ним галлюцинацию зрения. Мне показалось, что я вижу то, что слышал. Я встретил новое приложение того правила, что думать о чем-нибудь — значит видеть это во сне.

3. Хотя в конечном счете мой ум и привел меня к ошибочным впечатлениям, он ни на миг не переставал верно рассуждать об ощущениях, которые воспринимал. Ложные видения сперва убедили меня, что я в Париже и что стоит ночь; когда раздался крик совы, я инстинктивно заключил, что с тех пор, как я слышал крик сов в Б…, прошло по меньшей мере двадцать четыре часа, ведь в действительности я не мог бы в один и тот же вечер оказаться и в Б…, и в Париже, которые разделяют почти пятнадцать лье. Поэтому я думаю, что совы водятся в Париже так же, как в Б…, и что вот уже вторую ночь подряд они мне досаждают.

Так вот, если бы наяву у меня была галлюцинация зрения, которая заставляла бы меня, находящегося в деревне, верить, что я в Париже, и если бы я рассуждал вслух так, как рассуждал в этом сне, я был бы безумен, — и тем не менее мой ум верно рассуждал бы о полученных им впечатлениях.

Я уже сказал несколько слов об этом предмете для аналитического сравнения сна и безумия, который не ускользнул от Лемуана. Я не стану останавливаться на нем здесь дольше, чем делал это прежде, чтобы не уклоняться от дороги, которую себе наметил; но, как ни бегло было это указание, оно, надеюсь, достаточно оправдывает мнение, что если в очень многих снах мы выносим неразумные суждения, то оттого, что строим их на бессвязных обманах, а вовсе не оттого, что сама логика наших рассуждений повреждена или непоследовательна.

IV. Наблюдения над участием памяти и воображения в построении наших снов

Почему я объединяю эти наблюдения в одной главе. — Заметно ли меняются возможности и отправления воображения в наших снах? — Может ли память человека, который видит сон, достичь такой силы, какой она не имела бы у человека бодрствующего? — Может ли воображение показать нам во сне ясные и точные образы предметов, которых мы, однако, никогда не видели, не трогали и не слышали наяву? — Примечательное место из книги Мори. — Сны, в которых мы будто бы узнаем какое-то положение или лицо, совершенно незнакомые нам по пробуждении. — Сны, память о которых особенно хорошо сохраняется от одного сна к другому. — Причуды памяти. — Постоянная склонность нашего ума действовать путем диалога, когда он рассуждает или размышляет. — Сила умозаключения, которую воображение проявляет в сосредоточенности сна. — Воображаемые олицетворения. — Своего рода душевное раздвоение. — Когда память обретает наибольшую силу. — Сны, в которых воображение выступает творцом. — Психологические задачи.

Память и воображение — две способности, столь тесно связанные, что многие философы, и в особенности Дугалд Стюарт, отнесли к явлениям памяти, под именем *воображающей памяти*, часть умственных действий, которые другие писатели приписывают собственно воображению.

Мы уже говорили, что наяву человек далеко не подозревает, какими огромными запасами всякого рода наполнена его память, — запасами, собранными по большей части без нашего ведома, но которые ум во сне умеет находить с удивительной отчетливостью. Узнать происхождение образа так же уверенно, как в примере, приведенном в начале этой книги[2], — исключение очень редкое. Чаще всего невозможно определить, где в построении наших снов

кончается дело памяти в строгом смысле слова, то есть простое и чистое воспроизведение одного из тех бесчисленных впечатлений, воспоминание о которых мы накопили, и где начинается работа воображения подлинно творческого, то есть обработка материалов, доставленных памятью, образование сочетаний, предстающих в сравнительно новом виде.

---

[2] См. часть первую.

Эти соображения и заставляют меня соединить в одном разделе заметки, которые мне удалось собрать о двойной роли воображения и памяти в наших снах. Надеюсь, они помогут прояснить в особенности три вопроса, по которым я уже не раз давал почувствовать свой взгляд:

1. Заметно ли меняются возможности и отправления памяти и воображения в наших снах?

2. Может ли память человека, который видит сон, достичь такой силы, какой она не имела бы у человека бодрствующего?

3. Может ли воображение показать нам во сне ясные и точные образы предметов, которых мы, однако, никогда не видели, не трогали и не слышали наяву?

Одно место из книги Мори как будто отвечает на все три вопроса сразу. Я далек от того, чтобы принять объяснения, которые следуют дальше, и считаю излишним их приводить, но к этому столь хорошо изложенному началу присоединяюсь вполне:

«Следовало бы рассмотреть трудный вопрос о происхождении и зарождении этих идей-образов, которые не всегда бывают простым воспроизведением воспринятых ощущений, но бывают и новыми сочетаниями элементов прежних ощущений; ведь внутреннее око видит тогда предметы, которых никогда не созерцало, внутреннее ухо может слышать напевы и мелодии,

которые никогда его не касались. Глаз, ухо и вообще чувства обладают способностью сочетать, которая происходит от творческой силы воображения. Элементы, которыми они пользуются, доставлены уже воспринятыми ощущениями, но способ их соединения и группировки нов, и отсюда рождаются образы и звуки, отличные от тех, что были восприняты прежде[3]».

[3] Альфред Мори. *Сон и сновидения*, с. 102.

Посмотрим теперь на разные примеры снов, где в игру вступают главным образом память и воображение.

«Мне снится, что я смотрю, как мимо проходит густая толпа, будто возвращающаяся с фейерверка или иного празднества того же рода. Я стараюсь хорошенько рассмотреть прохожих и просыпаюсь, ясно удерживая в уме образ одного из них».

Тогда мне кажется, что я вспоминаю, — и проверка это подтверждает, — что этот образ в точности воспроизводил раскрашенную гравюру, принесенную модным журналом несколькими днями раньше; но гравюра была лишь плоской картинкой, без объема и без движения, тогда как я только что видел фигуру действующую и живую, ростом и обликом как настоящее существо. Значит, моя память сумела во сне восстановить все подробности образа, на который наяву я взглянул лишь на миг и рассеянно. Значит, и мое воображение сумело привести этот образ в движение и оживить его.

— «В другую ночь мне снится, что я вижу молодую женщину с золотыми волосами, которая беседует с моей сестрой и показывает ей небольшую вышивку по канве своей работы. Во сне мне кажется, что я прекрасно ее узнаю; у меня даже есть чувство, будто я встречал ее много раз. Однако я просыпаюсь, и это лицо, еще стоящее перед моей мыслью, кажется мне теперь совершенно

незнакомым. Я снова засыпаю; то же видение повторяется. Во сне я сохранил сознание тех мгновений пробуждения, которые только что пережил, и того впечатления, что перед очами моего ума было лицо, которого я прежде никогда не видел. Вернувшись к обманам сна, я этому удивляюсь; спрашиваю себя, как могла настолько изменить мне память, и, смешивая бессвязность сна со смутным воспоминанием о мысли, которую хочу прояснить, подхожу к белокурой молодой женщине и спрашиваю у нее самой, не имел ли я уже удовольствия с нею встречаться. „Разумеется, — отвечает она, — вспомните морские купания в Порнике“. Эти слова меня поражают. Я просыпаюсь окончательно и тогда отлично припоминаю обстоятельства, при которых, сам того не подозревая, запечатлел этот прелестный образ-воспоминание[4]».

[4] Обратное явление также записано в моих заметках. Я вижу во сне человека, который кажется мне незнакомым. Просыпаюсь — и тотчас вспоминаю, кто он.

Если сопоставить этот пример с тем, что приведен выше, станет видно, что он из той же семьи, и, как и тот, он послужит доказательством, что сила памяти, особенно той памяти, которую англичане называют *fancy*, бесконечно больше во сне, чем наяву.

Тайники нашей памяти подобны огромным подземельям, куда свет ума никогда не проникает так хорошо, как тогда, когда он перестал светить вовне. Пусть же не удивляются, если во сне с чудесной ясностью видят людей, давно умерших или давно отсутствующих, если находят в мельчайших подробностях места, где некогда бывали, напевы, которые некогда слышали, или даже целые страницы, прочитанные несколько лет назад.

Один мой друг, превосходный музыкант, рассказывал мне, что однажды ему приснилось, будто он слышит замечательную пьесу в исполнении бродячих певцов; проснувшись, он ее вспомнил, не сохранив при этом никакого воспоминания о том, чтобы когда-

либо прежде читал ее ноты или слышал ее, и тотчас тщательно записал, уверенный, что она сама пришла ему на ум во сне. Каково же было его удивление, когда несколько лет спустя он нашел эту пьесу в сборнике старинной музыки, случайно попавшем ему в руки. Напрасно старался он вспомнить, когда и как прочел ее или услышал впервые. Это воспоминание, столь отчетливо ожившее во власти сна, не открывалось уму бодрствующего человека даже самым смутным образом.

Я и сам собрал немало примеров того же рода, менее поразительных, но не менее достоверных. Дело в том, что воспоминания, ожившие во сне, хотя наяву их было совершенно не отыскать, тем не менее существовали, скрытые в каком-нибудь дальнем углу кладовых памяти. Прихотливая цепь мыслей внезапно бросила на них отблеск, быстрый, как молния, а когда отблеск погас, они снова исчезли, подобно затерянным в поле кустам, которые на миг освещает молния грозовой ночью и которые тотчас снова уходят во тьму.

Сколько же подобных подвигов памяти должен совершать ум каждого из нас, когда дело касается огромной семьи воспоминаний, приобретенных зрением? Кто из нас, пораженный странностью какого-нибудь лица или картины, которые он только что видел во сне и которые, как ему кажется, видел впервые, мог бы утверждать, что ничего подобного ему никогда прежде не встречалось — ни наяву, ни в каком-либо изображении?

Если порой новое появление этих образов кажется нам совершенно новым, то в другой раз смутное воспоминание говорит нам, что они нам не вовсе незнакомы. У восточных философов и поэтов встречаются места, относящиеся к мысли о прежнем существовании, которые, как мне кажется, были внушены им именно такими снами, где мы видим вещи, будто бы

знакомые нам издавна, хотя по пробуждении не помним, чтобы когда-либо действительно их знали. То это положение, тягостное или прелестное, то жилище, внутренность которого мы угадываем прежде, чем переступили его порог, то лица дружеские или внушающие страх.

В противоположность этому, и чтобы продолжить обзор таинственных действий памяти и воображения во сне, упомянем явление, которое, хотя и реже, все же случается довольно часто. Это тот случай, когда воображение создало во сне какое-нибудь сравнительно новое сочетание мыслей или образов, особенно поразившее ум, и это сочетание позже повторяется в других снах, словно речь идет о воспоминании о чем-то действительном. Тогда его отлично помнишь от одного сна к другому, тогда как отчетливое впечатление от снов такого рода как раз из тех, что быстрее всего стираются по пробуждении.

Странные чередования ослепительного припоминания и непреодолимого забвения!

Каждый из тех, кто прочтет эти страницы, наверняка испытывал еще и то, о чем я попробую ему напомнить:

Засыпаешь или, по крайней мере, задремываешь, перебирая в уме некий ряд связанных между собой мыслей, складывающихся в какое-нибудь рассуждение, догадку или воздушный замок. Нас будит легкий шум. Всего секунду назад весь этот ряд мечтаний во всех подробностях стоял перед нашей мыслью — и вот мы уже не можем поймать его нить; часто мы забыли даже главную мысль. Мы чувствуем, что новая дремота, быть может, вернула бы нас в тот же круг мыслей, но что всякое усилие отыскать его наяву останется бессильным. Не потому ли это, что воспоминания, приобретенные *действительно*, то есть приобретенные вследствие ощущений (телесных или душевных), *действительно*

воспринятых, занимают с той поры свою особую ячейку и сохраняют неизменно определенный облик в архивах нашего ума? Что воображение хоть и властно извлекать их оттуда во сне, смешивать и составлять из них самые прихотливые сочетания, но не имеет силы вырезать эти новые произведения на скрижалях памяти? И что, наконец, — если снова заимствовать у фотографии выразительное сравнение, — лишь образы, обязанные своим происхождением действительной жизни, оставляют на этих скрижалях прочный отпечаток, тогда как чисто воображаемые построения исчезают, как простое отражение пропадает с зеркала камеры-обскуры, когда нет средств, способных его закрепить?

Один знакомый мне художник сравнивал то, что тогда происходит в памяти, с тем, что случилось бы перед нашими глазами, если бы расписная штора, которой мы любуемся, вдруг свернулась. Я же спрашивал себя: не бывает ли так, что в миг, когда рвется легкая ткань этих прихотливых сочетаний, каждая из составлявших ее мыслей с быстротой свертывающейся шторы возвращается на свое место, изначально и окончательно приобретенное в ячейках наших воспоминаний? И все же оставалась бы нерешенной задача: почему от одного сна к другому мы порой с совершенной ясностью вспоминаем все подробности одного из тех воображаемых положений, уже виденных прежде во сне, память о которых в самый миг пробуждения ускользает от всех наших усилий припомнить?

Мне снится однажды ночью, что я только что был свидетелем сцены ревности и насилия, вслед за которой у меня на глазах совершается убийство. Я просыпаюсь под действием сильного волнения, которое это во мне вызвало, и тем не менее все это так быстро стирается из памяти, что мне нечего занести в дневник снов, кроме самого факта, с какой быстротой исчезло

воспоминание. Проходит несколько недель. И тогда мне снится второй сон, в котором меня будто бы вызывают в суд свидетельствовать о том, что я видел. В этом втором сне я превосходно помню и мельчайшие подробности ссоры, и лицо жертвы, и лицо убийцы.

В другой раз мне кажется, что я еду в вагоне с семейством: пожилой господин, его жена и две дочери, весьма примечательные изяществом осанки и пленительным своеобразием черт. Я просыпаюсь, не сохранив об их лицах даже того смутного впечатления, какое приятная или досадная встреча всегда ненадолго оставляет в уме. На следующую ночь я как бы продолжаю свой сон; мне кажется, что я в Швейцарии, в столовой гостиницы, где остановился накануне вместе со своими спутниками по железной дороге. Время завтрака. Пожилой господин с семьей садится за стол напротив моего; я с совершенной отчетливостью вновь вижу обеих девушек и снова вволю любуюсь этими прелестными образами, так и не зная, в конце концов, обязан ли я первым их отпечатком памяти или же воображению.

Подобные факты приводят и подтверждают Мори, Бриер де Буамон и многие другие. Эти авторы не дают им объяснения, и я тоже не притязаю на то, что нашел его. Поскольку я стремлюсь не прояснить все на свете, а хотя бы указать по возможности все любопытные стороны предмета, который мы изучаем, я ограничиваюсь тем, что обращаю на этот разряд наблюдений внимание психологов. Впрочем, мне еще представится случай вернуться к нему, когда речь пойдет о характере и ценности умственных трудов, которые совершают во сне.

Другое наблюдение, которое меня поражает, — постоянная склонность нашего ума действовать путем диалога, обращаясь к

самому себе, едва он начинает рассуждать или размышлять. Едва начинается сон, как уже кажется, что завязалась беседа с каким-нибудь воображаемым лицом. А эти диалоги очень часто показывают нам, с какой поразительной уверенностью наша память умеет собрать воедино все отличительные черты лиц, которых она сочла нужным вызвать. Бессвязные сны, конечно, порождают весьма нелепые несообразности, но в бесчисленных ясных снах — с какой точностью, с какой мелочной правдивостью мы приписываем людям, с которыми беседуем во сне, мнения, которые они отстаивали бы, слова, которые они сказали бы, и даже интонации, какие они придали бы своей речи! Драматический писатель, который старается хорошенько уловить те или иные характеры, чтобы вывести их на сцену, редко даже после долгого труда получает портреты, нарисованные так тонко и так верно.

В ту пору, когда мне было поручено составить довольно важную записку, которую до окончательного принятия должны были прочесть совету из трех лиц, мне приснилось в ночь перед днем этого чтения, что я как раз только что ее прочел и что о ней завязывается обсуждение. Одно из трех лиц одобряло без оговорок; второе просило лишь немногих легких изменений, указывая их характер и значение. Третье поначалу желало изменений более значительных, но, казалось, мало-помалу склонялось к обоснованному мнению двух других, когда случайное обстоятельство меня разбудило. И вот, когда состоялось настоящее чтение, все произошло в точности как в моем сне. Если не считать отдельных выражений, обсуждение было почти тождественным.

Я не увидел в этом ничего сверхъестественного; но все же должен был подивиться силе умозаключения, которую проявило

мое воображение благодаря сосредоточенности сна.

Впрочем, у этого разряда снов есть весьма примечательная разновидность. Не становясь выразителями какого-либо лица, чужого нам, мы порой находим в самих себе, путем своего рода душевного раздвоения, все составные части весьма оживленного спора. Мы отстаиваем тогда доводы за и против занимающих нас мнений; то мы защитники одной из спорящих сторон, то, судьи более или менее беспристрастные, будто бы просто присутствуем при споре воображаемых существ, которых сами заставляем говорить. Не знаю разбора, более богатого любопытными наблюдениями, чем разбор таких споров, где наша совесть, наши инстинкты, все внутренние голоса наших страстей звучат устами характерных лиц, в образе которых наше воображение сочло нужным их вызвать.

Всегда многозначительные, эти олицетворения нередко исполнены поэзии. Один из самых близких моих друзей рассказал мне, что за несколько дней до заключения брака, — которым он, впрочем, остался очень доволен, но в отношении которого тогда еще сильно колебался и пребывал в большом затруднении из смутного страха перед неизвестным, — он видел сон, в котором попеременно слушал речи двух женщин; они давали ему советы, подходящие к обстоятельствам, и каждая старалась его убедить. Одна, молодая блондинка, изящная и очень хорошенькая, живо рисовала исключительное счастье, на которое позволено надеяться раз в жизни, если сумеешь взять в жены девушку, к которой чувствуешь неодолимое влечение. И, напротив, рисовала безотрадную картину всех сожалений, какие могут последовать за союзом без истинной сердечной склонности. Она не допускала, чтобы женились без ярко выраженной привязанности, и полагала, что малейшее колебание в таком деле должно разом остановить

всякого человека, которому посчастливилось внять верному голосу. Другая, серьезная, не столь молодая, одетая в черное, с улыбкой скорее грустной, чем строгой, опровергала эти пылкие доводы. Она называла мечтами то, что белокурая защитница именовала мудростью; она показывала чисто серьезную сторону брака, опасность иных восторгов и иных душевных перемен. Она отвергла бы мысль о союзе, к которому одна из сторон питала бы хоть малейшее отвращение; но раз ничего подобного не говорилось, а благоприятных условий сошлось очень много, она полагала, что именно это последнее соображение должно перевесить.

Друг, рассказавший мне это, не знал, которой из двух советчиц довериться. Выслушав их подолгу, он был нерешительнее прежнего — следствие весьма естественное, ведь он сам разыграл в диалоге чувства, боровшиеся в его собственном сердце. Проснувшись, он не мог вспомнить, чтобы когда-либо знал хоть одну из этих дам, хотя во сне нисколько не удивлялся, что они принимают такое участие в его затруднении. Так не заключит ли всякий, кто хорошенько разберет этот сон, что он имел дело как раз с очень давними знакомыми; что нов был лишь облик, в каком они предстали очам его ума; что, словом, это его воображение и его рассудок, остроумно олицетворенные, вели спор, который он только что слышал?

Вот еще два сна в форме диалога, где моя память проявит самую прихотливую неровность.

«Мне кажется, что я в английской гостинице и разговариваю по-английски с хозяином. Он говорит очень быстро и многословно. Я прекрасно его понимаю, хотя мне и нелегко за ним поспевать. Но для ответа я подыскиваю слова, некоторых выражений мне недостает, и ухо мое улавливает большую разницу

между моим неправильным выговором и выговором настоящего англичанина, с которым я беседую».

— «Я встречаю на улице молодого человека, который кажется мне знакомым, и подхожу к нему; мы пожимаем друг другу руки, внимательно друг на друга смотрим. (Мой сон очень ясен.) „Но я вас совсем не знаю“, — говорит мне тогда этот человек, продолжая свой путь. А я, весьма смущенный, вынужден признаться себе, что и в самом деле совсем его не знал».

В первом из этих двух снов моя память, заставляя воображаемое существо говорить на чужом языке, находит такую легкость речи, какой у меня самого наяву нет и какой она, впрочем, не дает мне в том же сне для моих собственных речей.

Во втором она вдруг достает из своих ячеек образ, который поначалу смутно узнает, но потом опознать не может; и воображение вкладывает в уста этого загадочного лица ту мысль, которую внушила мне внезапная оплошность самой моей памяти.

В моем дневнике я нахожу еще одно наблюдение, которое, как мне кажется, довольно естественно примыкает к предыдущим:

«Мне кажется, что я беседую с особой, которую некогда встретил на водах, и прошу ее помочь мне вспомнить название очень живописного разрушенного замка, вокруг которого мы вместе гуляли. Она ничего не помнит. Я напоминаю ей несколько подробностей, способных оживить ее воспоминания. Она упорно не понимает, о чем я говорю, или называет мне совсем не те имена, что я ищу; а я теряю терпение и сержусь, не понимая, как при таких точных указаниях она не может ответить на мой вопрос».

Не своего ли рода это ссора между *я* и одной из его способностей, олицетворенной вне его самого? И не могло ли бы изучение того, как совершается работа ума в подобных снах,

облегчить изучение способностей разумения у бодрствующего человека?

Впрочем, довольно, чтобы какое-нибудь действие памяти во сне показалось превосходящим обычную меру сил этой способности наяву, — и воображение весьма склонно объяснить это какой-нибудь причиной, лежащей вне нас.

Так, вспомнив во всех подробностях один научный спор, при котором я присутствовал несколько лет назад, я вообразил, что мне читают его письменный отчет. В другом сне, не менее ясном, где мне очень отчетливо и очень последовательно припомнился целый ряд мелких исторических анекдотов на одну тему, я вообразил, что слушаю их из уст профессора на кафедре. Особенность весьма примечательная, показывающая, как далеки мы от того, чтобы подозревать о собственных познаниях: мне казалось, что все, что я так рассказывал самому себе, я слышу впервые; я находил в этой неожиданности много прелести и восхищался занимательной ученостью оратора.

В другом сне: «Мне кажется, что я расспрашиваю сомнамбулу о нескольких предметах, которые меня очень занимают. Она отвечает на все с таким знанием самых тайных моих мыслей, что я остаюсь ошеломлен. Она дает мне советы и разъяснения, поражающие меня своей верностью. Я удивлялся, что сам не догадался о тех истинах, которые мне были доказаны, а между тем открытие этих истин было лишь следствием сопоставлений и выводов, совершившихся в моем собственном уме».

Относительно всех этих речей, которые ведут лица наших снов, заметим еще, что то обстоятельство, что они выражают наши собственные мысли, нисколько не мешает им часто заключать для нас много подлинно неожиданного. Поскольку ответы воображаемого лица, с которым мы будто бы беседуем,

складываются как бы без нашего ведома, без всякого усилия с нашей стороны и единственно действием ассоциации идей, из них могут рождаться рассуждения и проблески памяти, которые нас удивляют, потому что наяву мы никогда бы к ним не пришли.

Очень часто бывает также, что фраза или даже слово из этих бесед вдруг бросает нас в совсем другой сон, мгновенно вызывая иной круг мыслей, и притом с таким резким переходом, что мы даже не вспоминаем о вопросе, повлекшем эту внезапную перемену декораций.

Обман, будто мы непричастны к работе собственной памяти, к тому же заметно увеличивает силу этой способности, которая всегда тем щедрее раскрывается, чем непроизвольнее развертывается. То, что происходит во сне, тогда вполне согласуется с тем, что мы можем наблюдать наяву: чтобы найти какой-нибудь музыкальный мотив или поймать ускользающие от нас стихи, отрывки из книг, мы не знаем ничего лучше, как попробовать совершенно машинально повторять то немногое, что о них помним. Так мы предоставляем памяти выпутаться самой; мы инстинктивно понимаем, что усилия внимания лишь смутили бы ее или сбили с пути.

Приведенные примеры, быть может, уже решили в утвердительном смысле вопрос о том, обретает ли память во сне такую силу, какой у бодрствующего человека она не имеет никогда. Рассмотрим теперь несколько рассказов о снах, где особенно проявляется творческая сила воображения.

«Мне приснилась девушка в античном одеянии, которая без всякого вреда для себя играла несколькими раскаленными кусками железа. Всякий раз, как она к ним прикасалась, длинные языки пламени на миг повисали у нее на пальцах, а когда она

затем терла руки одна о другую, из них брызгал дождь искр, с треском разлетавшихся во все стороны».

Очевидно, ничего подобного я не мог видеть в действительной жизни, по крайней мере в целом; однако каждый из образов, составлявших это целое, мог быть порознь собран моей памятью. Я мог видеть на какой-нибудь настоящей картине девушку, одетую так же. Я, несомненно, видел наяву языки пламени, искры и т. д. Значит, этот составной сон ничего не доказывает относительно творческой силы воображения; но рассмотрим другой: пусть он будет несуразен и наивен по форме, лишь бы был доказателен по существу.

«Передо мной на очень низком столе стоит стеклянный сосуд необычной формы. Он, кажется, наполнен водой, и какое-то лицо сообщает мне, что эта жидкость обладает свойством делать прозрачными, не отнимая у них при этом жизни, всех животных, которых в нее окунают на несколько мгновений. Я удивляюсь и выражаю сомнение — вещь довольно естественная. В эту минуту в углу комнаты мяукал кот; я беру его, бросаю в сосуд и наблюдаю, что выйдет. И вот я вижу, как животное мало-помалу теряет прежний вид и становится светящимся, просвечивающим, прозрачным — словом, как сам хрусталь. Ему, видимо, совсем удобно в сосуде; он плавает, вытягивается, вскоре ловит такую же прозрачную, как он сам, мышь, которой я до того не замечал; и благодаря странному превращению, совершившемуся с этими двумя существами, я различаю останки несчастного грызуна, спускающиеся в желудок его свирепого врага».

Мог ли я когда-нибудь видеть наяву что-либо подобное? Даже если предположить, что мысль об этом видимом пищеварении могли подсказать мне смутные воспоминания о газовом микроскопе, мое воображение все равно приняло в этом сне

вполне явное участие, ведь с любопытством я разглядывал совершенно отчетливого кота, а не какую-нибудь инфузорию.

В другую ночь, после дня, когда я долго и очень внимательно рассматривал собрание китайского фарфора, «я увидел во сне множество крошечных лилипутских фигурок, сложенных и одетых со всем своеобразием пропорций, форм и красок, которое отличает роспись по фарфору Поднебесной империи. Все это ходило, двигалось, действовало — словом, являлось в видах, совершенно отличных от тех, какие моя память могла бы удержать в застывшем облике».

Я пропускаю с десяток подобных примеров и перехожу к нескольким последним наблюдениям, более позднего времени, которые окончательно меня убедили: «Я чувствовал, что крепко сплю; все мелкие предметы, наполняющие мой рабочий кабинет, отчетливо представлялись очам моей мысли. Остановив тогда внимание на фарфоровом подносе с весьма своеобразной росписью, на который я кладу карандаши и перья и который совершенно цел, я вдруг стал рассуждать так: я никогда не мог видеть этот фарфор иначе как целым. Что же будет, если я разобью его во сне? Как мое воображение представит себе разбитый поднос? Я тотчас совершаю воображаемое действие — разбиваю его вдребезги. Беру осколки, внимательно их рассматриваю; вижу изломы с острыми краями, различаю узоры, рассеченные зубчатыми трещинами и местами неполные. Редко мне снилось что-либо столь ясное. Вскоре я снова провалился в сон и несколько мгновений пребывал в обмане, который, впрочем, довольно хорошо показывает, как во сне у меня попеременно сменяются сознание своего положения и забвение его. Торопясь записать только что наблюденное, я думал, что уже взял перо, и продолжал свой сон, воображая, что пишу рассказ об этом самом

сне. Вскоре я снова обрел чувство своего действительного положения; сделал усилие, стряхнувшее сон, и проснулся по-настоящему».

— «Я смотрелся в волшебное зеркало, где видел себя попеременно в самых разных обликах: причесанным и выбритым на всякий лад, сперва помолодевшим и необычайно похорошевшим, затем одутловатым, пожелтевшим, больным, беззубым, постаревшим на двадцать лет. Мое лицо постепенно проходило через эти последовательные изменения и в конце концов приняло такое страшное выражение, что я внезапно проснулся».

— «Не могу определить, в каком фантастическом мире или, вернее сказать, в каком хаосе я побывал этой ночью. Неведомая сила быстро несла меня сквозь пространства, населенные огромными вещами, которым мне трудно было бы подобрать имя и которые, как и я, мчались в пустоте. Казалось, это были маленькие планеты, почти в форме чудовищных животных. Каждую минуту мне казалось, что я разобьюсь о те, что неслись мне навстречу, но вместо этого я проходил сквозь них, как сквозь тени, не испытывая ни малейшего толчка, не ощущая ничего, кроме мгновенной темноты, пока, как мне представлялось, нахожусь внутри этих странных болидов. Я уже перестал пугаться их приближения, когда заметил один, состоявший из скопления человеческих тел, пронзенных и переплетенных так, что голова или руки одного казались приросшими к середине спины или груди другого, и в этой массе плоти нельзя было различить ни одного целого тела. Мысль, что меня бросит туда, привела меня в ужас, и, так как чувство действительности возвращалось ко мне под действием испытанного волнения, я стряхнул этот дурной сон, столь полный невероятных невозможностей».

Итак, следует признать в принципе, и притом на основании многочисленных наблюдений, что воображение может так обработать материалы, доставленные памятью, что составит из них образы, действительно невиданные в своем целом, такие, что ничего подобного нашим глазам наяву никогда не являлось. Но где же теперь остановится эта творческая сила? Может ли воображение под влиянием сна достичь подъема, равного в своем роде тому, какой проявляет наша память? Не связаны ли эти два психологических явления между собой? Не относится ли изобретение к воображению и памяти так же, как суждение — к вниманию и сравнению? Предоставляю читателю самому поразмыслить над этими вопросами, решать которые я бы не отважился, и предоставляю ему также судить о выводах, которые можно извлечь из нижеследующего сна. Впрочем, я привожу его скорее как задачу, которую предстоит решить, чем как довод в пользу какого-либо вполне определенного положения.

«Мне снилось, что я упражняюсь, переписывая по памяти, чтобы хорошенько выучить наизусть, своего рода речь, которую мне предстоит произнести. Я прочел свой черновик от начала до конца и пытался переписать его, не глядя. Время от времени я запинался; перо мое останавливалось — память мне изменяла. Тогда я обращался к черновику, проверял сомнительное место и *тотчас же* снова подхватывал нить сочинения, как если бы у меня в действительности был перед глазами написанный текст».

Не ставит ли этот сон довольно странную психологическую загадку? Когда наяву мы заглядываем в рукопись, чтобы вспомнить мысли, закрепленные в ней письмом, на помощь памяти приходит зрение — через действительное посредство условных знаков, *действительно* нанесенных на бумагу; но во сне, где все — лишь обман и умственная работа воображения и

памяти, каким образом мог действовать мой ум, чтобы память, казалось, получала помощь от одной лишь мысли, будто я заглядываю в рукопись, — рукопись, которая сама могла явиться очам моего ума лишь усилием воображения или памяти, если не деятельным соединением этих двух способностей?

Многие вопросы такого рода еще долго останутся нерешенными. Те, что прямо касаются памяти, порой найдут точное решение, когда особое стечение обстоятельств позволит установить, что здесь была лишь работа этой способности там, где сначала казалось, будто все сделало воображение. Но, размышляя о некоторых подвигах памяти, часто будешь колебаться, можно ли утверждать, что та или иная поражающая нас сцена или картина — произведение исключительно нашей способности воображать.

Как решить, например, относительно последнего наблюдения, вот какого: «Я листал во сне большой альбом, полный акварелей и гуашей изысканной тонкости, которые изображали попеременно — смесь довольно странная — то архитектурный памятник, то образец ковровой вышивки. Памятники казались мне столь же замечательными своей красотой, как и разнообразием стилей. Образцы вышивки восхищали меня сочетанием красок не меньше, чем своеобразием рисунков. Один из этих рисунков нравился мне особенно, так что я уже собирался попросить у владельца альбома позволения его скопировать, когда, к великому моему сожалению, проснулся».

Несколько мгновений, хотя я уже проснулся, этот прелестный рисунок так живо стоял перед очами моего ума, что казался нарисованным на пологе моей кровати, и я надеялся воспроизвести его кистью. Но едва я встал, как еще раз убедился, с какой быстротой исчезают впечатления иных снов. Я не сумел набросать даже смутного эскиза. Что же до того, видел ли я когда-

нибудь наяву что-либо подобное, — об этом у меня нет ни малейшего воспоминания.

Творческому ли воображению, поднятому действием сна до чудесной степени силы, следует приписать мгновенное создание всех этих рисунков? Или же это память, во власти не менее удивительного сосредоточения сил и благодаря ассоциации идей, сумела тотчас извлечь из самых сокровенных своих тайников и собрать как бы в альбом целый ряд воспоминаний, накопленных ею незаметно для нее самой[5]?

[5] Не следует забывать того, как я полагаю, бесспорного факта, что воображение во сне часто переводит видения, вызванные памятью, из одного разряда в другой. *Образ-воспоминание* мозаики может стать изображением витража, образ витража — представиться ковром и т. д.

К какому бы из этих двух объяснений ни склоняться, сам факт тем более достоин внимания, что он вовсе не исключителен. Многие говорили мне, что у них бывали подобные видения, то есть что им казалось, будто во сне они с совершенной отчетливостью видят произведения искусства или фантазии, которых, насколько они помнили, никогда прежде не видели и которые, по их собственному мнению, были бы совершенно не способны вообразить наяву.

Сказанное мною о памяти на предыдущих страницах относится к памяти вообще. Закончу наблюдением, касающимся особой памяти, которую можно сохранять в одном и том же сне о различных эпизодах, из которых он состоит. Если это ряд сцен и картин, которые следуют друг за другом и связываются с известной логикой, то отлично помнишь их мельчайшие подробности; можно мысленно к ним возвращаться, сравнивать их и рассуждать о них более или менее верно. Но если происходит резкий переход от одного предмета к другому вследствие одного

из тех бесчисленных отвлечений, которыми изобилуют наши сны, ум на время теряет даже малейшее воспоминание о предшествовавшем круге мыслей. Вспоминаешь его лишь по пробуждении.

Уверенный в фактах, которые я установил, я гораздо сдержаннее в объяснениях, которые им предлагаю. Я все же думаю, что это явление довольно хорошо объясняется исключительным вниманием, которое ум во сне уделяет тому кругу мыслей, чьи образы ему представлены. Шов, образовавшийся сам собой, ускользает от него и остается как бы преградой, которую ум никогда не пытается преодолеть. Размышление, стало быть, оказывается парализовано самой живостью внимания.

Изучение отвлечений, наложений, слияний мыслей или образов во сне, очевидно, могло бы найти место в этой главе, посвященной памяти и воображению. Однако различные причины побудили меня посвятить этим действиям ума особый раздел той главы, где я пытаюсь разобрать ход и ткань снов, и при надобности следует обращаться туда как к дополнению к этой главе.

V. Наблюдения над подъемом душевной чувствительности и силы умственного замысла во сне и над трудами ума, совершаемыми во сне

О подъеме чувствительности вообще. — Различие между научными и литературными трудами, исполненными во сне, с точки зрения ценности, которую они могут иметь. — Стихи, сочиненные во сне. — Сон шахматиста и чему он учит относительно силы воображения. — Как сон может сбыться без того, чтобы в этом было само по себе что-либо чудесное. — Сон знаменитого

математика. — Влияние некоторых снов на душевный склад людей и на поступки их действительной жизни.

Природа, очевидно, дает нам в обычном состоянии лишь сравнительно умеренную власть натягивать струны чувствительности, душевной или телесной. Хорошо зная, что мы часто были бы склонны этим злоупотребить, будь нам позволено доводить силу действия или восприятия до крайних пределов, она оставила очень широкий простор между тем, чего мы обыкновенно можем требовать от своих органов, и тем, что они в действительности способны исполнить. Поэтому мы и видим, как под влиянием некоторых исключительных состояний возникают явления, с виду чудесные, которые, однако, лишь на мгновение обнаруживают постоянные возможности нашего организма. Каталепсия, сомнамбулизм, мозговая горячка, душевные болезни, исступление восторга, страха и отчаяния часто давали поразительные примеры этой истины. Но нужно ли прибегать к этим более или менее болезненным явлениям, чтобы обнаружить подобные проявления силы действия и восприятия? В том отрешении от внешнего мира, которое позволяет душе сосредоточить, так сказать, в самой себе весь жар, всю силу, всю живость своих чувств и мыслей; во власти того состояния, что зовется сном, которое закрывает глаза тела для новых восприятий, чтобы открыть глаза ума на погребенные богатства памяти; когда снаружи наступает ночь, а внутри разгорается свет, — не может ли душа достигнуть степени чувствительности, гораздо высшей, чем та, на какую она способна наяву? Этот вопрос мы и рассмотрим прежде всего, внимательнее, чем делали это до сих пор.

Все авторы ответили нам «да»; каждый из нас нередко говорил это себе сам, выходя из какого-нибудь мучительного или сверхчувственного сна, затопившего его сердце болью или наслаждением. Люди обычно очень спокойные и миролюбивые припомнят, как под действием раздражающих видений в них разгорались все громы слепой отваги и самого неистового гнева. Люди, обыкновенно мало впечатлительные, признаются, что им, быть может, снился один из тех химерических снов, после которых они несколько мгновений, хоть и проснувшись, оставались во власти настоящего ужаса. Чувство нежного и прекрасного, ужас перед пустотой, темнотой, неведомым могут принять, особенно в эти столь краткие мгновения, поистине необычайные размеры. Так как сам факт в принципе не нуждается в обсуждении, мы прямо перейдем к рассмотрению его следствий и, в частности, исследуем, какой характер этот подъем душевной чувствительности может придавать замыслам ума во время сна.

Различные примеры таких трудов стали знамениты и почти вошли в историю, оттого что их так часто приводят. Некоторые я упоминал в этой книге, в том числе знаменитую сонату Тартини, известную под названием *Дьявольской сонаты*. Знаменитый ученый Ж.-Б. Био рассказывал мне, что ему несколько раз случалось с пользой работать во сне; Кардано говорил, что одно из своих сочинений он создал во сне; Кондильяк свидетельствует о том же; Вольтеру однажды показалось, что ему приснилась первая песнь *Генриады* не такой, какой он ее сочинил; но следует заметить, что если встречаются ученые, математики, музыканты или художники, сумевшие извлечь пользу из вдохновений своих снов, то, напротив, литераторы и поэты, вообразившие, будто сочинили во сне нечто восхитительное, с сожалением признаются, что не смогли этого вспомнить по пробуждении. *Соната Тартини*

дошла до нас; ни одного отрывка из того варианта *Генриады*, что приснился Вольтеру, восстановить не удалось.

То, что воспоминание о вычислении, художественном замысле, музыкальном мотиве — произведениях сравнительно однородных — удерживается легче, чем воспоминание о стихотворении, этой мозаике мыслей и слов, которую нужно схватить во всех подробностях, а не только в целом, — это лишь первый факт, который, впрочем, объясняется вполне естественно; но если бы писатели и поэты сумели усилием памяти буквально восстановить эти вдохновения своего сна, которыми они так восторгались, я убежден, что их ждало бы полное разочарование, по крайней мере в большинстве случаев. Это второй пункт, относительно которого у меня сложилось довольно твердое мнение, как на основании собственных наблюдений, так и благодаря наблюдениям одного моего друга, любимого публикой писателя, который, привыкнув припоминать свои сны и приобретя в этом большой навык, рассказал мне, среди прочих случаев, следующий:

Ему приснилось, что он чувствует вдохновение, что под его пером словно сами собой рождаются прелестные стихи, что особенно удалась ему только что сымпровизированная маленькая пьеса, показавшаяся ему шедевром. Радость его будит; страх забыть подстегивает память; просыпаясь, он вслух читает две последние строфы (единственные, какие смог вспомнить), повторяет их, записывает, еще едва открыв глаза. Каково же его изумление, когда потом, на свежую голову, он читает вот что:

Свое богатство лебедь златокрылый расстилал
И по цветам бежал, взлететь не помышляя;
А я сорвать пленительный, волшебный облик тот желал
Той, что, как легкий сильф, скользила, в дымке тая.

Был воздух напоен песком, пестреющим и ярким,
И снежная тропа терялась меж лилей.
Я мягко проплывал, как тень, что мимо пролетает,
В любви тонуло сердце, взор слепил огонь лучей.

Этой бессвязности мыслей, этого странного забвения рифмы он даже не заметил, пока не проснулся. Образы, пленительные своим блеском, изяществом, волшебной странностью, слишком живо приковывали его внимание, чтобы он мог обратить его на что-либо другое. Ему казалось, что он преследует пленительный образ в волшебном саду. Ему казалось, что у него самого есть крылья. Сердце его переполнялось восхитительными ощущениями: душевное опьянение достигло предела. Стихи следовали беспорядку его мыслей; слова, которые он употреблял, очаровывали его потому, что, не имея ни времени, ни свободы взвесить их собственное значение, он смешивал в одном восторге и то, что хотел передать, и то, что передал на самом деле.

Так, по крайней мере, я объясняю себе этот род обманов, весьма частый в наших снах, разобрать который мне позволили более двадцати собственных наблюдений.

Идет ли речь о том, чтобы задумать композицию картины, услышать, так сказать, внутренним слухом музыкальное вдохновение, проследить по прямой линии ряд математических выводов, действовать путем интуиции или простого последовательного продвижения? Работа, исполненная во сне, порой окажется выше даже той, какую совершили бы наяву. Но если речь идет о трудах, которые требуют одновременно свободного применения здравой критики, сдержанного вдохновения и обдуманного суждения, я полагаю, что дело будет обстоять совсем иначе. Подъем одних чувств, свойственный такого рода снам, не обходится без того, чтобы значительно не

ослабить другие и тем самым не нарушить верного равновесия оценок, которое и составляет вкус.

Все, кто пишет или писал, знают, что в литературном труде есть две совершенно различные составляющие: замысел предмета, который может быть быстрым и даже мгновенным, и выражение, которое, как бы легко оно ни давалось, все же всегда требует немного внимания и труда. Так вот, под влиянием восторженного сна красота занимающего нас предмета чаще всего состоит в крайней чувствительности, с какой мы им проникнуты; что же до выражения, оно редко бывает удачным. Точно так же иные шутки, иные игры слов, казавшиеся нам во сне прелестными, по большей части сводятся к плоскостям, если вспомнить их по пробуждении.

Убедиться самому в истинности этого утверждения будет нетрудно. Проникнуть в его причины неизбежно окажется делом более сомнительным.

Слишком ли полно поглощен ум, столь быстро увлекаемый, столь сильно занятый живостью ощущений или образов, все тонкости которых он воспринимает мгновенно, чтобы найти выражение, как мы только что предположили? Или же слова, которые он выбирает, являются ему с целой свитой особых впечатлений памяти, которые ассоциация идей связала с ними в его воспоминаниях?

С кем из нас не случалось, читая несколько фраз или слов книги, которая сама по себе ничуть нас не волновала, вдруг почувствовать, как эти слова, эти незначительные речи пробуждают приятные или тягостные воспоминания, которые сами собой с чрезвычайной живостью возникали в нашей памяти? То же чтение ни на кого, кроме нас, не произвело бы никакого действия, и мы сами уже не могли бы объяснить испытанного

волнения, если бы перечитали потом те же места, не находясь под впечатлением тех же воспоминаний.

Следует ли видеть здесь какое-то противоречие с тем, что мы имели случай заметить раньше, а именно с тем, как логично следуют друг за другом реплики и как тонко выдержан характер каждого в живых спорах, которые мы будто бы ведем во сне? Не думаю, ибо здесь физиологическое явление по сути иное. Ум упражняется уже не на согласном хоре мыслей. Душевное возбуждение, растущее вместе с жаром спора, сосредоточивает всю силу воображения на одной простой и единственной мысли (что может ответить нам противник и что мы, в свою очередь, можем ответить ему). Это лупа, переводящая свой световой фокус с одной точки на другую, — явление, которое мы описали в другом месте и которое, несомненно, заслуживает некоторого внимания.

Как далеко могли бы зайти на этом восходящем пути живость ума и ясность памяти? Определить это было бы, полагаю, так же трудно, как предел мышечного усилия у людей, охваченных некоторыми нервными припадками. Но в подтверждение того удвоения силы, на какое в иных снах способны память и воображение, рассмотрим еще два любопытных свидетельства. Одно доставил мне шахматист — игрок в ту игру, что сама есть наука; другое сообщил мне знаменитый математик, которого я не могу назвать в книге, где и сам сохраняю безымянность. Скажу, однако, что он сам рассказывал об этом нескольким своим коллегам по Институту в то время, когда был объявлен конкурс на премию, присужденную впоследствии Лемуану.

Вот сначала то, что рассказал мне шахматист:

Перед тем как лечь и уснуть, он тщетно бился над трудной задачей — *мат* в шесть ходов при исключительных условиях. Ему

снится, что доска по-прежнему у него перед глазами; он снова видит каждую фигуру на своем месте; продолжает искать — но на этот раз искомое решение является ему с чудесной ясностью. Партия идет и завершается; он последовательно и очень отчетливо видел вид доски после каждого хода и каждого взятия. Он просыпается в большом удивлении, так ясно помня последнюю комбинацию, что не может устоять перед желанием тотчас проверить ее верность. Итак, он встает, расставляет фигуры, перебирает в памяти ходы и убеждается в точности результата.

От чего главным образом зависит превосходство некоторых игроков, таких как Лабурдонне, Морфи и другие? От способности их ума охватить очень большое число возможных комбинаций, так сказать, одним взглядом мысли, — как полководец, который не только издали распознал бы все неровности местности на поле сражения и все силы противника, но и сумел бы еще предвидеть все возможные последствия всех перемен позиции, исполнимых с той и с другой стороны.

Наяву игрок, рассказавший мне свой сон, был бы не в силах представить себе мысленно, одним усилием мысли, полный ряд комбинаций, которые надо пройти от данного положения, составлявшего эту задачу, до конечной расстановки, влекущей неизбежный *мат*. Чтобы как следует уловить эти последовательные комбинации, ему непременно пришлось бы передвигать *в действительности* участвующие фигуры по доске и так отдавать себе отчет *воочию* во всех сделанных ходах.

Во сне он легко исполнял то, что для всякого, кроме одного из тех исключительных игроков, о которых мы говорили, сочли бы подвигом. Значит, во время сна у него значительно возросла сила воображения и счета.

Автоматическое повторение прежде воспринятого ощущения (как бы его ни понимать) могло бы, конечно, воспроизвести перед глазами спящего расположение доски таким, каким он видел его перед сном, но, очевидно, не могло доставить ему видений, которых никогда не получала его сетчатка. Здесь же различные виды доски, составлявшие ряд ходов, приведших к мату, никогда не воспринимались спящим, потому что именно это неизвестное он и искал, перед тем как уснуть.

Значит, перед очами ума предстали картины, составленные одним лишь воображением, а вовсе не доставленные памятью.

Значит, воображение может во сне творить — в смысле порождать небывалые видения, сложенные, правда, из материалов, уже хранящихся в памяти, но так, как случайные узоры калейдоскопа складываются из разных стеклышек, заключенных в приборе, или как разумно построенное новое слово составляется из давно известных корней.

Эти естественные следствия только что прочитанного неизбежно приведут нас к следующим размышлениям.

Если сила воображения, сгущенная, так сказать, в состоянии сна, может порой легче, чем наяву, проследить целый ряд расчетов и действий — да еще с той примечательной особенностью, свойственной сновидениям, что связанные с ними последовательные картины представляются так, словно видишь их в действительности, — удивительно ли, что в своих логических выводах (и, быть может, даже с более верным чутьем) можно проследить и целую цепь причин и следствий, исходной точкой которой служит какое-нибудь нынешнее положение дел, занимающее нас, а продолжением — его вероятные последствия, такие, какими мы склонны их себе представлять?

Стоит ли тогда так уж удивляться иным снам, на первый взгляд пророческим, иным предвидениям будущих событий, которые потом сбываются так, как приснились? Или не следует ли сказать, что раз думать о чем-то во сне — значит это и видеть во сне, то увидеть во сне свершение события возможного, а тем более вероятного, ничуть не чудеснее, чем подумать о нем наяву? Пусть во сне эти предсказания выкрикнет нам чей-то голос, пусть их откроет незнакомец или явится любая другая подобная иллюзия — ясно, что причины здесь будут одни и те же, и факты, и итоги одни и те же.

Эти вопросы уже поднимались в главе, посвященной особо воображению и памяти, и, быть может, я даже говорил о них почти теми же словами, какие употребил сейчас; но я предупредил читателя, что не побоюсь повторяться всякий раз, как по поводу какого-нибудь нового наблюдения снова представится случай подтвердить прежде высказанное мнение.

Перейдем ко второму сообщению, которое было мне сделано.

Отметив некоторые дневные заботы, которым он приписывал оборот, принятый его мыслями во сне, и рассказав, что сначала ему почудилось, будто он заброшен в пространство, где не различал ничего, кроме огромной пустоты, и не слышал иного звука, кроме голоса, твердившего ему время от времени, что он сейчас узнает великую тайну, — ученый, от которого я получил записанный рассказ, приводимый ниже, продолжал так:

> «Мне приснилось, что я перенесен в некий храм, темный, огромный, безмолвный. Неодолимое любопытство, смешанное с ужасом, повлекло меня к алтарю древней формы — единственному освещенному месту в этой таинственной пустыне. Невыразимое волнение подсказывало мне, что я стану свидетелем чего-то неслыханного. Тогда я заметил нечто вроде

зародыша, наполовину черного и наполовину белого, который бился в полупрозрачной оболочке, силясь ее разорвать, а оболочка имела форму яйца. Я положил руку на эту шевелящуюся оболочку. Из нее вышел ребенок. „Это притча“, — подумал я. И я почувствовал себя вдохновленным, и уста мои сами собой (словно какой-то высший дух пророчествовал моими устами) стали произносить целый ряд аксиом и изречений в стихах, которые наполняли меня изумлением и восторгом, ибо я был убежден, что должен найти в них очень важный смысл, ключ к которому даст последняя строфа. — Однако я чувствовал и то, что забываю эти откровения по мере того, как они мне даются, и меня это живо огорчало. „О, если бы я мог их припомнить!“ — говорил я себе; и пока я с трудом восстанавливал несколько стихов, некое существо, чью природу и облик я различал лишь смутно, но которое все же казалось мне человеком, принялось повторять мне слово в слово все, что я сам только что сказал, — без запинки, без пропусков, так что я узнавал малейшие слова. — К несчастью, как я ни старался, все для моей памяти погружалось в глубокую ночь, едва оно умолкало. Это причиняло мне великое мучение. Превосходство этого необъяснимого существа будто придавливало меня нравственно. „Кто же вы, — спросил я его наконец, — вы, кто помнит лучше меня то, что я сам сымпровизировал; вы, кто дает мне понять, что, обладай я, как вы, памятью и сокровенным смыслом всего этого, я уже постиг бы ту сверхъестественную тайну, о которой у меня есть лишь смутное предчувствие?“ — Тогда он взял меня за обе руки и заглянул в самую глубину моей сокровеннейшей мысли огненными глазами, которые пронизывали меня настоящим ужасом. — Тело его терялось в неясной тени, а голова была светозарной и исполинских размеров и, странное дело, казалась мне отражением моего собственного лица в каком-то волшебном зеркале. — „Кто же ты, — повторил я ему, — ты, кого я жажду узнать, ты, кто читает, я чувствую это, в

самой глубине моей души?“ Мгновение он молчал, потом ответил мне: „*Ты сам!*“ — и, не вполне уяснив себе значение его ответа, я сразу же убедился, что он говорит правду, что он — *прозревшая* часть той двойственности, которой я не мог постичь, но чья тайна заключалась именно в притче о ребенке, наполовину белом и наполовину черном. „Если ты — я сам, — возразил я, — почему же ты меня пугаешь и почему смотришь на меня так насмешливо?“ Он не ответил мне больше ничего, как ни хотелось мне услышать его снова, и хотя я мысленно произносил слова *божественная душа*, он не произнес их так, как произнес слова *ты сам*; он лишь продолжал завораживать меня своим проницательным взглядом, когда я заметил, что сплю, почувствовав, что начинаю просыпаться.

«В тот краткий промежуток, что отделяет полный сон от полного пробуждения, когда человек разделен между двумя мирами, я прилагал очень большие усилия, чтобы припомнить главные обрывки этого сна, так сильно меня взволновавшего, — сна, в котором, как я был убежден, таились в зародыше великие психологические откровения; но мне не удалось вновь ухватить, иначе как беглыми вспышками, ничего, кроме нескольких общих мыслей. Что же до нити, связывавшей эти мысли между собой, что до стихов, которые их выражали, — о них у меня не осталось никакого воспоминания. Самым определенным из того, что сохранилось, было развернутое сравнение между растениями, целиком заключенными в своем семени, и великими истинами, тоже целиком заключенными в некоем начале, которое нужно уметь развернуть; а затем — глубокие размышления об этом другом мне самом, настолько превосходящем мое рассуждающее „я“, который соглашался приоткрыть мне кое-что, но посмеивался над моими бесплодными усилиями понять все до конца.

«Проснувшись, я помимо воли остался под очень сильным впечатлением. Не видя, конечно, в этих видениях ничего, кроме

работы разыгравшегося воображения, я не мог не отметить их удивительного характера. Я думал об этом ребенке, наполовину белом и наполовину черном, который словно был двойным началом добра и зла, об этой оболочке, которую он силился разорвать, об этой двойственности меня самого, в которой я, как мне показалось, угадал божественное начало. После этого сна я не намного продвинулся в объяснении великой тайны, живущей в нас; но после подобного сна невозможно не исполниться чувства бытия Бога, великого разума, *который знает*, и не считать несомненным, что когда-нибудь нам должна открыться великая тайна».

Если я привожу целиком доставшуюся мне записку, то не только из-за нравственного воодушевления, которым она дышит, но также и прежде всего из-за глубоких следов, которые описанный в ней сон оставил в памяти человека, вообще-то не из тех, кого легко взволновать, и не привыкшего к тому же придавать большое значение предметам чисто воображаемым. Старание, с каким он записал этот рассказ, то, как он о нем говорил, достаточно показывали, что эти необычайные видения поразили выдающийся ум так же сильно, а то и сильнее, чем иные важные события его настоящей жизни. И кто знает, не отразились ли они на некоторых его трудах?

Влияние привычных занятий людей на характер их снов никем не оспаривается; влияние же их снов на их душевный склад и на их поступки, по-моему, бесконечно сильнее и случается куда чаще, чем принято думать. Люди серьезные признавались мне, что влечение или неприязнь, которые они безотчетно испытывали к некоторым лицам, быть может, не имели иного источника, кроме приятного или неприятного сна, в котором эти лица оказались замешаны. Я знаю человека, который вдруг страстно влюбился в

девушку, которую давно видел почти каждый день, не обращая на нее ни малейшего внимания, — и все только потому, что она явилась ему в одном из тех страстных и упоительных снов, где воображение развертывает все свои богатства. Как ни живы у бодрствующего человека порывы любви, этой самой живой из всех страстей, всякий, кто был ей подвластен, признает, я уверен, что испытывал порой во сне такие взлеты восторга, такие восхищения нежностью, такие расцветы несказанных наслаждений, равных которым по силе не встречал в действительной жизни. Потому я не побоюсь сказать, что если идеал есть высшая степень постигающего восприятия, какой нам дано достичь в чувстве удовольствия и прекрасного, то состояние сна должно быть самым благоприятным, чтобы его вообразить.

Даже у людей, не помнящих своих снов, ассоциации идей, складывающиеся днем, очень часто, я убежден, несут на себе отпечаток ночных сновидений. Встречаются дети, чья боязливость и неспособность к труду вполне могут происходить оттого, что их память переполнена пугающими или беспорядочными впечатлениями от непрестанных кошмаров.

С другой стороны, есть немало людей, и особенно дам, чьи склонности можно было бы лучше узнать по их снам, чем по их действительному поведению. Это оттого, что они обычно держат свои поступки в такой власти, которая не простирается на движения их мыслей, — а это уже касается физиологии общественного устройства. Здесь нашелся бы материал для любопытных сопоставлений; но трудно было бы получить верные сведения, потому что эти люди охотнее рассказывают обо всем, что делали днем, чем обо всем, что видели во сне ночью.

VI. Наблюдения над обострением телесной чувствительности во сне и над указаниями на болезнь, которые порой можно из этого извлечь

Тонкое восприятие внешнего мира и глубокое ощущение того, что происходит внутри нас, — таково деление, которое я приму для распределения собранных мною наблюдений. — Примеры внешней и внутренней чувствительности. — Связь между некоторыми состояниями тела и некоторыми галлюцинациями ума. — Самый факт возвращения некоторых снов есть явление, причину которого стоит искать. — О том, что раненые, как и люди, охваченные сильным душевным возбуждением, не могут видеть ясных и связных снов. — Пример сна, в котором одновременно действуют два противоположных начала. — О снах обостренной чувственности и о снах, развивающихся под действием различных наркотических средств.

Мало есть фактов, столь единодушно признанных в области снов, как влияние бесчисленных внешних ощущений, которые спящий воспринимает и вводит в свой сон, толкуя их на свой лад. Каждый автор приводит тому многочисленные примеры, и мои записные книжки ими полны. То стук снаружи заставляет меня увидеть во сне, что постучали в мою дверь, и так вводит в мой сон новую составляющую. То в мою дверь в самом деле стучат, и стучат все сильнее, чтобы меня разбудить; но мне снится, что я смотрю, как бондарь набивает обручи на чан, и благодаря этой иллюзии мой сон не прерывается.

В другой раз собеседник объявляет мне о своем отъезде в Па…, па…, па… — в Париж, хотел он, вероятно, сказать, но он без конца повторял этот первый слог, что раздражало меня до крайности и в конце концов меня разбудило. Тогда я отчетливо услышал

постукивание каминного заслона, колеблемого ветром, который все еще лепетал свое нескончаемое па… па… па…

Наконец, один из моих друзей рассказал мне, что однажды ночью пришел во сне в сильнейший гнев, потому что ему чудилось, будто он расспрашивает кого-то, кто на все его вопросы отвечает лишь «хо! хо!». А проснувшись, он понял, что эти «хо! хо!» были лишь отзвуком его собственного храпа.

Задерживаться на подобных примерах было бы излишне; но если мелкие факты такого рода очень легко установить, то во множестве других случаев крайне трудно оценить меру внешних или внутренних влияний на возникновение и развитие наших снов; и поиск этих более таинственных влияний, я думаю, заслуживает нашего внимания.

Тонкое восприятие внешнего мира и глубокое ощущение того, что происходит внутри нас, — таково деление, которое теперь само собой напрашивается, чтобы распределить собранные мною примеры изощренной телесной чувствительности.

Внешняя чувствительность. — «Мне снится однажды ночью, что мой ночник коптит; я просыпаюсь, вдыхаю полной грудью, ничего не чувствую и снова засыпаю, уверенный, что это мне только приснилось. Однако через час меня снова будит едкость дыма, ставшего уже вполне ощутимым. Значит, во сне, пока я спал первым сном, я испытал обонятельные ощущения куда более тонкие, чем наяву».

— «В другую ночь мне снится, что я пришел в гости к другу, никого не застал дома, но заметил во всех комнатах его квартиры довольно сильный и очень странный запах, который не на шутку меня встревожил. Я просыпаюсь, и первая моя мысль, естественно, — что этот запах в действительности разлит в моей собственной комнате. Я встаю, приоткрываю двери, окна. На этот

раз я не чувствую ровно ничего — ни между двумя засыпаниями, ни даже на следующий день на рассвете». — Не вероятно ли, что этот запах (а я, к слову, не помнил, чтобы когда-либо его чувствовал) был опять-таки очень тонким восприятием, которым я обязан сну, а не смутным воспоминанием обоняния?

Следующий пример относится к слуху: «Мне снится, что я слышу, как настраивают фортепиано, и я узнаю, что моя сестра действительно велела настроить фортепиано в ранний утренний час, когда я еще спал. Между тем у меня не было никаких причин думать об этом; я совершенно не знал, что должен прийти настройщик; а комнаты расположены так, что даже наяву я не мог бы со своей постели расслышать ни малейшего звука самых полнозвучных аккордов, взятых на этом инструменте».

Вот, впрочем, и опять по поводу фортепиано, другое наблюдение, тем более убедительное, что мысль усмотреть в нем простое совпадение не может даже прийти в голову: «Утомленный ночью, проведенной на балу, я пошел принять ванну; я тихо задремывал в ванне; далекие звуки фортепиано держали мое внимание в напряжении, и, засыпая, я старался уловить связь между самыми громкими музыкальными фразами, которые одни из-за расстояния доходили до меня отчетливо. Вскоре сон овладел мной окончательно, и мне приснилось, что я сижу у фортепиано, смотрю и слушаю, как играет одна молодая особа из соседей, которую я часто видел проходящей по улице со свертком нот в руке. Ни одна нота больше от меня не ускользала; ни один оттенок исполнения не терялся. Легкий шум вдруг вывел меня из этой очень короткой дремоты. Я продолжал слышать издали музыку, которая вела мой сон; но слышал ее теперь лишь урывками и очень несовершенно, как это было до того, как я заснул. Итак, я вновь оказался в условиях восприятия явно менее

благоприятных, чем те, что ненадолго создал для меня сон. На меня теперь действовали лишь звуковые волны, достаточно сильные, чтобы подействовать на мой слуховой аппарат в обычном состоянии».

Было бы утомительно для читателя умножать подобные рассказы. Скажу только, что ими изобилуют мои записи и что много таких же можно найти в книге г-на Бриера де Буамона. Они, быть может, заставят задуматься о некоторых сомнамбулических явлениях, которые мне обсуждать не приходится, но которые не всегда следовало бы отвергать как недопустимые лишь потому, что они остаются необъясненными.

Внутренняя чувствительность. — Свойство сна сосредоточивать и порой необычайно обострять телесную чувствительность в какой-нибудь части нашего организма — вопрос, на котором, полагаю, я уже достаточно останавливался. Поэтому я опускаю, не помещая их здесь, несколько наблюдений из дневника моих снов, которые лишь удостоверяют, что ощущения столь слабые, что наяву я их вовсе не замечал, проявлялись через сны, соответствующие этим ощущениям[1]. Перехожу сразу к тому же явлению в форме более трудной для распознания, более таинственной и, быть может, также встречающейся чаще, чем думают. Я имею в виду странную связь, которая порой устанавливается между некоторыми состояниями тела и некоторыми галлюцинациями ума и сама от нас ускользает. Я замечаю в своем дневнике, что в ту пору, когда я страдал капризными и перемежающимися головными болями, их возвращению часто незадолго предшествовали сны, в которых я с удивительной легкостью взбирался на горы и перепрыгивал через пропасти. В медицине известны лекарства, вызывающие почти всегда одни и те же видения. Морфий, например, обычно

заставляет тех, кто его принял, видеть во сне, что они окружены всякого рода животными.

[1] К их числу относилось предупреждение об ангине, первые признаки которой я ощутил лишь после того, как две ночи подряд видел во сне, что болен ею.

Наконец, я могу привести весьма любопытное сообщение, сделанное мне совсем недавно одним из наших самых знаменитых востоковедов, ученым профессором и филологом первого ряда. Кушанья, приготовленные на жиру, ему не по вкусу. Он считает их нездоровыми и строго запрещает у себя в доме малейшее отступление от правила — готовить только на сливочном масле. Его кухарка, однако, не разделяла его взглядов. Она была, главное, не столь непреклонна и полагала, что время от времени небольшая примесь запретного вещества могла бы с пользой войти в какое-нибудь удачное блюдо так, что хозяин и не заметит. В этом-то и была ее большая ошибка. Хозяин, правда, не замечал этого в тот же день; но таинственное предупреждение неизменно являлось ему в ночь после того, как проделка совершалась. Наутро кухарку звали; поначалу она тщетно пыталась отпираться в ответ на уверенные упреки хозяина. Хозяин закрывал ей рот и доводил до признания одними этими неопровержимыми словами: «Розали, мне сегодня ночью снилось, что я иду по воде».

Малейшее количество жира неизбежно заставляло ученого академика видеть во сне, что ему приходится пешком переходить затопленные земли, болота или рисовые поля. Он убедился, что никогда не видит этого сна без того, чтобы кухарка в конце концов не призналась, что дала к нему повод; а она, в свою очередь, соглашалась, что этот упорный сон ни разу не упустил ее выдать, когда она заслуживала выговора.

Так какую же связь вообразить между крутыми скалами и мигренью, между морфием и видениями диких зверей, между

попаданием в желудок небольшого количества жира и мыслью идти по воде? Не в том ли дело, что, раз простое совпадение установило первую связь между каким-нибудь болезненным ощущением, испытанным в такую-то ночь, и каким-нибудь сном, случайно увиденным в ту же самую ночь, повторение того же сна становится следствием возвращения того же ощущения[2]? Или существуют странные сходства внутренних ощущений, в силу которых некоторые колебания нервов, некоторые сокровенные движения наших внутренностей соответствуют равно впечатлениям, по видимости столь различным?

[2] В силу начал, изложенных ниже, в главе VII.

В первом случае связь, устанавливающаяся между таким-то сном и таким-то телесным расстройством, была бы чисто случайной и совершенно особой для каждого человека. Во втором предположении, напротив, опыт мог бы открыть постоянные и таинственные сродства, знание которых стало бы настоящей наукой.

Есть сны, общие всем людям, причину которых физиологи обычно согласно видят в ощущениях, порождаемых более или менее естественной работой сердца или желудка, — и это в силу обманчивой оценки, какую ум дает этим ощущениям. Таковы сны, в которых кажется, будто поднимаешься или паришь в пространстве, прыгаешь с чудесной легкостью, спускаешься по лестнице в несколько прыжков, или же, напротив, чувствуешь, что тебя удерживает невидимая сила, не можешь довести до конца самое простое дело и т. д.

И вот я полагаю, что опыт должен был бы не только позволить точно установить психо-органическую связь каждого из этих снов, но что и серьезное толкование множества других — словом,

настоящий *ключ к снам* — не было бы делом неосуществимым, если бы удалось собрать достаточное количество наблюдений и проверить их одно другим.

Мы испытываем порой в действительной жизни раздражение нервов, телесное ощущение которого очень похоже на то, что испытываешь, когда пытаешься выполнить какую-нибудь мелкую кропотливую работу, с которой пальцы не могут справиться, или когда видишь, как люди неловко берутся за какое-нибудь тонкое дело. Так вот, если снятся сны, в которых будто бы делаешь или видишь подобные вещи, не кроется ли их причина весьма вероятно в болезненном возбуждении нервной системы? Привожу этот признак как образец бесчисленного множества других, соответствие которых было бы ценно установить[3].

[3] Мне не раз снилось, например, что я пытаюсь зажечь свечу и никак не могу этого сделать. То спички мои не загорались; то свеча отказывалась гореть или упорно гасла. В досаде я хотел выбросить подсвечник в окно, но у меня не хватало сил даже поднять руку. — Тогда я просыпался и обнаруживал, что лежу на левом боку в неудобном положении.

Какую бы связь ни вообразить между недомоганием, которое я испытывал, и мыслью об этой незажигающейся свече, всегда придется восхищаться мудростью природы, которая предупреждает нас сном о дурном положении, в котором мы находимся, так что, стремясь прогнать мучающий нас сон, мы одновременно меняем положение.

В пору заживления и рубцевания раны, вызывавшей у меня чрезвычайно сильный зуд, я насчитываю шесть снов, в которых мне чудится, будто я: 1) мучительно стараюсь пересчитать мелкую монету и никак не могу; 2) пишу спешное письмо пером, которое не пишет или у которого гнется кончик; 3) ищу, плохо видя, в густом кустарнике потерянную маленькую вещицу, которой очень дорожу.

Заметим, впрочем, что сон может выдать болезненное состояние не только самой природой вызываемых им образов, но также, и часто, тем, как в нем завязываются и развертываются события,

или особыми ассоциациями идей, которые не имели бы одинакового значения у каждого из нас.

Во время путешествия вверх по Нилу один пылкий исследователь из моих знакомых, чье свидетельство не может подлежать сомнению, сильно страдал от воспаления глаз, которое прошло лишь по возвращении на родину и, впрочем, не появлялось уже десять лет. Множество событий и множество других путешествий населили его память более свежими воспоминаниями, когда он не без удивления заметил, что лица, празднества, почти забытые случаи той поры его жизни понемногу возвращаются в его сны с необычайной частотой. Около шести недель это явление оставалось как будто необъяснимым; затем он ощутил первые головные боли и наконец снова был охвачен с крайней силой болезнью, от которой считал себя навсегда излеченным. Мне кажется очевидным, что возвращение этих снов было вызвано внутренними ощущениями чрезвычайной тонкости — признаками, выдававшими болезненную работу, еще скрытую.

Самый факт упорного возвращения некоторых снов или снов определенного рода уже указывает на страдание, причину которого важно отыскать. Если хорошо связные сны — лучший признак полного внутреннего равновесия, то обратное явление не менее знаменательно. Раненые, как и люди, охваченные сильным душевным волнением, не могут видеть снов ясных, разнообразных и связных. У одних телесная боль время от времени вызывает воспоминания, связанные с испытываемым ощущением; у других господствующая забота удерживает ум в одном и том же круге мыслей и не дает идеям свободно сцепляться друг с другом. Однородные образы, осаждающие их своими непрестанными появлениями, могут, без сомнения,

показываться поочередно в измененных формах, но в своей природе, в своем ходе, в волнениях, которые они вызывают, они всегда несут черту тождества, выдающую болезненную причину или навязчивую мысль, постоянным проявлением которой служат.

Сон в этом случае представляет те же чередования рассеянности и возвращения к главной заботе, какие сменяют друг друга у нас и в действительной жизни. То есть то самопроизвольное движение мыслей уводит нас к самым разнообразным предметам, то сознание болезни или по меньшей мере испытываемое нами телесное ощущение возвращает нас к какой-нибудь мысли, связанной с этим ощущением. Причем у состояния сна есть та примечательная особенность — любопытное разнообразие толкований, которые ум последовательно дает одному и тому же определенному ощущению всякий раз, как оно становится предметом его внимания. Он тогда приспосабливает это ощущение к образам своего сна, и то, что он воображает, тотчас предстает перед ним. Довольно странный пример этого последнего явления я нахожу в дневнике моих снов. В нем видно двойное влияние постоянного болезненного ощущения и хорошо известного наркотического средства. Мне на плечо упал кусок дерева, и я употребил лекарство, содержавшее белладонну, чтобы унять боль сильного ушиба. Сначала я видел несколько прерывистых снов, в которых мне казалось, что я гуляю с тяжелым ружьем на плече, поддерживаю угол большой картины, которую пытаются повесить, и т. д. Наконец, под утро мне приснилось следующее:

> «Я путешествовал, приезжал не знаю куда. Я искал пристанища, с чемоданом на плече, и не находил никого, кто бы его взял или указал мне гостиницу. Однако я замечаю вывеску „Белая лошадь“

на доме довольно приличного вида; но дверь так низка, что, чтобы войти, мне приходится мучительно согнуться и пройти довольно длинным сводчатым проходом; в этом неудобном положении плечо мое несколько раз ударяется о стену. Внутри гостиницы меня встречает молоденькая служанка, которая объявляет, что приезжих много и мне придется поселиться повыше. Я заранее соглашаюсь на любую комнату, какую мне смогут дать, и, снова взвалив чемодан на плечо, иду за девушкой по бесконечным коридорам и лестницам. Так мы приходим в залу высотой с церковь, стена которой была покрыта железными прутьями, расположенными горизонтально один над другим так, чтобы служить попеременно и поручнями, и ступеньками. „Неужели вы мне не доверяете и не хотите больше идти за мной?“ — спросила моя провожатая, начиная взбираться по этой лестнице. „Я пойду за вами на край света“, — ответил я. Я уже не помнил ни о чемодане, ни о гостинице, ни о комнате, которую должен был занять. Меня словно охватывал какой-то нарастающий восторг. Дорогу мне показывала уже не служанка, а некая героиня романа. Я поднимался сильно и легко. Когда мы достигли карниза, моя спутница крепко оперлась рукой на мое плечо, пролезла в маленькое окошко, приглашая меня следовать за ней, и показала мне вдали, на краю площадки, которую мы пересекли, второе восхождение, куда более опасное. На этот раз это была отвесная гора, которая, казалось, пронзала облака. В скале были устроены опоры, как и в стене, которую мы уже одолели. Только они были скрыты кустарником, корнями и расселинами. Та, что вела меня, дала мне поцеловать свою руку, прежде чем указать этот новый путь. Меня словно пронзило электричеством, и я устремился за ней, не пугаясь головокружительных высот, на которые мы поднимались, и не теряя голову от огромной пропасти, развертывавшейся под нами. Впрочем, я видел и смотрел только на маленькую ножку моей проводницы, которая

проделывала самые грациозные движения, время от времени касаясь моего лица; мы все поднимались, и мне казалось, что мой ум, моя сила и мой восторг все возрастают. Перед самой вершиной этого огромного обрыва последним препятствием встал нависающий выступ; проводница сделала мне знак держаться крепко и поставила ногу мне на плечо, чтобы взобраться на этот последний выступ, а затем протянуть мне руку. Я пригнулся, чтобы у нее была опора получше; я трепетал, как бы она не упала в бездну, куда я, не колеблясь, последовал бы за ней. Я испытывал страшную тревогу. Наконец я почувствовал, как ее нога поднялась от движения, которое я сделал, чтобы ей помочь; я выпрямился и увидел свою спутницу сияющей невыразимой красотой. Выступ скалы сгладился; перед нами простирался восхитительный сад, полный уединения и света. Моя рука обвивала стан феи, приведшей меня туда. Мои губы встретились с ее губами. Меня пронизал такой трепет радости, что мне показалось, будто мой рассудок не выдержит этого испытания. Нисколько, впрочем, о нем не жалея, я искренне поверил, что теряю голову. Я говорил себе: безумие — это счастье. Сила наслаждения разбудила меня».

Забвение действительной боли, когда ум поглощен пленившей его иллюзией, — полное забвение, какого не могли бы дать простые развлечения бодрствования. Изощренное восприятие малейших ощущений, когда внимание, напротив, обращается на них. Таково, стало быть, двойное явление, происходящее в нас, когда мы видим сны.

И это в телесном, как и в нравственном, — для страданий или наслаждений тела, как и для скорбей и расцветов человеческого сердца.

Давая нам мерило той силы, до которой чувственность может подняться под влиянием сна, сны обостренной чувственности часто позволяют также заметить любопытную психологическую

работу *ретроспекции* (если позволено употребить это новое слово), которую нам вскоре предстоит рассмотреть, когда речь пойдет *о ходе и ткани сновидений*[4].

[4] См. ниже.

Что до тех странных отклонений, когда во сне порой соединяются самые живые и сладострастные ощущения с образами, менее всего способными их внушить, — я думаю, что они основаны, как правило, на явлениях *отвлечения*, которые также будут разобраны в той другой главе.

Что касается снов, вызываемых гашишем, опием, белладонной и всеми наркотическими средствами, способными довести до высшей степени нравственную и телесную чувствительность, на какую только способна человеческая природа, — те же соображения, что уже удержали меня от вступления в область фактов, относящихся к сомнамбулизму и душевной болезни, не позволят мне ими заниматься. Искусственное оно или самопроизвольное, достаточно, чтобы явление выходило за пределы нормы, — и я воздерживаюсь от его рассмотрения в исследовании, посвященном исключительно разбору естественных снов.

Я ограничусь тем, что приведу в приложении, в конце этого тома, рассказ о сне, который сам видел, приняв гашиш. Приобретенная мною привычка наблюдать за собой во сне позволила мне следить за его ходом почти как за ходом обычного сна. Знатоки, которые пожелают его разобрать, найдут в нем, быть может, кое-какие полезные сведения и тем охотнее, я думаю, согласятся со мной в том мнении Монтеня, что «различные виды сна, каковы бы они ни были, в сущности лишь видоизменения одного и того же явления, разные виды одного рода».

VII. Наблюдения над ходом и тканью сновидений вообще, о нескольких способах видеть во сне то, что желаешь, и о способе отгонять неприятные образы, которые порой неотступно преследуют

Трудность уловить связь ассоциации идей в очень большом числе снов. — Первые различения, которые следует установить. — Переходы, совершающиеся во сне посредством ассоциаций идей, вытекающих из того порядка, в каком воспоминания расположились в памяти по времени. — Как можно вызывать некоторые сны и, следовательно, видеть во сне то, что хочешь. — Идеи первичные и идеи вторичные. — Объяснение сна, изображенного на фронтисписе. — Об одном явлении, которое я назову ретроспекцией, и о частом его проявлении в снах обостренной чувственности. — Другие примеры снов, вызванных или направленных различными способами, которые легко применить на деле. — Как ум может быть возвращен к идее через посредство ощущения, которого он даже не замечает. — Переходы, совершающиеся во сне посредством отвлечений, которые производит ум. — Отвлечения качеств чувственного порядка. — Постепенные превращения, которые способно совершать воображение. — О том, что нить сна вовсе не обязана быть логически последовательной, чтобы быть действительно непрерывной, и при каких обстоятельствах ум не испытывает никакого удивления перед самыми причудливыми и чудовищными снами. — Отвлечения чисто отвлеченного порядка. — Как ум переходит порой от порядка отвлеченного к порядку чувственному. — Указание на род отвлечений, новые примеры которых будут даны в следующей дополнительной главе.

«Впечатления и идеи могут сочетаться, особенно во время сна, в силу отношений столь разнообразных и столь часто далеких от разумной связи и подлинного сходства, — сказал Моро (де ла

Сарт), — что не следует удивляться, если в большинстве снов чувство и впечатление, послужившие им началом, ускользают от самого проницательного исследования и не обнаруживают себя никакой видимой связью со снами[5]».

[5] «Словарь медицинских наук», статья «Сновидение».

Это мнение не слишком ободрило бы того, кто захотел бы разобрать все сны и обнажить, без исключения, все места их спайки; но вовсе не нужно, чтобы все сны были объяснены, для того чтобы стал очевиден способ, каким все они могли бы объясниться: сильные предположения по сходству часто позволяют судить о неизвестном по известному. Если мне удастся таким образом доказать, что, помимо иллюзий, вызванных случайными причинами, ход наших снов направляется психологическими сродствами, а не самопроизвольными движениями мозговых волокон, я уже сочту, что этот скромный труд был не совсем бесплоден.

Теперь нужно умножать примеры, а все труднее становится определить порядок, в каком их уместно представить.

Первое и самое полезное различение было бы такое.

Либо спящий, в условиях совершенного здоровья и в совершенно спокойной обстановке, будет видеть сны, не испытывая влияния никакого внешнего или внутреннего ощущения.

Либо, напротив, внешние или внутренние телесные восприятия изменят или прервут естественное течение его мыслей.

В первом случае смена образов, проходящих перед очами его ума, должна будет объясняться одной лишь самопроизвольной ассоциацией его идей.

Во втором случае будет либо простое изменение в самопроизвольном течении идей, а следовательно, и сна (если внутренние или внешние влияния недостаточно сильны, чтобы переменить его совсем), — либо полный разрыв прежней ткани и мгновенное рождение нового ряда картин (если воспринятое ощущение достаточно сильно, чтобы привести к этому последнему результату).

Понятно, как интересно было бы уметь так различать работу ума, предоставленного собственному почину, и те более или менее трудоемкие сочинения, ткани, нити которых зачастую тянутся к причинам, лежащим вне нас. Но, не говоря уже о том, что сон, а следовательно, и сновидение, свободное от всякого рода помех, может быть, как мы видели, лишь чисто теоретическим представлением, — мы подвергли бы себя самым страшным ошибкам, если бы попытались принять за исходную точку то, что всегда будет труднее всего определить.

Этот ход мыслей наведет нас, однако, на путь более практичной классификации. Если мы пробежим несколько рядов наблюдений, относящихся к снам, в которых ассоциация идей, по-видимому, совершилась естественно, если хорошенько рассмотрим связь, которая могла соединить между собой идеи совершенно разного порядка, мы признаем, я думаю, что связи этих ассоциаций можно разделить на два отчетливых разряда: одни происходят из того порядка, в каком некоторые воспоминания одновременно и последовательно были сложены в нашей памяти (есть ли между ними сродство или нет); другие принадлежат к бесчисленному семейству отвлечений в самом широком смысле слова.

Не берясь объяснять, по каким таинственным законам устанавливаются таким образом сродства в ячейках памяти, я

просто изложу, что на деле, мне кажется, все обстоит так, и приму эту первую классификацию для последующего изложения.

Переходы, совершающиеся во сне посредством ассоциаций идей, вытекающих из того порядка, в каком воспоминания расположились в памяти по времени. — «Мне приснилось, что я сижу за столом со своей семьей, но что у нас одновременно гостят епископ нашей епархии и два мифологических божества — кажется, Диана и Аполлон».

Этот сон записан в самой старой из моих тетрадей, где я нахожу к нему и безотчетное объяснение. За несколько дней перед тем я делал перевод из «Метаморфоз» Овидия, когда меня предупредили, что нужно сменить мою запачканную чернилами школьную куртку на платье поопрятнее, потому что приехал епископ епархии и будет у нас завтракать.

В бодрствующей жизни я почти не могу взглянуть на одну турецкую трубку, висящую над камином у одного из моих родственников, не связав с ней воспоминания о друге, убитом в Италии; и это лишь потому, что я держал эту трубку в руках в тот день, когда вдруг узнал из газеты, что этот друг оказался в числе павших при Сольферино.

Этих двух примеров было бы уже достаточно, чтобы обозначить столь простой разряд фактов; но так как именно этот разряд фактов и должен дать нам средства вызывать наши сны и управлять ими, мне кажется небесполезным уделить особое внимание тому, чтобы изложить его вполне ясно.

Заметим прежде всего, какое влияние будут оказывать на наши сны вообще тысячи мелких происшествий, вторгающихся в наши повседневные занятия, предметы, на которых останавливается наш взгляд, сцены, при которых мы присутствуем, книги, которые мы прочли, — словом, вся вереница

воспоминаний, способных сочетаться с привычными заботами нашего ума, этой обычной тканью наших снов. Если, бодрствуя, я думаю о прелестной картине Буланже «*Тепидарий*», если часто рассматриваю ее фотографию в перерывах между какими угодно занятиями, которым будет посвящена заметная часть моего времени, я непременно достигну того первого результата, что идеи-образы, связанные с сюжетами «Тепидария», вступят с идеями, относящимися к предметам моих занятий или изучений, в ту связь ассоциации, которая вытекает из хронологического порядка, в каком мои воспоминания были сложены в памяти. Тогда может случиться, если я, предположим, избрал предметом изучения какие-нибудь разыскания о происхождении огнестрельного оружия, что один вид аркебузы вдруг вызовет воспоминание об одной из восхитительных купальщиц «Тепидария», — чего, конечно, никогда не случилось бы по одному лишь закону сходства. Что до второго результата, он предвиден: если я, бодрствуя, *думаю* об одной из купальщиц «Тепидария», это будет лишь простая мысль, еще более далекая от действительного вида картины, чем вид самой картины далек от живой действительности; но во сне, где всякая мысль сопровождается более или менее живой иллюзией действительности, купальщица, если я о ней подумаю, встанет перед моими глазами *не менее действительной, по видимости*, чем эта старая аркебуза, прислоненная к моему письменному столу и отныне соседствующая с ней на складе моих воспоминаний[6].

[6] Я уже упоминал о том, что воспоминания о гравюре или картине часто становятся во сне действительными предметами.

В медицине признают два способа воздействия на живой организм: один, не действуя прямо и мгновенно ни на какой орган, затрагивает тем не менее со временем весь наш организм;

его называют гигиеной, или режимом. Другой, способный вызвать немедленные изменения посредством сильных и прямых средств, — это собственно лечение лекарствами. И вот, если позволено сравнить заботу о теле с заботой об уме, я скажу, что для всякого, кто найдет некоторую прелесть в том, чтобы населить свой сон приятными сновидениями, гигиена, или режим, будет состоять в постоянном старании наполнять свою память счастливыми впечатлениями, перемешанными (а следовательно, и связанными) с различными занятиями жизни, — подобно изящным статуэткам, расставленным там и сям на полках библиотеки, где нельзя будет, например, искать важного Гиппократа без того, чтобы милый силуэт Гебы или Пандоры не пленил в то же время взор.

Что же касается действенного лечения, то есть способов мгновенно вызывать в наших снах те образы, которые нам может быть приятно в них встретить, — рассказ, который сейчас последует, покажет, как я добился этого, применив изложенные выше психологические законы.

Размышляя о тесной связи, которая устанавливается в нашей памяти между некоторыми ощущениями и некоторыми зависящими от них понятиями — например, болью от укуса и мыслью о насекомом, пением петуха и мыслью об этой птице, запахом сажи и мыслью о горящем камине и т. д., — я часто думал о том, что это столь постоянное и столь простое явление основано единственно на начале ассоциации, устанавливающейся между идеями, приобретенными одновременно. Собака, которая взвизгивает, и лошадь, которая пускается вскачь при одном звуке хлыста, действуют не по иному началу. Эти размышления привели меня к мысли:

1) Что если бы удалось искусственно установить столь же непосредственное и столь же постоянное соответствие между некоторыми особыми ощущениями и некоторыми идеями (даже совершенно нравственного порядка), то всякий раз, как затем вызывалось бы одно из этих ощущений, должно было бы повторяться то же явление, а именно немедленное припоминание идеи, связанной с этим ощущением.

2) Что поскольку предметы, о которых мы думаем во сне, тем самым становятся предметами наших снов, то возможность вызывать некоторые ощущения у спящего, действуя на его органы, должна была бы повлечь за собой возможность заставить этого спящего видеть во сне предметы, понятие о которых стало у него связанным с вызванными таким образом ощущениями.

Исходя, стало быть, из этого предположения, вот какой первый опыт я предпринял. Я собирался отправиться в Виваре, чтобы провести там недели две в деревне, в семье одного из моих друзей. Перед отъездом я купил у хорошо снабженного парфюмера флакон духов, которые он продал мне как если не самые приятные, то, во всяком случае, такие, чей запах, *sui generis*, наиболее определенен. Я позаботился не открывать этот флакон, пока не приеду туда, где мне предстояло провести несколько недель; но все время своего пребывания я постоянно пользовался его содержимым, которым непрерывно был пропитан мой носовой платок, — и это несмотря на возражения и шутки, которые такая изысканность неизменно вызывала вокруг меня. Лишь в день отъезда флакон был плотно закупорен; он пролежал затем несколько месяцев в глубине шкафа, и наконец я передал его слуге, который обыкновенно входил в мою комнату очень рано, поручив ему пролить на мою подушку несколько капель душистой жидкости как-нибудь утром, когда он увидит, что я

крепко сплю. Я оставлял ему, впрочем, полную свободу выбрать время по своему усмотрению, из опасения, как бы одно ожидание этого опыта не повлияло на мои сны, заняв мой ум.

Проходит восемь или десять дней; мои сны, записываемые каждое утро, не обнаруживают никакого особого воспоминания о Виваре. (Мой флакон, правда, еще не тронут.) Наконец наступает ночь, когда мне кажется, будто я вернулся в края, где жил в прошлом году. Передо мной поднимались горы, усеянные большими каштанами; базальтовая скала вновь являлась так четко очерченной, что я мог бы нарисовать ее до мельчайших подробностей. Мне вообразилось, будто я встречаю почтальона, который несет мне письмо от отца. Это письмо увлекло мой ум в другую сторону, вызвав иные воспоминания и иные образы, и я был уже далеко от окрестностей Обена, когда вернулся в действительный мир. Долго ли, коротко ли задержались там мои мысли — неважно; главное, что они туда были возвращены. И вот, проснувшись, я смог узнать по запаху, который от нее еще исходил, что моя подушка в то самое утро, пока я спал, была смочена духами, предназначенными для опыта, который только что удался.

Задетое ощущением, отныне связанным в моей памяти с воспоминанием о некоторых других впечатлениях, воспринятых изначально одновременно с ним, мое обоняние не могло узнать это ощущение, не вызвав в то же время связанных с ним идей. Эти связанные идеи и составили сон, который я только что видел, и тот же опыт, повторенный несколько раз, с промежутками в несколько дней и в несколько месяцев, неизменно приводит к тому же результату.

Этот первый успех внушал мне, понятно, желание пойти дальше по той же дороге.

Я применяю сначала различные другие духи, которые в свою очередь становятся для различных разрядов идей столь же действенными средствами припоминания. Один из моих друзей, который со своей стороны следит за моими опытами, сообщает мне, что достиг тех же результатов. За очень редкими исключениями, успех постоянен. Я замечаю только, что восприимчивость притупляется от слишком частого употребления, — обстоятельство, в котором, впрочем, нет здесь ничего особенного. Двое из моих духов, употребленные один девять раз, другой десять раз за два месяца, уже не производят с прежней правильностью первоначального действия. Замечаю я также, что, умножая число этих духов сверх семи или восьми, я вношу между ними некоторую путаницу, которая выражается в довольно неожиданном факте. Три моих средства как бы сливают свои действия, то есть все три вместе пробуждают уже лишь один из тех трех разрядов идей, которые они первоначально и порознь представляли. Вина ли тут памяти или самих духов, в состав которых, может быть, входит какое-то общее начало, чье преобладающее действие в конце концов одно только и влияет на утомленные органы? Это было бы уже чистой физиологией, и в подтверждение такого предположения я мог бы привести факт, сходство которого легко уловить. При сильном насморке курильщик находит у всех табаков одинаковый запах, я сказал бы даже — одинаковый вкус. Тонкая часть аромата, отличительное начало разных сортов табака, бессильна дать себя почувствовать. Происходит своего рода разложение, и, освободившись от сложных составляющих, совокупность которых образовывала у каждого табака его особый аромат, одна только сильная действенность никотина достигает онемевших сосочков носа и

неба. Не произошло ли и здесь чего-то подобного? Я отмечаю этот вопрос, но не решаю его.

Я дал своим запахам некоторое время отдохнуть, а потом мне пришло на ум проверить еще, не повлечет ли смешение двух из них смешения двух воспоминаний. Несколько капель тех духов, что напоминали мне Виваре, были, по моим указаниям и пока я спал, пролиты на мою подушку. Одновременно туда налили несколько капель других духов, которыми я часто велел пропитывать свой платок в ту пору, когда работал в живописной мастерской г-на Д… Этот опыт, трижды повторенный, дал следующие результаты. В первый раз мне приснилось, что я в горной стране и слежу глазами за работой художника, который набрасывал на холст один из самых живописных видов. Очевидно, здесь произошло соединение воспоминаний о Виваре, с одной стороны, и мыслей о живописи и художественных композициях, связанных с мастерской, — с другой. Второй опыт был почти безрезультатен. Один из моих прежних товарищей по мастерской действительно оказался замешан в нескольких эпизодах путаного сна; но я не сумел, признаюсь, достаточно ясно прочесть в действиях своего ума, чтобы извлечь из этого точные выводы. Что же до третьего опыта, то по рассказу о моем сне читатель рассудит, что он не мог оставить у меня никаких сомнений в действенности примененных мною психических средств припоминания. Мне кажется, что я в столовой дома в Виваре, обедаю с семьей моего хозяина, собравшейся вместе с моей. Вдруг дверь отворяется, и докладывают о г-не Д…, художнике, который был моим учителем. Он входит в сопровождении совершенно нагой девушки, в которой я узнаю одну из самых красивых натурщиц, бывавших у нас когда-то в мастерской. Г-н Д… рассказывает, что экипаж, в котором они ехали вместе,

опрокинулся, что они пришли просить приюта и т. д.; и сон осложняется разными происшествиями, которые нет нужды приводить здесь, где нам нужно лишь отметить одновременное припоминание этих двух разрядов воспоминаний — о Виваре и о моей прежней живописной мастерской, ставших связанными с двумя ощущениями моего обоняния.

По поводу этих побочных происшествий, которыми осложняются наши сны, я все же остановлюсь на минуту, чтобы обратить внимание на работу ума, связывающую то, что я назову *первичными идеями*, посредством того, что я назову *вторичными*, или побочными, идеями. В таком исследовании, как то, что я предпринял без иного притязания, как пролить там и сям немного света, отступление никогда не страшно, лишь бы оно пришлось кстати.

Положим, что самопроизвольная работа воображения и памяти или какие-нибудь случайные обстоятельства вызвали одновременно несколько идей, сочетанных различными связями, о которых мы только что упоминали, или теми, что нам еще остается изложить ниже; нужно еще, чтобы ум взял на себя труд спаять их между собой посредством целой вереницы идей второго порядка, которые, впрочем, и сами вызываются подобными же сродствами. В приведенном выше сне воспоминание, вызванное вдруг ощущением моего обоняния, резко ввело образ г-на Д… и образ молодой натурщицы (идеи, связанные одна с другой) посреди сна, с которым эти два лица не имели никакой логической связи, — и безотчетное чувство того, почему вещи происходят, тотчас заставило меня вообразить происшествия, способные объяснить их появление.

Итак, я называю здесь *первичными идеями*: 1) идею столовой с ее сотрапезниками (моими друзьями из Виваре); 2) идею г-на Д…

и его спутницы (прямые воспоминания о мастерской). Я называю *вторичными идеями*: идеи о том, как слуга ввел новоприбывших, историю опрокинувшегося экипажа и т. д. и т. п.

Причина странных чувств, испытываемых в некоторых снах, часто кроется в сближении, которое вторичные идеи производят между первичными идеями, вовсе не созданными для того, чтобы сочетаться. Заметим, например, что появление этой нагой девушки в столовой не вызвало у меня никакого удивления и, как мне показалось, не смутило и почтенных людей, составлявших семью моего друга. Странная несообразность, объяснение которой вытекает одновременно и из только что сказанного, и из другой психологической особенности сна, не менее заслуживающей упоминания, а именно: образы, возвращающиеся нам на ум во сне, редко вызывают в нем иные впечатления, чем те, что мы испытали, когда они впервые улеглись в нашей памяти. Поскольку эта девушка — воспоминание о мастерской, месте, где нагота натурщицы ничуть не удивляет, я вижу ее вновь такой, какой видел когда-то, и удивляюсь не больше прежнего. Что до сопоставлений, вытекающих из положения, я их даже не делаю. Во сне сравнивают, размышляют о природе своих впечатлений лишь тогда, когда сознают состояние, в котором находятся, или когда какая-нибудь мысль пленяет настолько сильно, что задерживаешь на мгновение ее образы. Иначе ум пропускает эти образы с быстротой идей, от которых они зависят, а идеи сменяют друг друга тогда слишком быстро, чтобы он успел их оценить. Так люди, давно умершие, вновь являются нам и смешиваются с нашими самыми недавними заботами, не внушая ни малейшего смущения, даже если у нас есть как бы смутное чувство, что их больше нет.

Еще реже ум размышляет о вторичных идеях, которые сами уже плод своего рода безотчетного размышления. Потому они имеют порой характер тех простодушных обмолвок, что вырываются у нас наяву в рассеянном разговоре.

Вторичные идеи, вместо того чтобы являться, как в предыдущем примере, совсем просто и мимолетно, могут также порождать прихотливые построения, в чем мы убедимся по этому другому сну.

Мне кажется, что я в своем кабинете, расставляю книги; одна из этих книг заставляет меня подумать о книгопродавце, который мне ее продал; этот книгопродавец напоминает мне кардинальскую шляпу, выставленную в лавке шляпника, соседней с его лавкой; эта шляпа в свою очередь напоминает мне переплет прекрасной рукописи с гербом кардинала Мазарини, которой я недавно любовался. Мне снится, что книгопродавец приходит ко мне с визитом в кардинальской шляпе и приносит мне рукопись, предлагая купить ее за известную цену. Связь ассоциации легко уловить между четырьмя *первичными идеями*: книгой, которую я расставлял, — книгопродавцем, который мне ее продал, — кардинальской шляпой, — томом, на переплете которого была изображена кардинальская шляпа. Образы книги, книгопродавца, шляпы и рукописи имели, следовательно, прямое основание мне явиться. Но мне почудилось, что стучат в мою дверь; я видел, как эта дверь отворилась; я вообразил, что кардинальская шляпа была на голове книгопродавца, что книгопродавец предлагал мне рукопись и что он просил за нее, предположим, две тысячи франков. Вот идеи, которые я называю *вторичными*. Они относятся к *первичным идеям* в иных снах примерно так же, как сочинение буриме — к рифмам, заданным заранее.

Есть еще и такое заметное различие между *первичными идеями* и *вторичными идеями*: первые могут вызываться физическими причинами, самопроизвольными или искусственными, как шум, прикосновение, запах, а также действием воли, тогда как вторые всегда безотчетный плод деятельности нашего ума.

Раз уж я открыл это широкое аналитическое отступление о некоторых составных частях сна, которые очень полезно уметь различать, если хочешь попытаться проследить разумную цепь идей, я не закрою его, не отметив еще одной любопытной иллюзии ума, возникающей как раз в обстоятельствах, сходных с теми, примеры которых дают нам последние упомянутые мною сны, то есть когда посреди сна резко вводится новая составляющая, доставленная какой-нибудь случайной причиной, вроде духов, пролитых на мою подушку, пока я спал.

В ту минуту, когда внезапное и неожиданное вмешательство этих духов заставило меня вдруг увидеть во сне, что я в горной стране, в обществе художников и друзей, ум мой был занят каким-то совсем другим сном, течение которого неизбежно претерпело более или менее полное превращение; и всякий раз, как случится подобное происшествие, будет, несомненно, так же. Разберем же хорошенько, и мы установим следующее. Если вызванные случайно идеи смогли спаяться с прежним сном, ум едва ли упустил произвести эту спайку, хорошую или дурную. Если спайка была слишком трудна, и особенно если новое ощущение вмешалось посреди незначительного сна, произойдет немедленная смена предмета и картины, изглаживание всего предшествующего, чтобы уступить место новому порядку идей. Наконец, если по своей живости или своему характеру внезапно воспринятое ощущение требует в подкрепление вызванной им первичной идеи целой вереницы вторичных идей,

предполагающих, что прежде была действующая причина, то в уме совершится своего рода ретроспективная иллюзия, в результате которой мы поверим в последовательность известного ряда образов и событий в разумном порядке их возникновения, тогда как наше воображение, напротив, вызвало их в порядке, обратном их естественному течению, поднимаясь от развязки к исходной точке, — как тот, кто пробегает книгу, сначала заглянув в последнюю главу, а закончив введением.

Поясним это примером. Меня кусает комар, и мне снится, что, сражаясь на дуэли, я получаю удар шпагой, пронзающий руку. Но мне не приснилось, будто я получаю этот удар, без того чтобы этот случай был как-то подготовлен. Так, сначала у меня была ссора; я получил какое-то оскорбление или сам кого-то вызвал. Вмешались друзья; дуэль была предложена и принята; условия ее были оговорены и приготовления закончены. Наконец шпаги скрестились, и лишь после всех этих предварительных событий мне почудилось, будто острый клинок пронзает мою руку. Очевидно, однако, что прямая и непосредственная причина этого сна — укус комара — внушила мне резко, по сходству ощущений и безо всякого перехода, мысль о получении удара шпагой. Эта ссора, эти собравшиеся друзья, эти приготовления к поединку, о которых я будто бы видел сон сначала, — всего лишь *вторичные идеи*, следствия *первичной идеи*, которые не могли существовать прежде, чем сама *первичная идея*, из которой они проистекают, возникла от непредвиденного случая.

Что же произошло в моем уме?

Первичная идея удара шпагой была вызвана внезапно, и я мгновенно представил себе, через целую цепь *вторичных идей*, различные обстоятельства, которые могли привести меня к тому, чтобы его получить. Я увидел себя *сначала* со шпагой в руке;

затем подумал о секундантах, которые должны были у меня быть, о приключении, которое могло послужить поводом к поединку, и т. д. и т. п. И так как все, что я воображал таким образом, поднимаясь по течению мыслей к его истоку, последовательно рисовалось перед очами моего ума с быстротой мысли (то есть почти мгновенно), я стал игрушкой иллюзии, которая, быть может, не лишена некоторого сходства с теми оптическими забавами, где глаз, обманутый сочетаниями, выходящими за пределы обычных законов зрения, видит на переднем плане предметы, расположенные на самом деле в глубине картины: я вообразил, что видел все это во сне в разумном порядке их последовательности, тогда как мысль, наиболее удаленная от развязки, была, напротив, той, что пришла мне в голову последней, той, что возникла в самый миг пробуждения, если эта развязка разбудила меня внезапно.

Сны, в которых воображаешь, будто проходишь через какое-то мучительное испытание, почти всегда сопровождаются настоящим чувством страдания, так же как сны чувственного характера почти не бывают без того, чтобы мы испытывали ощущения, соответствующие их бурным образам. Это согласие между причиной и следствием совершается, смотря по случаю, в совершенно различных условиях. То мысль предшествует ощущению. То ощущение предшествует мысли. То образы, присутствующие в уме видящего сон, приведенные естественной цепью его идей и оживленные иллюзией сна, заставят его поверить, что он действительно испытывает ощущения, соответствующие тому, что он воображает. То, когда ощущение предшествует мысли о причинах, которые могли его вызвать, возникает то явление ретроспективной иллюзии, которое я только что описывал.

Конечно, не всегда будет легко различить, к которому из этих двух источников следует отнести сон мучительный или сладострастный. Однако именно тот род снов, который Гораций не побоялся воспеть в описании своего путешествия в Брундизий, особенно может дать для практического наблюдения ярко выраженные примеры этого двойного почина, попеременно исходящего то от ощущения к мысли, то от мысли к ощущению.

Условия относительного уединения, тепло мягкой постели, действие слишком сытной пищи, раздражающие прикосновения или запахи — словом, вещественные причины — вызывают в вашем организме, пока вы видите сон, ощущения, обычно связанные с волнениями того рода, о котором идет речь. Отсюда происходит непроизвольная работа детородных отправлений; она совершается исподволь, не изменяя и не прерывая поначалу ткани прежнего сна. Наступает, однако, миг, когда живость нервного возбуждения становится такой, что ум уже не может оставаться чуждым тому, что происходит в телесном человеке. Тогда-то он вдруг представляет себе какое-нибудь видение, соответствующее столь живо испытываемым ощущениям; тогда-то и возникает явление *ретроспекции*. Попытайтесь в таком случае восстановить цепь ваших мыслей, поднимитесь от последней иллюзии, которая у вас была, к тем, что, по-видимому, ее подготовили, — и вы очень скоро обнаружите разрыв непрерывности, отличительный признак снов такого рода.

Мне снилось, например, что я играю на бильярде, в деревне, с одним из моих соседей. Я как раз отдавал все свое внимание удаче трудного карамболя, когда тайные и самопроизвольные движения моего организма вызвали появление какого-то образа, отвечающего их побуждениям, — и мне вдруг явилась молодая и прелестная женщина, которая свела на нет сон о бильярде и

вскоре вызвала пробуждение. Едва проснувшись, я обращаюсь к своим воспоминаниям. Я еще вижу эту молодую женщину за туалетом, в спальне помпейского стиля. Мне кажется, я припоминаю, что *прежде* чем войти в эту комнату, я прошел несколько безмолвных покоев того же стиля и большого богатства; что еще прежде я обманул бдительность старого чернокожего привратника, задремавшего у урны античной формы; что еще раньше я был на маленькой пустынной улице; но тут мои воспоминания совершенно мне изменяют: невозможно объяснить себе, как я попал на эту улицу; невозможно подняться выше. Выше я нахожу лишь бильярдную и партию, начатую с соседом. Значит, здесь и есть разрыв непрерывности. Значит, почин последнего сна целиком принадлежит самопроизвольному ощущению, тогда как его видимый ход относится к области *ретроспекции*.

В других случаях, напротив, никакого предрасположения к снам этого рода не обнаруживается. Значит, теперь уже одно воображение должно привести в действие органы шестого чувства, если они выходят из покоя.

Возьмем один пример из пятнадцати. Я только что проснулся под впечатлением сна, совершенно сходного с предыдущим по своей развязке. Я так же стараюсь восстановить цепь мыслей, которые одна за другой занимали мой ум. Прежде всего я вспоминаю, что, прежде чем приблизиться к явившемуся мне прелестному женскому образу, я как будто различил его посреди нарядной толпы в саду, где танцевали. Поднимаюсь выше: вспоминаю, что сел в поезд с одним из моих друзей, чтобы вместе отправиться на сельский бал; что незнакомец, сидевший рядом со мной, даже раздосадовал нас в дороге, уверяя, что мы ошиблись днем; что перед тем у меня вышел спор из-за какого-то пустяка с

железнодорожным служащим; и мне вспоминаются еще несколько мелких будничных обстоятельств, предшествовавших нашей посадке в вагон. Я мог бы подняться и еще выше (у меня есть пятнадцать записей снов того же рода, где нить ассоциации идей тянется так очень далеко); но идти дальше вовсе не нужно. Достаточно установить, что ассоциация идей совершенно естественно и без перерыва привела мой ум от спокойного сна к чувственному эпизоду, чтобы с весьма большой вероятностью предположить, что здесь первенство принадлежит идее, а не ощущению[1].

[1] Разумеется, в такого рода разборе никогда не следует упускать из виду одну возможность: что ум скрыл действительный перерыв в ходе сна с помощью искусно сделанной им спайки.

Я говорю «весьма вероятное предположение», а не «достоверность», потому что полная достоверность — вещь всегда очень тонкая в подобных вопросах, а также потому, что некоторые телесные предрасположения, не будучи настолько сильны, чтобы немедленно вызвать в организме страстный порыв, могут все же иметь достаточно власти над всей человеческой машиной, чтобы влиять на ассоциации наших идей, а следовательно, и на те картины наших снов, которые возбуждают воображение.

Но как бы ни обстояло дело с этими соображениями, практический интерес которых довольно второстепенен, перед нами остаются два особых класса чувственных снов: те, в которых ум внезапно поддается иллюзии, вызванной самопроизвольной работой органа, и те, в которых ум сам устремляется в такой круг идей, который затем вызывает движения в организме. С чисто физиологической точки зрения это различие кажется мне уже любопытным, чтобы его отметить. С точки зрения

патологической оно представляется мне весьма важным. В самом деле, если при слишком частом возвращении некоторых снов удастся установить, что причина их целиком в организме, медицина будет знать, что устранять их — прежде всего ее дело. Если же, напротив, будет доказано, что почин неизменно берет воображение, то привычка знать во сне, что спишь, несомненно станет самым верным средством избежать этих досадных происшествий сна.

Тот, кто видит сон, сознавая свое состояние, всегда может направить, умерить или изменить ход слишком разгулявшихся мыслей. Даже когда чувства застают его врасплох, он умеет быстрым усилием воли и вновь овладеть собой, и вовремя подавить невольное движение, о котором его предупреждает какое-нибудь мгновенное откровение.

Удивительно же то, что Моро (де ла Сарт) и столько других писателей, отмечавших прямое и непосредственное действие разных случайных телесных причин на наши сны и приводящих тому многочисленные примеры, даже не заметили, до какой степени приведенные ими факты с первого взгляда опрокидывают все законы логики и требуют объяснения.

Возвращаюсь к моим опытам над некоторыми способами влиять на сны. Я уже рассказал, чего добился с помощью нескольких запахов, вызывая определенные ассоциации идей. Когда действие этих запахов, первых моих помощников, как будто притупилось от частого употребления, я задумал искать средства напоминания в области слуха, как уже нашел их в области обоняния.

В ту пору я много бывал в свете. Стоял сезон балов, и в них не было недостатка. Общество, в котором я вращался, было довольно однородным; в нем было несколько молодых женщин, с которыми

я танцевал почти каждый вечер. С другой стороны, я был в очень хороших отношениях с одним весьма модным капельмейстером, без которого, казалось, не могла обойтись ни одна хозяйка дома. Я решил воспользоваться этими обстоятельствами, и вот какой новый опыт я задумал. Выбрав сперва про себя двух дам, видеть которых во сне мне могло быть особенно приятно, и два вальса, музыка которых отличалась самым ярким своеобразием, я позаботился договориться с капельмейстером (который, впрочем, совершенно не знал моих намерений), чтобы неизменно играли тот или другой из этих вальсов всякий раз, как мне предстояло вальсировать с той или другой из двух дам: за каждой из них я отныне особо закрепил одно из этих двух музыкальных сочинений. Затем я отправился в пассаж Кольбер, где, как я знал, был магазин музыкальных шкатулок, и заказал там шкатулку, которая играла бы эти два вальса. Пока выполняли мой заказ, моя память получала впечатления, которые я для нее приготовил. Так как вальсы с танцоркой, пользующейся успехом, обещаются немного заранее, я всегда успевал вовремя дать распоряжения оркестру и достигал двойного результата: постоянно танцевал один и тот же вальс с одной и той же дамой и никогда не танцевал этот вальс ни с кем другим. Я настаиваю на этих подробностях, потому что они были необходимы для успеха моего предприятия. Неизменное совпадение, которое я устроил, не могло не быть замечено теми, кто невольно участвовал в моих опытах; но я твердо решил продолжать, и это не могло меня остановить.

Когда сезон балов закончился, память моя была достаточно подготовлена, а музыкальная шкатулка оказалась у меня в руках, я купил еще будильник, убрал из него обычный звонок и велел устроить его механизм так, чтобы он заводил эту музыкальную шкатулку в часы, указанные на циферблате. В тот же вечер я

выбрал одну из двух мелодий, поставил стрелку прибора на ранний утренний час, очень подходящий для задуманного опыта, затем поместил устроенный так прибор в кабинете, смежном с моей спальней, и заснул в свой обычный час. В эту первую ночь я не добился никакого успеха — должен в этом признаться, чтобы быть верным летописцем. Но потом мне нетрудно было понять, что виной тому была вредная предосторожность, которую я принял, закрыв дверь между кабинетом и спальней[2] (из боязни, что меня разбудит слишком громкий звук). Ибо начиная со следующего дня, когда я возобновил опыт, и вплоть до самого недавнего времени, когда я повторил его еще раз, эта музыка всегда возвращала в мои сны воспоминание, а следовательно, и идею-образ, для вызова которой она стала безошибочной формулой.

[2] Такого рода предосторожности будут, естественно, зависеть для каждого от большей или меньшей тонкости его слуха, от глубины его сна и т. д.

Заметим, впрочем, что с восприятием музыкального мотива в моей памяти прочно связано воспоминание о человеке, а не о целой картине. Не всегда на балу и даже не всегда в бальном наряде я снова видел даму, вызванную этим мотивом; все новые побочные идеи вводили ее поочередно в рамку моих снов, среди самых разнообразных происшествий.

Вторая мелодия моей музыкальной шкатулки произвела не меньшее действие, чем первая. Одну за другой я употребил их до восьми. После этого я впал в путаницу, подобную той, к которой привело умножение запахов. И мне пришлось так же остановиться, еще раз признав, что все, что связано с устройством человека, по самой сути ограничено. Но если обоняние и слух — те два чувства, которые лучше всего годятся в напоминатели при опытах такого рода, то и через посредство других чувств

получаются не менее сходные результаты. Раз способ найден, каждый сумеет изменить его формулу сообразно своим способностям и своей фантазии. Приведем еще два убедительных факта из шестидесяти трех, которые я записал. Один касается чувства осязания, другой — вкуса.

«Я слегка поранил большой палец правой руки, что очень мешало мне писать: давление пера причиняло настоящую боль. Два или три раза во сне я кладу руку так, что больной палец страдает, и просыпаюсь. И каждый раз я убеждаюсь, что видел сон, будто сижу с пером в руке за своим письменным столом».

Другой пример напоминания, которым я был обязан вкусу, оказался из тех, что доказали мне также, что воображение умеет превращать в наших снах в кажущуюся действительность воспоминание о картине, статуе или даже простом рисунке. Некоторые сочетания, имевшие целью подготовить и вызвать определенные сны, до тех пор оставались бесплодными — без сомнения, оттого, что относились к предметам, недостаточно способным живо поразить ум. Я подумал, что описательный отрывок, выбранный из произведений какого-нибудь великого поэта и богатый пленительными образами, лучше всего подойдет для решающего опыта. Все условия, которых я искал, показались мне соединенными в том дивном эпизоде «Метаморфоз» Овидия:

Quas quia Pygmalion ævum per crimen agentes
Viderat…
…dataque oscula virgo
Sensit, et erubuit, timidumque ad lumina lumen
Attollens, pariter cum cœlo vidit amantem.

Я читал и перечитывал этот прелестный отрывок и вместе с одним художником, моим другом, который не хуже меня ценил его

тонкие оттенки, попытался набросать на холсте композицию, отвечающую тому, что он нам внушал. Все время, пока длилась эта работа, я старательно держал во рту маленький кусочек корня ириса — вещества, которого никогда прежде не пробовал. Остальное угадать нетрудно, поскольку я применил в точности те же приемы, что уже были изложены. То есть во время моего сна, причем меня заранее не предупреждали, в какую ночь будет сделан опыт, мне положили между губами немного названного выше пряного корня.

И вот, дословно взятый из моего дневника, рассказ о сне, который я увидел:

«…Мне казалось, что я в фойе Французского театра, в вечер генеральной репетиции. Я встретил там мадемуазель Огюстину Броан, которая объясняла мне, что репетируют новую пьесу, автор которой — г-н Жюль Л… (имя художника, моего друга), и что пьеса эта называется „*Астарба*“. Роль Астарбы должна была исполнять мадемуазель Х…, тогда как Д… поручили роль Телемака, а Б… должен был играть тирского капитана. Пока мне это говорили, я увидел, как в фойе вошла мадемуазель Х… в костюме, который вряд ли одобрила бы театральная комиссия, но который от этого не был менее пленительным. Костюм этот состоял из шарфа розового муслина, усеянного мелкими золотыми цветами, и ожерелья из янтаря и жемчуга, с которого свисали цветные камни. Браслеты старинной формы обвивали ее руки и украшали также тонкие щиколотки ее ног. На пальцах ее блестели сапфиры. Красота ее была поистине идеальной, и в ее светлых волосах мне чудился отблеск солнца. „Как вы меня находите в таком виде?“ — сказала она, подходя ко мне…»

Продолжение сна было бы здесь неинтересно; но этот отрывок заслуживает разбора. Не очевидно ли, что вкус ириса, внезапно

вызвав в моем уме идеи, которые я с ним связал, мгновенно породил и оживил перед моими умственными очами образ статуи Пигмалиона — такой, какой мы ее поняли и набросали? Голова этой статуи, как мы ее написали, имела некоторое сходство с мадемуазель Х… Отсюда ассоциация идей, которая заставляет меня видеть во сне мадемуазель Х… и совершенно естественно приводит меня в фойе Французского театра. Как подумать о Французском театре, чтобы тотчас не вспомнилась Огюстина Броан? И вот я думаю об этой выдающейся артистке; тут же ее вижу, и она-то и становится мнимой выразительницей моих собственных мыслей. Какой же путь изберут эти мысли? Идея Пигмалиона, уже вызванная, в свою очередь влечет за собой воспоминания о столь знаменитом романе Фенелона, который в детстве не раз давал мне материал для латинских упражнений. Астарба, Телемак, Адраст приходят мне тогда на память, и благодаря побочным идеям, механизм которых я изложил выше, я делаю из них персонажей трагедии и тотчас распределяю роли между членами труппы театра, куда, как мне представляется, я перенесен. О статуе Пигмалиона речи уже нет, потому что эпизод романа-поэмы, к которому я обратился, о ней не упоминает; зато там говорится об Астарбе, возлюбленной Пигмалиона, необычайно красивой. Мадемуазель Х… будет, стало быть, Астарбой, оставаясь вместе с тем воплощением идеи-образа, вызванного крупицей ириса, — образа, который есть и начало, и основа сна, который, так сказать, отделился от холста, где мы его написали, и является наконец во всем убранстве даров, которыми обязан римскому поэту:

…grata puellis
Munera fert illi conchas, teretesque lapillos,
…pictasque pilas…

Dat digitis gemmas, longaque monilia collo;
Cuncta decent; nec nuda minus formosa videtur.

Солнечный луч, без сомнения, был тут как бы следом ее небесного происхождения; а что до той подробности, что мой товарищ по мастерской оказался автором пьесы, в которой должна была выступать эта ослепительная актриса, — это побочное обстоятельство, которое легко объясняется ассоциацией идей.

Если читатель соблаговолил с некоторым вниманием следить за только что сделанным разбором, он узнает и в этом сне явление ретроспекции, объясненное выше. Идея статуи Пигмалиона непременно возникла первой, ведь она была вызвана прямо. Ее отождествление с мадемуазель Х… могло прийти лишь во вторую очередь; и если затем мне показалось, что я вижу Огюстину Броан, то лишь потому, что идея мадемуазель Х… уже увлекла меня в фойе Комеди Франсез. Тем не менее мне представляется, что эти идеи шли у меня в их разумном порядке следования, то есть в порядке, обратном тому, в каком они на самом деле во мне родились.

Из всего предыдущего и из того, о чем каждый волен спросить собственный опыт, вытекает, стало быть, как я думаю, следующий факт: искусственно связав определенные идеи с определенными, четко выраженными ощущениями, можно воспользоваться этой искусственной связью, чтобы вводить в сны составные части, приготовленные самим собою. Нужно только не упускать из виду, что для действенности этих средств напоминания необходимы два условия: первое — найти ощущение совершенно новое для того, кто его вызывает; второе — никогда не вызывать его вне нужных обстоятельств, иначе его сила будет сведена на нет.

Наконец, из этих наблюдений можно извлечь замечание, которое, хотя и было уже высказано, не теряет интереса при

повторении. В последнем рассказанном сне, в предшествующем и во многих других ум внезапно возвращается к идее через посредство ощущения, причем так, что это ощущение как будто не производит на него прямого впечатления, ибо он не сохраняет о нем никакого воспоминания. Поясню. Ранка на моем большом пальце случайно растревожилась во время сна. Отсюда сон, в котором мне кажется, что я занят делом, к воспоминанию о котором эта боль была примешана; но самой боли мой сон никак не воспринимает *прямо*. Вкус душистого корня вызывает появление волшебного образа; но лишь проснувшись, я *прямо* узнаю по вкусу, что у меня во рту кусочек ириса. Итак, физическое ощущение, слишком слабое, чтобы заявить о себе прямым сигналом, может тем не менее влиять на ход наших мыслей и тем самым явно обнаруживать себя.

Какие последствия, повторим снова, должен иметь этот факт для практической физиологии, для медицины и особенно в вопросе о предчувствиях!

О переходах, совершающихся во сне посредством отвлечений, которые производит ум. — Вот еще предмет, который мог бы найти место в главе о воображении и памяти, если бы по своей сравнительной важности не заслуживал особого рассмотрения.

Уже в первой части этого труда я говорил об отвлечениях и о влиянии этих действий ума на ход и ткань снов. Приступая к подробному разбору, которого требует этот вопрос, я считаю нелишним изложить несколько новых соображений, способных сделать яснее наблюдения, которые мне предстоит последовательно развить.

Прежде всего условимся о значении, какое мы будем придавать слову *отвлечение*.

Располагая пятью различными орудиями для восприятия всех предметов, доступных его чувствам, человек может, естественно, составить себе о каждой вещи более или менее сложное представление, смотря по тому, участвовало ли в его образовании одно, несколько или даже все эти средства восприятия. Видит ли он звезду — чувственное понятие, которое он о ней приобретает, очевидно, лишь простое, ибо в нем участвует одно зрение. Держит ли он в руках апельсин, постукивает по нему и сжимает его, подносит к носу, потом к губам — тогда у него есть самое сложное вещественное представление об этом предмете, какое ему дано приобрести, ибо все его орудия восприятия внесли в него свою долю. Значит ли это, что все свойства тела будут нам в совершенстве известны оттого, что это тело испытано всеми пятью нашими чувствами? Конечно, нет. Предметы, которые мы знаем с пяти сторон, потому что таково число наших чувств, по всей вероятности, *воспринимаемы* бесконечным множеством иных способов, совокупность которых составила бы то абсолютное знание вещей, что принадлежит одному Творцу. Стало быть, на какой-нибудь планете могут жить существа, наделенные органами чувств, настолько отличными от наших, что способ, каким одну и ту же вещь воспринимали бы они и мы, не представлял бы ни малейшего сходства. Но если мы едва ли можем вообразить понятия, которые доставлял бы орган чувств, совершенно отличный от всех, какими мы обладаем, то нам по крайней мере легко рассматривать по отдельности простые идеи, возникающие у нас от особого действия каждого из наших чувств, в общем представлении, которое мы составляем о каждом предмете. Если речь идет, например, о том апельсине, о котором я только что говорил, я могу рассмотреть *отдельно* идею его формы или его цвета, его плотности или его аромата, и,

рассмотренные так, эти идеи становятся столькими же *отвлечениями*.

Зрение и осязание, впрочем, во многих случаях дадут повод к нескольким различным отвлечениям, так же как некоторые отвлечения будут порой причастны обоим этим чувствам вместе, — пример тому шарообразная форма апельсина.

То, что в физическом порядке происходит с чувственными идеями, произойдет и в нравственном — если не теми же приемами, то, во всяком случае, сходным образом — с добрыми или дурными качествами, которые мы будем мыслить по отдельности.

Наконец, *отвлечение* может касаться какой-нибудь подробности, которую ум отделит от сложного целого, к которому она принадлежит: например, кольца ключа, дверной ручки, фонаря кареты, печати письма и т. д.

Отвлечения образуют самую обычную связь наших идей как в бодрствовании, так и во сне. Но между их действием на мысли человека бодрствующего и на мысли человека спящего есть та большая разница, что у первого совершается простое сцепление идей — ум переходит от одного предмета к другому, ничего не смешивая и не путая, — тогда как во власти сна, благодаря немедленному появлению образов, связанных с каждой мыслью, между двумя идеями, сближенными отвлечением, часто происходит настоящее слияние, или смешение. Отсюда те разнообразнейшие несообразности и чудовищные сочетания, несколько примеров которых мы теперь рассмотрим, пытаясь их разобрать.

Отвлечения чувственных качеств. — Зрение — первое из наших чувств. Огромное большинство наших воспоминаний вошло в память через глаза; поэтому в естественном порядке

вещей отвлечение внешнего облика будет тем, которое ум производит чаще всего.

Не забудем способности, которую мы должны были признать за воображением, — определенным образом видоизменять *образы-воспоминания* памяти, — и тогда мы сможем понять видения, приведенные ниже:

«Мне кажется, что мне угрожает маленькая бешеная собачка, которая притаилась передо мной, *свернувшись валиком*. Я наступаю ей ногой на голову и затем *катаю* ее под ногой; отвлечение ее формы заставило меня вообразить настоящий валик; эта отвлеченная идея *валика* приводит меня к мысли, что предмет, который я катаю, — не что иное, как большой флажолет, и тогда вместо собачьего воя я слышу у себя под ногой музыкальные звуки; а это тотчас заставляет меня увидеть во сне, что я присутствую на деревенском празднике, живая картина которого мгновенно возникает передо мной».

На первый взгляд нет ничего бессвязнее этого ряда образов — и нет ничего логичнее связанного, как только уловишь связь идей.

Следующие переходы кажутся мне не менее легкими для объяснения:

«Мне кажется, что я выхожу из квартиры друга, который живет очень высоко и у которого темная винтовая лестница поистине похожа на колодец. Всякое сравнение основано на отвлечении общего качества. Сравнение этой лестницы с колодцем, которое происходит у меня в уме, тотчас заставляет меня вообразить, что я спускаюсь в колодец. Достигнув дна и увидев гладь чистой воды, я забываю путь, которым только что прошел. Над моей головой снова сияет небо. Мне кажется, что я в школе плавания».

Один сон, о котором я уже упоминал в связи с другим кругом идей[3], слишком естественно находит здесь свое место, чтобы о нем не напомнить. Это сон той молодой дамы, которой казалось, будто на стол вместо жаркого подают одного полного господина из ее знакомых, и которая не испытывала ни удивления, ни отвращения, позволяя предложить себе кусочек. Для меня несомненно, что ей сперва приснилось, будто перед ней подают индюка или другую упитанную птицу. Рассматривая ее только с точки зрения ее дородности, она произвела *отвлечение* этого свойства, а затем перенесла его на этого полного человека, чей образ тотчас заменил образ птицы.

---

[3] См. выше.

Чувство сходства происходит от отвлечения внешних форм. Одному из моих друзей снится, что он нежно прижимает к груди молодую девушку. Вскоре он в ужасе стряхивает сон, решив, что обнимает юношу. Проснувшись, он справляется с памятью и вспоминает, что уже наяву замечал большое сходство между двумя людьми, воспоминание о которых вернулось к нему во сне и которые мгновенно подменили друг друга.

Статуя, которая нам снится, может стать живым человеком той же игрой памяти; или же человек, с которым мы беседуем, превращается в статую, если его поза или вид напоминают нам какой-нибудь мрамор, чей образ сохранился в наших воспоминаниях.

Очень красивый лунный свет легко приводит, как переход по сходству облика, к идее дня и солнца.

Говоря о постепенных превращениях, которые способно производить воображение, я упоминал художественную фантазию Гранвиля, нарисовавшего ряд силуэтов, который начинается

силуэтом танцовщицы и кончается силуэтом катушки. Кажется, будто это отголосок какого-нибудь сна. Я нахожу в своих тетрадях один сон, где узнается та же цепь идей-образов:

«Я старался вспомнить вещь, о которой только что подумал и которую с досадой упустил из памяти. Вещь эта была, по-видимому, квадратной формы — по крайней мере, лишь это отвлечение и осталось у меня в уме. Тогда передо мной с чрезвычайной быстротой прошла целая череда мелких предметов почти квадратной формы: пресс-папье, фаянсовые плитки, игральные карты, пачки конвертов, спичечные коробки и т. д., — пока не явился искомый предмет, который оказался в конце концов маленьким портретом: я взялся отдать его в рамку. Проснувшись, я спросил себя, не дает ли нам это практическое наблюдение ключа к тому, как обычно действует память, когда мы торопим ее отыскать какое-нибудь воспоминание, оставившее после себя лишь смутное понятие о том, что оно прошло через наш ум».

Впрочем, вовсе не нужно гнаться за каким-нибудь воспоминанием, чтобы видения этого рода появились во сне; достаточно, чтобы ум находился в одном из тех довольно частых во сне мгновений оцепенения, когда, нисколько не заботясь вникнуть в вещи, он довольствуется тем, что рассматривает их поверхностно. Так плотная толпа, чьи непокрытые головы обращены к какому-нибудь зрелищу, превратится, например, сперва в поле маргариток, а потом в обширную мозаику, усеянную правильными медальонами.

К зрению или к слуху отнесем мы отвлечения, основанные на сходстве слов? Из этого вопроса мог бы вырасти большой философский вопрос, если бы я намеревался рассматривать его с точки зрения влияния, которое оказывают письменные знаки и

звуки речи на движение идей; но я не собираюсь заходить так далеко. Сходство ли графических знаков или сходство звучания слов поражает ум и благоприятствует ассоциации — я рассматриваю здесь лишь явление из того же семейства, что и разбираемые мною, и согласен с г-ном Мори в том, что очень часто наши сны обязаны ему частью своих быстрых изменений.

«Я думаю о комете; мне приходит на память выражение *косматая комета*, и я вижу звезду с настоящими волосами».

— «При мне зовут горничную по имени *Розали* (Rosalie). Мой ум приводит в действие ужасный и прескверный каламбур. Я вижу во сне *кровать* (lit) под балдахином, полог и покрывало которой усыпаны *розами* (roses)».

— «Я любуюсь рукописью великолепного почерка. Я говорю себе, что она написана *прекрасной рукой*, и, как это ни несообразно, мне снится, что буквы выведены на *прекрасной руке*, отрезанной и переплетенной».

— «Мне кажется, что я в Тюильри. Я вижу прелестную девушку, к которой меня влечет с тем порывом, что свойствен снам, и в которой я нахожу согласие чувств, вполне естественное, раз заставляет ее говорить и действовать одно мое воображение. Я спрашиваю, как ее зовут. „*Сильвия*“, — отвечает она. Не знаю, какой ассоциацией было вызвано это имя, но едва оно произнесено, как я оказываюсь в густом лесу, а сама девушка стала маленькой небесно-голубой птичкой, сидящей у меня на плече, недалеко от моего уха и совсем близко также от моих губ».

Слово *Сильвия* — причина всего этого превращения, где влияние слов на ход идей — не единственное наблюдение, которое следует извлечь. В этих примерах, как и в тех, что последуют, нужно отметить еще два факта, уже, быть может,

указанных, но которые нелишне напоминать всякий раз, как приводится новое их доказательство. А именно:

1) Вовсе не нужно, чтобы ткань сна шла логически последовательно, для того чтобы она была действительно непрерывной; иначе говоря, можно резко перейти от одной картины к другой, совсем не похожей, через связь тесно соединенных идей, как бы бессвязны они ни казались; и, следовательно, видимый перерыв в видениях, из которых складывается сон, вовсе не доказывает, что в их чреде был настоящий перерыв.

2) Ум никогда не удивляется, когда переходы совершаются в силу ассоциаций этого рода, хотя очень часто сквозь эти быстрые перемены он преследует главную идею, которая его увлекает, и все-таки приспосабливает ее к самым нелогичным осложнениям.

В последнем рассказанном мною сне главная идея — девушка — произвела на меня слишком сильное впечатление, чтобы порывы, которые она во мне пробудила, изгладились так же быстро, как простые видения. Поэтому я продолжал говорить с ней, и говорил очень тихо, боясь ее спугнуть и увидеть, как она улетит. Я даже поблагодарил ее за то, что она так переменила облик: это позволяло нам дольше оставаться вместе, не привлекая неуместного внимания. И когда клюв этой птички скользнул мне между губами, я, несомненно, постиг, какую огромную роль играет воображение в самых живых наших наслаждениях, ибо был взволнован так, как мог бы быть взволнован наяву самым чувственным поцелуем.

Воспоминания вкуса, как и воспоминания осязания и обоняния, могут порой соединяться с воспоминаниями зрения и приводить таким образом к сложным впечатлениям, на совокупность которых и падает отвлечение. Мне снится, что я

держу плод; я хочу поднести его к губам; но у него нет вкуса, и я замечаю, что мякоть его волокнистая и высохшая; я мысленно сравниваю его с комком морской травы. Переход совершился: теперь я катаю в пальцах комок морской травы.

Такие примеры можно было бы умножать без конца.

Отвлечения чисто отвлеченного порядка. — Помимо идей чисто нравственных, таких как великодушие, жалость, мужество, страх и т. д., и тех, что становятся нравственными отвлечениями благодаря безусловному взгляду, каким ум их рассматривает, — таких как идеи величины, малости, неравенства и т. д., — ум образованного человека мыслит очень большое число более или менее сложных идей, происходящих от условий общественной жизни: верования, предания, символы и т. д. Все эти идеи могут дать повод к роду отвлечений, которые, в противоположность отвлечениям чувственных качеств, я назову отвлечениями чисто отвлеченного порядка.

Если мне снится, например, портрет святого Петра и мой ум примется рассматривать отвлеченно *благочестие* изображенного, то может случиться, что я перенесу эту идею на какого-нибудь набожного человека из моих знакомых, о котором заставит меня подумать одно это отвлечение.

Я охотно отнесу к этому разряду отвлечений чрезвычайно частое во сне действие ума, посредством которого мы вдруг присваиваем себе целое положение, которое сперва воображали вне себя. Я свидетель ссоры между двумя людьми. Мысленно я встаю на сторону одного из них; думаю о том, что сказал бы на его месте; и почти сразу я говорю уже от своего имени, ибо поставил себя на место того, за кого заступался, и из зрителя стал действующим лицом.

Я присутствую во сне при каком-нибудь страшном несчастном случае; положение раненого внушает мне глубокую жалость. Я представляю себе, как он должен страдать, — и с этой минуты раненый уже я сам.

Уголовный процесс произвел на меня впечатление. Я вспоминаю о преступлении, не думая об убийце, которого я, впрочем, никогда не видел и о котором не могу иметь никакой идеи-образа. Я представляю себе, как страшно, должно быть, иметь на совести такое деяние. Отныне я отождествлен с муками того, кто мог его совершить. А если бы это был я! Это уже я. Я бегу, дрожу, что меня узнают. С ужасом вспоминаю все обстоятельства убийства и испытываю всю тяжесть раскаяния.

Иногда ум переходит от отвлеченного порядка к чувственному и *наоборот*. Вот два примера:

«Я вижу во сне бюст Наполеона I; его ненасытная жажда кровавых битв отвлеченно представляется моему уму. Тогда я вижу равнину, усеянную трупами, — картину, которая вторым сцеплением сходных идей напоминает мне одно описание из „*Собора Парижской Богоматери*“, и вот я перенесен в склеп Монфокона».

— «Мне кажется, что я во дворе постоялого двора, где выездные породистые лошади и пахотные лошади теснятся все вместе вокруг одной поилки. Когда мне приходит на ум неравенство ухода, который дают этим лошадям, и трудов, которые на них возлагают, я тотчас (и, разумеется, сам того не подозревая) переношу эту отвлеченную идею *неравенства* на трубы, по которым стекает вода. Только что я видел поилку с четырьмя свинцовыми трубками одинаковых размеров, а теперь все четыре трубки кажутся мне неравной длины».

Отвлечения — действие ума столь частое, что, по-моему, трудно было бы подробно разобрать сколько-нибудь пространный сон, не обнаружив в нем нескольких из них. Впрочем, с нашими снами отчасти так же, как с теми очень сложными химическими смесями, в которых соединено бесконечное множество веществ. Главное не в том, чтобы отыскать их все, а в том, чтобы кстати выделить те, присутствие которых нам важно установить.

VIII. Различные наблюдения в подтверждение предыдущих или для прояснения некоторых последних положений

О различных гипнагогических видениях. — Новые примеры того, как сцепляются идеи и как образы сливаются, преображаются или подменяют друг друга. — Переходы через подмену лиц, очень частые в наших снах. — Порой они переносят на самую личность спящего действие, которое он сперва воображал вне себя. — Сны причудливые и с виду бессвязные, которые, однако, очень легко объясняются изложенными выше началами. — Главная идея, проходящая сквозь несколько побочных. — Две идеи, идущие бок о бок. — Неожиданность, которую во сне может доставить нам собственная память. — Своего рода нравственная двойственность. — Логика снов. — Иллюзия, от которой трудно уберечься. — Рассказы о нескольких последовательных снах, в которых находят применение некоторые изложенные в этой книге начала, особенно в том, что касается способов вызывать или отстранять те или иные видения и наблюдать за собой во сне. — Последние выдержки из моих тетрадей, включающие несколько отдельных наблюдений.

По мере того как я продвигался в этой работе, я брал из дневника моих снов наблюдения, которые казались мне наиболее

подходящими к разным вопросам, которые я поочередно пытался прояснить. Мне довелось привести их таким образом довольно много, хотя это лишь малая доля в сравнении со всем, что мне удалось собрать. Итак, я почерпну из моих тетрадей еще несколько рассказов и заметок — одни в подкрепление уже сделанных замечаний, другие о душевных явлениях, развитие и характер которых я, как мне кажется, уловил, но объяснение которых еще предстоит найти.

Фотография показывает нам сегодня, чего стоит точное указание, даже если его не оценил тот самый, кто его доставил. Под покровительством Этнографического общества издается фотографическая галерея всех типов человеческого рода, с помощью которой физиолог или антрополог, врач или художник могут сами пускаться на поиски открытий благодаря скрупулезной верности всех воспроизведенных подробностей. То, чего не заметил бы глаз иного живописца, рисующего с натуры, то, что упустил бы отметить карандаш другого, чего не заподозрил даже мастер, наводивший камеру-обскуру, — может стать лучом света для более проницательного наблюдателя.

Что до некоторых необычных снов, точный рассказ о которых я приведу без вероятного объяснения, то подразумевается, что я предоставляю этот рассказ, как фотографию, исследованиям всякого, кто ищет.

О видениях первого сна, которые называют гипнагогическими галлюцинациями. — Установлено, я думаю, что первые иллюзии сна почти всегда бывают галлюцинациями зрения. Едва некоторые люди закроют глаза, чтобы заснуть, как замечают нечто вроде мельтешения прихотливых образов, которые служат передовым отрядом более оформленных видений и тем возвещают приближение сна. Иногда эти галлюцинации

представляют определенные предметы, какими бы странными и искаженными они ни были; иногда это лишь маленькие светящиеся колесики, маленькие солнца, быстро вращающиеся вокруг себя, маленькие пузырьки разных цветов, которые поднимаются и опускаются, или же тонкие нити золота, серебра, пурпура, изумрудной зелени, которые словно перекрещиваются или симметрично свиваются на тысячу ладов, непрерывно трепеща и образуя бесконечное множество кружочков, ромбиков и других маленьких правильных фигур, довольно похожих на те тонкие арабески, что украшают фоны византийских картин.

Те из этих видений, что показывают нам вполне определенные предметы, на мой взгляд, относятся к разряду обычных снов. Что же до тех, что больше похожи на фейерверк, чем на воспоминания о реальных предметах, то, если бы кто захотел изучить законы их образования, понадобилось бы прежде всего собрать очень большое число верно раскрашенных изображений в подкрепление тщательно сделанных наблюдений над тем, как они начинаются и видоизменяются. Я заимствую из своих тетрадей и помещаю на фронтисписе этой книги несколько набросков этого рода. Соответствует ли заметная на них постепенность цветов ряду отдельных колебаний, подобных тем, что образуют музыкальную гамму? Не напоминает ли форма правильных игл (изображенных под № 2) форму некоторых природных кристаллов? Вопросы, быть может, странные, которые я, впрочем, ограничиваюсь тем, что ставлю.

Расскажем о нескольких галлюцинациях того же семейства, но уже более отчетливо очерченных.

«Белый дым словно проходит густым облаком, гонимым ветром. Из него временами вырываются языки пламени, такие яркие, что болезненно раздражают мою сетчатку. Вскоре они

поглотили облако; их блеск смягчился; они кружатся вихрем, образуют широкие кокарды, черные внутри, красные и оранжевые по наружному краю. Через мгновение они постепенно раскрываются от середины и становятся всего лишь тонким золотым кольцом, чем-то вроде рамки, посреди которой мне видится портрет одного из моих друзей».

— «Посреди поля, которое охватывает мой внутренний взгляд, вырисовывается холмик зеленого цвета. Постепенно я различаю, что это груда листьев. Она клокочет, как извергающийся вулкан; быстро растет и расширяется, выбрасывая подвижные кольца. Затем из кратера выходят красные цветы, образуя огромный букет. Движение прекращается. Все целое на миг очень отчетливо; а потом все исчезает».

Это видения еще совсем зачаточные. И все же в них находишь тот характер перехода через отвлечение чувственных форм, который роднит их со многими законченными снами; отсюда мы можем заключить, что имеем дело со ступенями одного и того же явления, а вовсе не с особым родом фактов.

Будем же и в наших примерах продвигаться постепенно, и эта истина выступит тем яснее.

«Мне кажется, что я вижу ярко освещенную живую изгородь, сквозь которую виднеется девушка в белом. Мало-помалу ветви кустов выпрямляются с симметричной правильностью. Листва исчезла; девушка забыта. Теперь я вижу длинную корзину, полную белого белья».

— «Сперва мне является лицо, изрытое оспой; его вид, без сомнения, напоминает мне пятнистое дерево, из которого делают набалдашники тростей. Черты уменьшаются и застывают, цвет лица темнеет; волосы заменяются золотой пластинкой; шея

бесконечно вытягивается. Превращение завершено. Передо мной трость».

Разве не легко уловить отвлечения, в силу которых совершились эти мгновенные перемены?

Третье наблюдение, которое я еще приведу, очевидно относится к роду явлений, названному мною *наложением образов*. Два предыдущих примера дали несколько новых доказательств способности воображения видоизменять образы-воспоминания памяти[4]; этот же особенно заставит задуматься о физиологическом механизме наших видений.

[4] В самом деле, если предположить, вопреки всякой вероятности, что в огромных ячейках моей памяти существовали два *образа-воспоминания*, в точности соответствующие двум крайним образам этой двойной галлюцинации, видения переходного периода все равно оставались бы необъяснимыми иначе как творческой силой воображения.

«Я был в переходном состоянии от дремоты к полному сну. Мне казалось, что я вижу замок в стиле Людовика XV, освещенный ярким солнцем. Вдруг образ другого, совсем непохожего замка опустился перед первым, не заслоняя его. Этот второй образ казался написанным на прозрачной кисее, которую будто заставляли плясать между замком Людовика XV и моим взглядом. Он поднимался и опускался так несколько раз подряд, являя очам моего ума одновременное зрелище двух наложенных друг на друга образов — одного неподвижного и плотного на вид, другого подвижного и прозрачного. Это длилось несколько секунд, и все исчезло».

Новые примеры того, как сцепляются идеи и как образы сливаются, преображаются или подменяют друг друга согласно изложенным выше началам. — «Мне кажется, что я играю маленьким очень упругим мячиком, обтянутым кожей,

разделенной на дольки разных цветов. Одна из этих долек — фиолетового оттенка, который напоминает мне палочку сургуча, которой я пользуюсь. Образ этого нового предмета тотчас заменяет мячик; но так как первая идея — играть в мяч — сохраняется, то теперь по ковру живо подпрыгивает, не ломаясь, палочка сургуча. Идея палочки сургуча, однако, не может не повлечь за собой идею хрупкого предмета. Я боюсь, что она сломается, если упадет на твердую поверхность. Бояться чего-либо — значит думать об этом; думать о чем-либо во сне — значит тотчас это видеть. И вот мне снится, что этот странный мяч, ударившись о мрамор камина, разлетелся на несколько кусков. Я ищу обломки, чтобы их собрать. В углу камина я замечаю довольно толстую палку серого цвета. „Но ведь мой сургуч был фиолетовый“, — говорил я себе, нагибаясь, чтобы ее поднять. Ответить мне берется какое-то третье лицо. (Известно, что именно в такой форме чаще всего проявляются во сне наши собственные размышления.) Оно указывает мне, что я поднимаю полено, а вовсе не кусок сургуча. В эту минуту ко мне приходит сознание, что я игрушка смешного сна. Тогда я размышляю о том, что мог перейти от идеи *палочки* сургуча к идее этого полена либо через отвлечение (формы или слов), либо через вполне естественную ассоциацию воспоминаний между углом камина и этим куском дров».

— «Мне снится, что я гуляю с одним из моих друзей, которого назову Морисом. Посыльный, подходящий сзади, одетый с головы до ног в синий бархат, приветствует его, сняв фуражку, и подает ему письмо. Я говорю Морису: „Да обернись же; тут посыльный принес тебе письмо“. Мой друг оборачивается, но в другую сторону. „Я никого не вижу“, — отвечает он мне. „Еще бы, он позади тебя, а ты смотришь вбок“. Морис оборачивается на этот

раз в противоположную сторону, но так и не видит человека, на которого я ему указываю. Тем временем я любовался статной фигурой посыльного и говорил себе: „Из этого человека вышел бы славный карабинер“. И уже, следуя движению моей мысли, за нами шел не посыльный, а карабинер. Между тем Морис, поворачивавшийся вправо и влево, но так и не решавшийся посмотреть назад, все твердил мне: „Я никого не вижу“. И я, начиная раздражаться на эту неловкость, довольно живо брал его за руку, чтобы поставить лицом к тому, кто пытался к нему подойти. Наконец, за это же короткое время образ карабинера заставил меня подумать об одном из наших общих друзей, офицере карабинеров; и когда Морис наконец взял адресованное ему письмо, его протягивала уже не рука посыльного и не рука солдата, а рука этого офицера, нашего общего друга».

Стойкая главная идея; переходы через отвлечение; все это совершенно ясно.

Следующий пример покажется того же семейства:

«Мне кажется, что я спорю с пьемонтским таможенником. Лицо этого таможенника (извлеченное из какой-то затерянной ячейки моей памяти) напоминает мне лицо приказчика из книжной лавки, с которым я иногда разговаривал. И вот приказчик стал таможенником, а спор не прерывается. Однако личность приказчика в конце концов берет верх над личностью пограничного стража. И я перехожу из таможни в книжную лавку, где мой сон спокойно развивается дальше».

— «Мне снится, что я в гостинице чужого города и спрашиваю там, в котором часу табльдот, чтобы заказать верховую лошадь и отправиться на прогулку сразу после обеда. Час обеда, который мне называют, оказывается тем самым, в какой обычно обедает моя семья в деревне. Обед за табльдотом заставляет меня, таким

образом, подумать об обеде в нашем летнем доме. Мне вспоминается тогда кухня этого дома; она мне является; мне кажется, что я в ней. Отсюда выходит, что, выходя из этой самой кухни, я как будто прохожу и через переднюю перед ней, затем снова вижу террасу, на которую выходит эта передняя, и, наконец, иду по аллее парка, вместо того чтобы быть на улицах чужого города. Первоначальная идея, однако, не исчезла: желанная лошадь ждет меня у ворот парка, и мой сон продолжается на соседней дороге, с происшествиями, которые влечет за собой это новое направление».

— «Мне снится, что я только что искупался в море и гуляю по берегу с *полотенцем* в руке. Я набрасываю это полотенце на плечи *вместо купального халата*. Мгновение спустя полотенца у меня уже нет, но мне кажется, что я закутан в широкий купальный халат».

Такого рода подмены *по приблизительному сходству* очень часты. Воля, как мы видели, им не чужда, и всегда мысль предшествует видению и вызывает его. Вот еще один убедительный пример:

«Мне кажется, что я в лесу и защищаю древесной веткой маленького ребенка, которому угрожает какой-то бродяга. Этот человек вооружен длинным ножом. Я жалею, что у меня тоже нет под рукой одного ятагана, который у меня есть. Я сильно подумал об этом ятагане; я вижу его, держу его. Однако идея ятагана повлекла за собой идею моего рабочего кабинета, где я привык его видеть. Здесь смена декораций совсем разорвала главную ткань сна. Речь уже не идет ни о бродяге, ни о ребенке. Обстановка моего рабочего кабинета породила совсем другую картину».

— «Во сне я веду под руку очень хорошенькую мадемуазель В…, которую за венецианский оттенок ее великолепных волос

знакомые порой называли *красавицей с золотыми волосами*. Это прозвище приходит мне на память; мне тотчас кажется, что я вижу эту девушку с волосами из настоящего золота. Тогда сами собой приходят мне на ум другие подобные сравнения. Я говорил себе, что черты мадемуазель В… напоминают античную скульптуру, что ее шея белее слоновой кости, что губы ее цвета розового коралла, а глаза похожи на сапфиры. Из этого движения мыслей и из начала немедленного появления всего, что воображает ум, вышло как раз противоположное тому, о чем рассказывает сказание о Пигмалионе. То есть я перестал думать, что нахожусь рядом с живым человеком, и вообразил, что созерцаю прекрасную статую из драгоценных веществ, какой была Минерва Парфенона».

— «Мне кажется, что я стою перед зеркалом и примеряю одну за другой несколько рубашек, у которых на воротничках нет пуговиц. В моем уме возникает сравнение между этими воротничками, которые нельзя застегнуть, и плохо проклеенными конвертами, которые нельзя заклеить. Против этой последней досады помогает сургуч. И вот я зажигаю свечу; а затем, поскольку первая идея сочетается со второй, мне кажется совершенно естественным ставить на рубашке печати везде, где должны быть пуговицы».

— «Я в кафе, где завтракаю. Я кладу на стол ложечку, которую держал в руке. Но эта ложечка немного похожа на посеребренный ключ — ключ от моего жилища: вот она и превратилась в ключ. Я беру его и кладу в карман. Это навело меня на мысль вернуться домой. От этой мысли до того, чтобы оказаться перед своей дверью, — один миг. Мой ключ уже поворачивается в замке, и я мгновенно перенесен из кафе к себе домой».

Этот способ перехода на практике часто будет опровергать мнение, высказанное г-ном Лемуаном, будто если сон резко прерывается, то это всегда происходит от внезапного вмешательства какого-нибудь органического ощущения.

В только что приведенном сне одно лишь сходство одного чувственного знака с другим так резко прервало видимую цепь идей, что, не уловив этого маленького места спайки, нельзя было бы представить между ними ни малейшей связи.

Одного наблюдения такого рода достаточно, чтобы показать, как рискованно было бы утверждать, что перешел от одного сна к другому без всякой связи, только потому, что не сумел обнаружить между ними никакого связующего звена.

«Мне холодно в постели. Мне снится, что я вышел без пальто в снегопад, и я хочу застегнуть хотя бы сюртук. Это движение, которое я будто бы делаю, направляет глаза моего ума на цепочку от часов, которая должна попасться мне под пальцы, когда я застегиваю сюртук. Цепочка от часов вызывает идею медальона, который на ней висит. Медальон напоминает мне связанное с ним воспоминание. Это воспоминание влечет за собой идеи, совсем далекие от холода, снега и прогулки по улицам. Эти новые идеи образуют новый сон. Я перешел от первого ряда фактов ко второму без ощутимого перехода, но не без перехода логического, как можно судить».

— «Сперва я вижу Луи-Филиппа (этот сон относится к 1846 году). Между главой Июльской династии и ее символом совершается ассоциация идей; и вот Луи-Филипп превращен в петуха. Между тем к королю-гражданину как раз в ту минуту, когда совершилось превращение, подходил служитель, чтобы вручить письмо. Эта идея не исчезла, но видоизменилась. Письмо и подносик, на котором его несли, превратились в корзину,

полную зерна, которую служитель с величайшей важностью подносит галльской птице».

— «Мне кажется, что я обедаю, и я ворчу по поводу поданного мне блюда: „Жестко, как сапожная подметка“. Сапожная подметка тотчас занимает в моей тарелке место кушанья, которое там лежало».

— «Трубка в виде человеческой головы появляется, не знаю как, в одном из моих снов. Лицо, которое она изображает, напоминает мне лицо одного моего знакомого. Трубка исчезает, и тогда я вижу этого человека с чем-то вроде трубочной чашки в мозгу. Белый дым поднимается с макушки его черепа, и так как я исходил из идеи, в которой это было совершенно естественно, я ничуть этому не удивляюсь».

Сон будет менее странным, если подмены менее разнородны; но это всегда будет то же действие ума.

«Мне снится, что я еду в экипаже с актрисой одного театра, в фойе которого я бываю довольно часто. Эта актриса напоминает мне другую. Вторая — третью, и так мой ум перебирает весь женский состав труппы, и мне кажется, что рядом со мной поочередно сидят все эти особы, по мере того как их лица приходят мне на мысль, — причем главная идея прогулки в экипаже не меняется, и я не замечаю этой непрерывной подмены».

Немного выше я говорил о переходах через подмену лиц и о том самопроизвольном движении ума, которое побуждает нас во сне ставить себя на место людей, чье воображаемое положение нас занимает. В моем дневнике есть семнадцать примеров этого гипнологического явления: девять, где я присваиваю себе более или менее тягостные положения, и восемь, где я поочередно

занимаю место актера в театре, оратора перед взволнованной толпой, восточного монарха среди своего гарема и т. д.

Наконец, в том же дневнике я нахожу два сна, показывающих, что тому же явлению следует приписать род сновидений, самый причудливый из всех, который некоторые авторы упоминали как виденный иными людьми, признаваясь при этом, что им это казалось поистине трудно объяснимым. Я говорю о том случае, когда мужчине снится, что он стал женщиной, и, наоборот, женщине — что она принадлежит к мужскому полу. Вот два наблюдения, которые я записал:

«Мне снится, что я вижу молоденькую ученицу-мастерицу с растрепанными волосами, которую жестоко истязает ее хозяин, канатчик. (Накануне или за два дня до того я прочел в газетах о судебном процессе, открывшем факты такого рода, которые меня сильно возмутили.) У девушки в руке был деревянный молоток. Я негодовал, что она позволяет себя бить, не защищаясь; я не мог прийти ей на помощь, не знаю почему, и тщетно кричал ей, чтобы она ударила в ответ. Вдруг оказывается, что ученица — это я; я в ярости обрушиваю удар молотка на лоб мучившего меня человека. Я вижу его окровавленным и поверженным. Потом я боюсь, что меня арестуют; подбираю волосы, завязываю их на затылке, бегу и стараюсь не зацепиться платьем за деревянные рогатины, на которых растягивалась крученая пенька».

Мне было четырнадцать лет, когда я видел этот сон.

Во втором наблюдении, гораздо более позднем, я тоже присваиваю себе очень тягостное положение. «Я был у какого-то чужого народа — индейцев или индусов, сам не знаю. К костру была привязана молодая полуобнаженная женщина, чья красота еще усиливала глубокое чувство жалости, охватившее меня. Языки пламени уже касались ее стройных ног. Это зрелище

надрывало мне сердце. Я представлял себе все муки и все смятенные мысли, которые должна была испытывать эта несчастная. То же явление, что и прежде; то же перенесение — бессознательное в своем совершении, но вполне явственное по своему результату. Я искренне считаю себя этой женщиной, обреченной на казнь огнем. Я сам испытываю все чувства, которые ей приписывал. Затем, благодаря одному из тех поворотов мысли, что так часты во сне и доказывают, кстати сказать, как живо может быть в нем внимание, раз оно доходит до того, что парализует всякое размышление, я уже готов был забыть о своем страшном положении, любуясь собственными формами, когда чувство истины пробилось наружу, и сознание столь несообразной иллюзии разбудило меня».

Следующий сон дает нам пример главной идеи, господствующей над несколькими побочными и проходящей сквозь них.

«Мне докладывают о приходе певицы, которая желает со мной поговорить. В эту минуту у меня в кабинете кто-то есть; я прошу ее подождать немного в другой комнате и тотчас вспоминаю, что слышал эту артистку в опере, где на сцене был великолепный дворец. Отсюда выходит, что, открыв дверь кабинета, чтобы выйти навстречу посетительнице, я встречаю ее под портиком ассирийского дворца. Я беседую с ней. Узнаю, что она ждет от меня статьи. Тотчас я думаю о типографии газеты, в которой пишу. И вот мы беседуем уже в этой типографии, и я предлагаю ей самой просмотреть корректуру фельетона, который может ее заинтересовать».

Приведем несколько новых примеров крайней бессвязности. Как ни незатейливы они, они поучительны самой своей несообразностью, ибо показывают нам, что нет такой

бестолковой путаницы, которая не имела бы своего основания в разумной ассоциации наших идей и которую, следовательно, нельзя было бы объяснить, не прибегая к удобной теории самопроизвольных колебаний нашего мозга.

Если сто раз против одного не удается распутать спутанные нити беспорядочной ткани, то уже то, что их удается ухватить один раз из ста, остается весьма сильным доводом, позволяющим судить от известного к неизвестному или, если угодно, от уловленного к неуловленному.

Начну со снов, взятых из первых тетрадей моих ежедневных записей; никто не удивится, если они окажутся довольно детскими.

«Я слышал, что щечки маленькой дочки одной нашей соседки похожи на бархатистые персики. Сравнение было не новое, но я впервые его услышал, и оно меня поразило. Ночью мне снится, что я сорвал со шпалеры огромный персик, который в точности изображает мою маленькую соседку. Он кажется мне превосходным, и я вполне уверен, что это настоящий плод; однако я не решаюсь ни разрезать его, ни надкусить: боюсь совершить жестокость и, борясь с собственными колебаниями, никак не могу их победить, ибо два борющихся чувства не могут слиться, как два внушающих их образа. Поэтому я покорно терплю это чудовищное смешение, не отдавая себе отчета в его странности, а следовательно, и не удивляясь ему».

Две несходные идеи, идущие так бок о бок, — явление очень частое в наших снах и один из главных источников бессвязности. Они примиряются, насколько могут, — а во многих случаях это немного, — и ум обычно весьма снисходительно принимает несообразности, которые из этого выходят. Примеры:

«Две кобылы одной масти являются мне во сне, составляя прекрасно подобранную упряжку. Я сравниваю их с двумя сестрами-близнецами. Тогда это две девушки, которые то везут экипаж, то, как мне кажется, сидят в этом экипаже. Затем их отводят в конюшню, где они оказываются лежащими в белоснежных постелях».

— Одна очаровательная артистка сказала мне однажды: «Я должна рассказать вам странный сон, который видела. Мне приснилось этой ночью, что в мою комнату вошел огромный белый лев. Сперва я ужасно испугалась. Он перескакивал с мебели на мебель, и я не знала, куда спрятаться; но так как он подходил ко мне с очень любезным видом, я перестала его бояться, принялась его гладить и даже играла с ним, когда проснулась».

Я знал, что у этой артистки был большой белый кот, и узнал от нее самой, что за два дня до этого сна она ходила в цирк посмотреть на укротителя львов.

— «Мне представляется, что я вижу даму в зимнем наряде, с муфтой. Я думаю о тонкой головке зверька, которому принадлежал этот мех. Голова куницы тотчас заменяет голову дамы, и эта фигура во вкусе Гранвиля спокойно проходит передо мной с муфтой в руке».

В этих двух последних снах — полное соединение, открытое слияние двух порядков идей, вызванных одновременно.

Вот еще сон, который по несообразности не оставляет желать лучшего, но все развитие которого, думаю, я тем не менее проследил шаг за шагом:

«Я чувствовал, что скольжу в пропасть, на дне которой, на огромной глубине, различал почти темное пламя — так оно казалось задавленным окутывавшим его густым черным дымом. Я и сам задыхался, и мне было очень страшно. — Я достигаю дна

пропасти. Погружаюсь в это пламя и в этот дым, не испытывая никакого вреда, и оказываюсь посреди обширного погреба, где два повара в белых колпаках были заняты тем, что жарили не кофе на углях, а угли на раскаленном кофе. Я чувствовал себя очень усталым. Моя кровать была тут же, не знаю как. Я захотел лечь, и один из поваров прогрел мне постель, как грелкой, своей жаровней для обжаривания — не кофе, а угля. Мне это показалось вполне естественным, и я ничуть не удивился, когда он затем открыл свою жаровню, высыпал содержимое на пол и поднял один из кусков угля, раскалывавшихся при падении, чтобы узнать, который час. Каждый круглый излом этих кусков угля имел вид часового циферблата, правда совсем черного, но очень хорошо нарисованного и очень точно показывающего время. — Я увидел таким образом, что была ровно полночь. В ту же минуту стены подземелья разошлись, и я увидел большую пустынную площадь, а в глубине — мрачный собор, вырисовывающийся на бледном небе. Тогда у меня возникло чувство, будто сейчас произойдет что-то ужасное, и волнение, которое я при этом испытал, разбудило меня».

Отправной точкой была, думаю, болезненная причина. Я испытывал настоящее стеснение в груди, которое по сходству ощущения прежде всего напомнило мне то, что я испытал несколькими месяцами раньше, посещая рудники, куда спускались так же быстро, как и мало успокоительно. Две вещи особенно поразили меня при посещении этих рудников: темнота, царившая в некоторых галереях, и опасность огня, когда там случался пожар. Я убежден, что соединение этих идей и произвело ту смесь пламени и темноты, сквозь которую мне казалось, что я прохожу.

Черный дым, из которого вырываются отдельные струи пламени, — это видение я часто наблюдал из своих окон, когда

мой сосед-бакалейщик жарил кофе. Прибавьте к этому воспоминание о ссоре, свидетелем которой я был однажды, между этим бакалейщиком и поваром одного из его покупателей, упрекавшим его в том, что тот продал ему *уголь вместо кофе*, до того этот кофе был *пережжен в уголь*. Вот уже и вторая картина сна объяснена. — Быть может, вы спросите меня, почему *два* повара? На это я вам отвечу, что не знаю, но что это подробность малой важности. Что же до идеи подземелья, она явно связана с первым впечатлением сна: спуститься в глубокое место.

Мы подходим ко второй фазе, отличающейся от первой особенно тем, что никакой пугающий образ уже не держит мое внимание в плену. Я сказал выше, что считаю этот сон несколько болезненным. Поэтому совершенно естественно, что чувство действительной усталости внушило мне идею лечь в согретую постель. Жаровня для обжаривания кофе в роли грелки — один из тех случаев смешения по сходству образов, о которых уже шла речь. Выбросить уголь после того, как он послужил, — это в порядке вещей. Увидеть часовой циферблат в изломе каждого куска угля — вот что более странно; но если я выбрал этот сон в числе разбираемых, то именно потому, что мне удалось, как я думаю, проникнуть почти во все его подробности. За несколько дней до того я приметил у торговца редкостями нечто вроде игрушки из резного черного дерева, изображавшей кусок угля, оба конца которого, раздвигаясь, открывали с одной стороны компас, а с другой — маленький астрологический циферблат, усеянный каббалистическими знаками. Я не сомневаюсь, что это воспоминание и привело ко всему концу моего сна непрерывной цепью идей, родство которых отсюда нетрудно уловить.

Когда самопроизвольная ассоциация идей, и прежде всего идей-образов, совершается посредством неких отвлечений,

которые ум улавливает, так сказать, без собственного ведома, спящий испытывает изумление, подобное тому, какое вызывает у нас в действительной жизни всякое неожиданное происшествие.

Мне снится, что в мою дверь звонят. Я открываю и вижу незнакомое лицо или кого-нибудь, о ком я очень давно не думал. Очевидно, какое-нибудь мелкое обстоятельство — форма двери, или ее цвет, или то, как я ее открыл, или какое-нибудь легкое внутреннее ощущение — послужило тонким поводом к этому нежданному появлению; но благодаря полной самопроизвольности этой душевной работы изумление вполне настоящее для того «я», которое размышляет.

Говоря о воображении и памяти, я упоминал о своего рода душевном раздвоении, которое совершается во сне, когда нам кажется, будто мы беседуем или спорим с каким-нибудь воображаемым лицом, и мы не подозреваем, что сами, в одиночку, ведем весь разговор или весь спор. Вот два новых примера: один просто подкрепляет уже приведенные, а другой показывает иллюзию особого рода.

«Мне снилось, что я читаю одному знакомому писателю рукопись статьи, о которой хотел знать все его мнение без утайки. Поэтому он прерывал меня всякий раз, как находил что-нибудь, что стоило поправить, — мысль, фразу или неудачно выбранное слово. Я же со своей стороны то принимал, то оспаривал одну за другой предложенные поправки. Иногда критика казалась мне совершенно справедливой, иногда я упрекал своего судью в некоторой пристрастности, в пользу известных мне его склонностей». — Проснувшись, я не мог припомнить весь текст этого обсуждавшегося сочинения, но очень хорошо помнил несколько мест, где я поистине уловил, с удивительными оттенками оценки, и то, что я мог бы написать о том или ином

предмете, и то, что подумал бы об этом друг, к которому я обратился за советом.

— «Мне кажется, что я еду в экипаже с какой-то дамой. Эту даму я вижу впервые, и все же — странное дело — у меня есть чувство, впрочем нисколько меня не удивляющее, что она — это я сам или часть меня самого. Мы вместе едем к одному знакомому, которому должны нанести скучный, но обязательный визит. По дороге моя спутница предлагает отложить исполнение этого долга на другой день. У нее, говорит она, болит голова, и ей нужно погулять на свежем воздухе. Я отвечаю, что эта головная боль — лишь предлог, что я отлично чувствую, как она легка, и что визит надо сделать все равно».

То, что я говорил о некоторых вещих снах, чудесных лишь с виду, особенно приложимо к этим монологам-диалогам, с которых, как, впрочем, можно было заметить, начинаются многие наши сны. Обсуждая противоречивые вопросы, которые мы задаем сами себе, мы обходим все поле возможного, приводим в действие построенные нами предположения, и если только наш ум предвидел верно, нам как раз и приснилось будущее.

В моих записях есть семь довольно замечательных примеров такого рода предвидений; но очевидно, что придавать им больше значения, чем надежности собственных суждений, нельзя. К тому же случается видеть во сне попеременно то «за», то «против», смотря по тому, какое направление предпочтительно принял ход мыслей.

Что касается снов, вызванных физическими причинами, их предсказания могут иметь больший вес, поскольку здесь может быть действительная производящая причина. Не возвращаясь к болезненным снам и внутренним ощущениям, приведу еще два

небольших случая, свидетельствующих о чрезвычайной тонкости некоторых чувственных восприятий у спящего человека.

Стояла осень того года, когда мягкая погода продержалась очень долго. Ничто не предвещало никакой перемены в воздухе. «Мне снится, что я только что встал и вижу, что лужайки перед моими окнами сплошь покрыты инеем. Я просыпаюсь и могу убедиться, что мой сон был действительностью». — «В другой раз, проспав далеко за утро, я вижу во сне, что сажусь за семейный завтрак и что среди поданных нам блюд — две лисицы на вертеле. Ничего подобного, разумеется, в час настоящего завтрака не происходит; но я узнаю, что в то самое утро поймали и принесли на кухню целый выводок живых лисят». Моя комната довольно далеко от кухни, но можно ли предположить, что совпадение столь странного сна и столь необычного происшествия — следствие простой случайности? Напротив, разве не почти несомненно, что дикий запах молодых лисиц, смешавшись с запахом кухонных плит, должен был, как бы ни был он слаб, подняться до меня и что в этом необычном сне надо видеть сложный плод изощренного обоняния?

Логика снов. — «На сельской дороге, идущей вдоль широкой реки, я вижу, как подходит и проходит передо мной полк с музыкой впереди. Однако, хотя оркестр проходит совсем рядом со мной, хотя я различаю каждого музыканта в позе человека, играющего на своем инструменте, я не слышу ни малейшего звука. Моя память, полагаю, находила в этом случае лишь зрительное чувственное воспоминание; никакой военный марш мне на ум не приходил. Но чтобы видеть проходящих музыкантов и не слышать их, нужно, чтобы они были очень далеко от нас. Не этой ли безотчетной логике я должен приписать резкую перемену, которая тотчас же произошла в моем сне? Полк проходит уже не

рядом со мной: мне представляется, что я слежу за ним глазами на другом берегу реки». — «Мне снится, что я привожу в порядок волосы перед зеркалом, собираясь выйти, чтобы отправиться на бал, куда меня пригласили. (Действие происходит в моем нынешнем жилище, где я живу уже шесть лет.) Прическа моя в таком беспорядке, что я считаю необходимым послать за парикмахером, моим соседом. Ожидая его и не зная наверное, сможет ли он прийти, я все же пробую сам орудовать гребнем и щеткой, и мне удается, между прочим, провести на одной стороне головы очень четкий пробор. Но я уже почти десять лет как оставил такую прическу. Ее вид переносит меня в то время, когда я жил в другом доме; и картина меняется вслед за движением моей мысли. Теперь мой сон продолжается в моей прежней квартире, и когда приходит парикмахер, за которым я посылал, это уже не тот сосед, о котором я подумал сначала, а другой парикмахер, ходивший ко мне прежде и давно уже умерший. — Эти перемены, впрочем, нисколько не помешали мне держаться главной мысли — о бале, на который я должен ехать».

Рядом с этими и многими другими подобными фактами я замечаю, однако, частое повторение явления совершенно противоположного. Это крайняя трудность признать, даже в тех снах, где я вполне сознаю, что сплю, что какой-нибудь воображаемый спутник не разделяет со мной иллюзий, что он и сам лишь тень, часть видения. Мне снится, например, что я поднимаюсь на колокольню церкви с одним из друзей и что перед нашими восхищенными взорами развертывается великолепная панорама. Я прекрасно знаю, что это лишь сон, и тем не менее говорю сопровождающему меня другу: «Запомни хорошенько этот сон, прошу тебя, чтобы мы поговорили о нем завтра, когда проснемся».

Рассказы о нескольких последовательных снах, в которых находят применение некоторые изложенные в этой книге начала, в особенности относительно способов вызывать или отстранять те или иные образы и наблюдать за собой во сне. — «Сначала я спускаюсь по чему-то вроде подземной лестницы, прохожу через очень старую церковь, затем оказываюсь у входа на сельский праздник с танцами бретонских крестьян. Оттуда, следуя по аллее густых деревьев, я попадаю в другой сад, побольше, или, вернее, в настоящий городок садов, то есть в местность, где уступами располагалось бесчисленное множество домиков, и у каждого — свой сад, обнесенный стенами и живыми изгородями, а к ним вели маленькие улочки-лестницы. Я замечаю один из этих домиков, где помещался пансион для девиц, — все они были миловидны, все одеты одинаково; они гуляли в своем саду, калитка которого оставалась открытой. Поглядев на них минуту, я возвращаюсь назад той же дорогой; снова прохожу через сельский праздник и старую церковь и снова оказываюсь у подножия подземной лестницы, по которой спустился. Однако мне трудно различить первые ступени, и я ясно замечаю, что вот-вот проснусь: предметы перестают быть очень четкими, а некоторое ощущение действительных внешних впечатлений (то самое ощущение, которое и предупредило меня, что я сплю) понемногу усиливается. Мне приходит мысль попытаться удержать сон неподвижностью взгляда и воображаемой неподвижностью тела, как я уже не раз делал прежде. Итак, я сажусь у подножия лестницы, стараюсь оставаться совершенно неподвижным, устремляю взгляд на свою правую руку и жду, чтобы узнать, что возьмет верх — сон или пробуждение. Тогда я чувствую, как по мне (и особенно вдоль позвоночника) проходит словно магнетическая волна, нечто вроде дрожи, бегущей сверху вниз,

которая постепенно меня оцепеняет и, кажется, отягчает мне голову, — нечто похожее на то, что производит начало опьянения. Вскоре моя рука, на которую я устремил взгляд, сначала не различая вполне отчетливо ее цвета и формы, напротив, представляется мне все ярче и отчетливее освещенной. Кажется, будто ее освещает солнце, озаряя заодно и несколько камней стены передо мной, на которых снова становились видны мельчайшие подробности. Я отваживаюсь повернуть голову. Подземный коридор освещен ничуть не хуже. Я встаю и хочу попробовать снова совершить ту же прогулку той же дорогой, чтобы проверить, насколько я смогу мысленно снова увидеть те же вещи и, следовательно, увидеть их во сне второй раз. Я прохожу через церковь, как прежде, затем через тот же праздник, где снова нахожу тех же бретонских крестьян, и вступаю в ту же аллею густых деревьев. По дороге, отлично зная, что сплю, я думаю об идеях Мори; спрашиваю себя, какая, по его мнению, часть моего мозга бодрствует таким образом. Ему пришлось бы, говорил я себе, признать бодрствующим весь мой мозг целиком, ибо в эту минуту я искренне считаю себя в полноте своих умственных способностей, чувствую, что могу рассуждать и вспоминать. То, что я читал о материалистических теориях, и то, что я собираюсь записать об этом сне, очень ясно представляются моему уму. Я даже рассуждаю так: образы, являющиеся мне в этом сне, навязаны мне не больше, чем образы, которые действительно предстают моим глазам наяву; я так же свободен повернуть направо или налево, устремить глаза в ту или другую сторону и так далее и, наконец, вызвать те или иные сцены или видения, смотря по тому, *захочу* я или *не захочу* мысленно действовать соответственно. Например: *если я хочу* сломать ветку одного из деревьев, которые, как мне кажется, я вижу, она представится мне

сломанной. *Если не хочу*, она сохранит перед очами моего ума свой нетронутый вид. Чем же здесь сон, на мой взгляд, отличается от действительности? Я вспоминаю, рассуждаю, хочу, не хочу; я даже не игрушка иллюзии, которая меня пленяет. Если веления моей воли не сопровождаются действительными усилиями, то единственно потому, что мои органы, вместо того чтобы на самом деле повиноваться моей мысли, лишь изображают повиновение; но психологическое явление то же самое. Так работал бы ткацкий станок, пущенный вхолостую. — Я думаю также, что в состоянии ясного сна, в котором я себя чувствую, очевидно, мысль вызывала бы знак, образ и заставляла бы совершиться соответствующее движение волокон, если оно необходимо, — а не знак, образ, движение волокон навязывали бы связанную с ними идею, как предполагает Мори. Фантазия обладала здесь, как и действительность, своей свободой воли, и почин оставался за моей волей. — Так я рассуждал, идя по аллее, которая должна была привести меня к цели моей воображаемой прогулки. Я пришел в городок маленьких садов, но никак не мог найти там своей прежней дороги. Заблудившись в лабиринте новых тропинок, я пытался отыскать уже виденный пансион, вдвойне любопытствуя, появится ли он снова, несмотря на ложный путь, который я только что проделал в своих воспоминаниях. Но я почувствовал, что оцепенение начинает проходить, а образы между тем бледнели и становились смутными. Напрасно я силился во второй раз удержать сон: мне удалось лишь продлить его на несколько секунд. Первое действительное ощущение проснулось в моей правой руке; оно быстро распространилось на все тело. Я открыл глаза, взял перо и тотчас записал все это»[1].

[1] К этому наблюдению, дословно взятому из моих записей, добавлю, что с тех пор мне дважды случалось отчасти снова увидеть тот же сон и попытаться снова

пройти по тем же воображаемым местам. Сельский праздник я видел снова, но на дороге к пансиону всякий раз сбивался. Тогда я несколько раз проделал описанный выше опыт: закрывал глаза (во сне) и крепко думал о том, что хотел бы увидеть снова. Так мне удалось дважды вызвать ускользнувшее видение; но то ли оно было недостаточно четко запечатлено в моей памяти, то ли по какой-то другой причине, едва я успевал его разглядеть, как его почти мгновенно сменяли другие картины и не давали мне на нем задержаться.

— «Мне кажется, что я в деревне. Я возвращаюсь с верховой прогулки. Подъезжаю к решетке нашей усадьбы и вижу рабочих, которые выкорчевывают старые липы, ее украшение. Мое удивление и раздражение крайние. Я хочу сойти с лошади, чтобы поговорить с ними поближе; но, желая перекинуть ногу через седло, я совершаю действительное мышечное усилие, отчего глубина моего сна нарушается, и я на мгновение чувствую, что лежу в своей постели, а не где-нибудь еще. Тем не менее я все еще сплю. Я хочу пойти к рабочим, но образы сна уже не так отчетливы. Сознавая свое состояние и считая случай благоприятным для продолжения моих опытов, я пристально устремляю взгляд на землю; сосредоточиваю все свое внимание на нескольких травинках, которые на мгновение снова становятся видны очень отчетливо. Однако мысль, что я на самом деле в своей комнате и в своей постели, отстранить уже невозможно. Я думаю, что вместо травы мне следовало бы видеть ковер. Думать о предмете, повторим еще раз, — значит видеть его. И вот я вижу этот ковер; я перенесен в свою комнату, и, хотя я забываю рассуждение, которое меня туда привело, — ибо сон вновь обрел всю свою глубину, — именно отсюда мой сон вновь оживляется и продолжается».

Три вещи кажутся мне достойными внимания в этом последнем сне: 1) действительное усилие, последовавшее за проявлением моей воли, и то, что я его ощутил; 2) озабоченность

моим истинным положением, которая взяла верх над желанием продолжить первый сон, — так и наяву нам порой не удается стряхнуть с себя сильную озабоченность; 3) одно особое обстоятельство, которого я не упомянул в предыдущем рассказе, но которое все же записал: внимательно рассмотрев липы своего сна, когда они снова явились мне с мельчайшей отчетливостью, я достаточно запомнил расположение их стволов и ветвей, чтобы на другой день после этого сна убедиться, что между этими видениями и обликом настоящих лип тождества не было. Работа воображения была здесь, следовательно, явной: то ли эта способность смогла целиком выдумать деревья, которые она предложила моим внутренним взорам, то ли, воспользовавшись каким-нибудь *отпечатком*, доставленным памятью, она сумела изменить его, приспособить к тому, для чего он был ей нужен, и, наконец, вставить в картину[2].

[2] То, что во сне вещи видятся иными, чем в действительности, особенно сказывается в видениях местностей или внутреннего убранства домов. Память мест оказывается при этом менее надежной и менее верной, чем память на людей или на совершившиеся события.

Я говорил о том, как вызывать во сне некоторые приятные впечатления, и сказал также, что, для того чтобы разом отстранить тягостную иллюзию, когда сознаешь, что это лишь иллюзия, чаще всего достаточно закрыть глаза (во сне). Наблюдение, которое я сейчас приведу, показывает, как можно изменить течение идей-образов. «Однажды мне приснилось — не могу догадаться, по какой прихоти моего воображения, — что я почувствовал шевеление вокруг шеи, в галстуке, и, поднеся туда руку, обнаружил, что вместо галстука у меня змея. Это впечатление было мне ужасно неприятно, и с тех пор малейшее воспоминание возвращало этот сон, который сделался таким

образом моим кошмаром. У меня было чувство, что это всего лишь сон, но иллюзия возвращалась так быстро, что я не успевал противопоставить ей никакого рассуждения. Я увидел в этом случай для опыта. Я взял кожаный пояс, наполненный охотничьей дробью, которая перекатывалась и пересыпалась при каждом движении с очень ощутимым подрагиванием, и несколько дней носил это приспособление на шее в те часы, когда не опасался, что кто-нибудь из гостей застанет меня в столь странном наряде. К тому же я часто снимал и снова надевал этот странный галстук, время от времени отсыпая из него и подсыпая в него несколько зарядов дроби. И вот что произошло: при первом же возвращении во сне того ощущения подрагивания, которое всегда предшествовало описанной мною тягостной иллюзии, я мгновенно вспомнил и о мнимой змее, и о ее начинке, и о разных побочных понятиях, с нею связанных; так что вместо того чтобы снова увидеть страшное видение, я вообразил сначала, что сам снимаю безобидный галстук, а потом спокойно заряжаю ружье, тогда как две собаки вертятся и прыгают вокруг меня. Вскоре я уже беседовал с одним из моих друзей, страстным охотником, чей образ совершенно естественно вызвала ассоциация идей. С тех пор мой сон принял оборот, в котором не было ничего неприятного. Он вернулся еще однажды ночью, при сходных условиях, и наконец больше не появлялся». Я мог бы привести десяток сочетаний того же рода, почти всегда удачных; но и одного этого примера будет достаточно, чтобы навести каждого на практические средства, которые стоит испытать.

Перейдем к другим наблюдениям, не лишенным некоторого родства с предыдущим, поскольку речь по-прежнему идет об идеях и образах, ассоциацию которых можно заранее подготовить и упорядочить, чтобы управлять своими снами.

У меня был китайский альбом, изображавший целый ряд дворцов, пейзажей и более или менее сказочных сцен, — все это было написано с подкупающей убежденностью и очень яркими красками. Там можно было видеть китайского Сарданапала, важно восседающего посреди роя молодых азиаток с осиными талиями, тонкими пальцами и невероятно крошечными ножками, которые всячески с ним кокетничали и играли на всевозможных инструментах. Мосты, запруженные пестрой толпой, таинственные леса, населенные разбойниками с добродушными лицами, а затем беседки всевозможных форм, деревья, усыпанные исполинскими цветами, лунные ночи, диковинные животные и нескончаемые процессии паланкинов.

Мне показалось, что такой альбом заключает в себе все желательные составные части, чтобы облегчить несколько опытов над возможностями образной памяти. Поэтому я несколько дней подряд очень внимательно рассматривал все эти картины, связывая в уме впечатления от них с чувственным воспоминанием, которое одновременно запечатлевало в моем обонянии многократное вдыхание цветочного порошка — восточного изделия с совершенно особым ароматом. Поскольку этот прием связывания воспоминаний был подробно объяснен выше[3], я отмечу здесь лишь неожиданные действия, которые произвело на пять снов повторное вдыхание того же душистого порошка, устроенное во время моего сна. Три раза мне снились очень разнообразные сны, где я, казалось, видел в движении часть сюжетов китайского альбома вперемешку с бесчисленными образами и происшествиями совсем иного происхождения, которые ассоциация идей сочетала между собой, придавая им всем одинаковую видимость живой действительности. Два же раза, напротив, — по довольно замечательной обратной

взаимности, — действительные места, друзья или знакомые мне люди, чьи образы ассоциация идей вызвала вслед за теми, что были лишь воспоминаниями об альбоме, и которыми воображение воспользовалось, чтобы соткать новое действие, предстали очам моего ума уже не в облике настоящих предметов, а в виде собрания гравюр и акварелей, а значит, безжизненных и плоских.

---

[3] См. выше.

В другую ночь: «Я видел себя в очень изящно убранной комнате, всю мебель которой различал с совершенной точностью, хотя не мог припомнить, откуда я взял эти образы-воспоминания; но все же говорил себе, что воображение, как мне кажется, не могло бы мгновенно выдумать столько мелких подробностей. Передо мной было зеркало; я посмотрелся в него и увидел себя в халате со странными разводами, в которых узнал рисунок ткани в куске, которой любовался накануне в витрине большого магазина. Значит, надо предположить, говорил я себе далее, что этот образ — плод двойного отвлечения: моя образная память, чтобы составить это видение, воспользовалась и формой какого-то халата вообще, и видом ткани, которую я видел лишь развернутым куском. Я перебирал в голове несколько вопросов, также касавшихся совместной силы воображения и памяти. В частности, я подумал об одном замечании, которое, как мне казалось, я сделал: по драгоценному благодеянию природы воспоминание о сильной физической боли никогда отчетливо не запечатлевается в нашей памяти и, следовательно, не может ожить во сне[4]. Я увидел шило среди множества предметов на моем столе; я был совершенно уверен, что сплю; я взял этот инструмент и вонзил его себе в руку. Образная память тотчас предложила мне

образ кровавой раны. Боли — никакой; разве что то тягостное безотчетное чувство, которое непременно вызвал бы у меня вид такой же раны у другого человека. Я снова поднимаю глаза к зеркалу: я был уже не в халате, а в дорожном костюме. Вероятно, этот переход был вызван какой-то ассоциацией идей, связанной с моей раненой рукой; но хотя мой ум был открыт для наблюдений, я не обратил на эту перемену никакого внимания; я заметил ее лишь при пробуждении. Из комнаты, где совершились эти происшествия, я перенесся, сам толком не знаю почему и как (здесь пробел в моих воспоминаниях), в очень красивый сад, деревья и цветы которого сначала различал лишь в виде смутных силуэтов, примерно так, как если бы смотрел на них в бинокль, не наведенный на резкость. Я подумал, что мой сон близится к концу и что я сейчас стану свидетелем постепенного пробуждения. Вместо этого деревья, растения, песок аллей мало-помалу приобрели безупречную четкость. Особенно я сосредоточил внимание на цветущем олеандре, который ярко выделялся на свету рядом со мной. Сколько времени, спросил я себя тогда, можно было бы удерживать такое видение? Лишь несколько секунд — таков был ответ, который дал мне опыт. Олеандр, на который я так внимательно смотрел, начал понемногу бледнеть и истончаться; он постепенно исчезал, тогда как общий свет заметно убывал во всей картине. На этот раз это было настоящее пробуждение. Смутный силуэт того, что только что было садом, полным солнца, словно убежал вдаль, уменьшаясь, как иные фантасмагорические изображения. Впечатления действительности хлынули во все мое существо. Сон рассеялся».

[4] Я, разумеется, не хочу сказать, что теряешь память о том, что страдал. Теряется способность точно припомнить характер прошлого страдания так, как припоминаешь видение, звук, вкус.

Последние выдержки из моих тетрадей, включающие несколько отдельных наблюдений. — Я уже отмечал как весьма ошибочное, на мой взгляд, довольно распространенное мнение, будто часто достаточно крепко подумать о ком-нибудь или о чем-нибудь перед сном, чтобы это увидеть во сне. Если речь идет о неотступной заботе, осаждавшей нас весь день, то та же навязчивая мысль может преследовать нас и во сне и проявиться в нем; но если мы лишь намеренно и на минуту, ложась, подумали о каком-нибудь предмете, то поток ассоциации идей, успевший вернуться к своему прихотливому течению во время первого сна, будет уже далеко от точки отправления, когда наши видения начнут отчетливо вырисовываться. Как часто мы утром намереваемся не забыть в течение дня о какой-нибудь небольшой обязанности, а потом поток занятий или дел оттесняет, хотя бы на время, воспоминание о ней, если его не закрепила никакая запись. Тем скорее отвлекаемся мы от мысли, которую хотели бы найти во сне, если не было заранее устроено никакого напоминания о ней.

С другой стороны, как в действительной жизни порой случается без видимой причины, что та или иная сравнительно маловажная мысль с необыкновенной силой врезается в память и потом возвращается при всяком случае, так и у нас бывают иные сны, оставляющие после себя удивительно стойкое впечатление. Чем чаще воспоминание уже повторялось, тем больше у него шансов повториться снова, поскольку число побочных идей, способных его вернуть, умножилось на все те, что родились среди новых обстоятельств, сопровождавших каждое возвращение главной идеи. Тогда в течении идей совершается явление, которое почти можно сравнить с течением воды по гладкой поверхности: едва тонкая струйка проложила себе путь в каком-нибудь направлении, все струйки, которые на нее натыкаются,

устремляются за ней тем же путем и к той же точке. Так самого слабого побуждения достаточно, чтобы мгновенно спаять новый сон с тем, который уже не раз развертывался. Те же ассоциации идей-образов непременно повторяются в точности.

* * * Во время снов, в которых, сознавая, что сплю, я пытался тщательно изучить, как ассоциируются идеи и как образы сменяют друг друга и сочетаются по мере этих ассоциаций, мне часто случалось ставить свой ум у входа в какой-нибудь ряд воспоминаний, предлагать памяти работать самой по себе и с любопытством ждать, что из этого выйдет. И неизменно выходило то, что я убеждался, будто моя память противится этому опыту, хотя она, напротив, очень охотно ему поддавалась; но иллюзия длительности, которую она придавала первым воспоминаниям, заставляла меня думать, что, вместо того чтобы быстро следовать цепи идей, она отказывается от чистой грезы и останавливается на одной картине.

С другой стороны, я часто забывал свою первоначальную мысль, едва ассоциация идей-образов приводила какую-нибудь картину, способную пленить мое внимание; и тогда мне казалось, что я неудержимо вовлечен, как действующее лицо, в воображаемые события, точку отправления которых сам же определил.

* * * «Мой сон был очень чуток. Церковные часы пробили пять, и я слышал удары во сне. Но мне вообразилось, что бьют в набат: каждый удар, казалось, повторялся больше десяти раз, с весьма заметными промежутками».

Здесь надо отметить два факта: 1) действие звуковых волн на мою барабанную перепонку, куда более чувствительное, чем наяву; 2) ощущение времени гораздо более долгого, чем в

действительности, поскольку бой пяти ударов часов показался мне длящимся по меньшей мере три минуты.

* * * Воображаемое закрывание глаз, о котором уже говорилось в этой книге[5], дает одно из лучших средств удостовериться, бодрствуешь ты или спишь, когда видишь некоторые очень ясные сны. Если бодрствуешь, то, очевидно, получишь неизменную темноту. Во сне же, напротив, очень скоро начинают появляться новые образы; таково отличительное свойство сна, и иллюзия закрытых глаз может длиться лишь мгновение.

---

[5] См. выше.

* * * Нынче ночью мне приснился очень странный сон, который, по-моему, полезно записать как пример того, как можно наяву забыть сон, а во сне — свои дневные мысли. «Сначала мне приснилось, что, выходя из театра, я сажусь в наемный экипаж и экипаж трогается. Почти тотчас я проснулся, впрочем не удерживая в уме этого столь незначительного видения. Я посмотрел, который час, на своих часах; поднял огниво, которое уронил; и после десяти или пятнадцати минут полного бодрствования снова заснул. И вот тут начинается странность. Мне кажется, что я просыпаюсь в этом экипаже, куда, как я прекрасно помню, сел, чтобы вернуться домой. У меня как бы чувство, что я продремал около четверти часа (не припоминая, впрочем, какие мысли могли пройти у меня в голове за это время). Поэтому я соображаю, что добрая часть пути уже должна быть пройдена, и выглядываю в окошко дверцы, чтобы узнать, на какой мы улице, — приняв, таким образом, за минуту сна те несколько мгновений, в течение которых я как раз перестал спать».

* * * Я привел несколько примеров совершенного припоминания или быстрой импровизации во сне в форме воображаемого чтения. Следует указать и на обратную сторону этого явления, которая состоит в том, что порой тщетно силишься разобрать письмо, печатный лист, рукопись, содержание которых непонятно с первого взгляда. Этот последний случай встречается даже чаще всего. Я испытал его больше двадцати раз; я старался отдать себе отчет в том, что происходит в моем уме, и вот что, как мне кажется, я наблюдал.

Более или менее острая боль в глубине глазниц почти всегда сопровождает усилие внимания, которого требует воля. Фразы, которые удается тогда уловить, крайне бессвязны. Слова, из которых они состоят, кажутся не связанными никакой разумной связью. Ассоциация идей и воспоминаний вызывает их в порядке, который не может дать никакого последовательного смысла, — так было бы, если бы мы наяву писали слова чужого языка в том порядке, в каком их выучили, или просто по мере того, как они приходили бы нам на память, вызываемые одно за другим сходством корней и созвучий.

Разница между этими двумя родами снов состояла бы, следовательно, в том, что в тех, где читаешь с очень большой легкостью, память и воображение целиком заняты умственной стороной отрывка, который, как нам кажется, мы читаем, а его письменное изображение есть лишь побочное видение, связанное с главной идеей; тогда как, напротив, в снах, где с таким трудом разбираешь текст, единственный по-настоящему оживший образ-воспоминание — это образ книги, рукописи или письма, без их содержания. Желая узнать само это содержание, мы требуем от памяти и воображения понятий, чуждых тому запасу идей, который им в эту минуту доступен. Застигнутые врасплох, эти

способности обращаются к более или менее смутным воспоминаниям, которыми не руководит никакая главная мысль, и эта мучительная работа дает лишь очень скудные плоды.

Когда нам снятся такие сны, нам иногда кажется, будто мы протираем глаза, чтобы лучше видеть, и мы как будто и в самом деле видим немного лучше, взбодрив таким образом свою сетчатку. Таинственные секреты внутреннего зрения, кто возьмется вас объяснить!

* * * Вот еще шесть снов, которые станут как бы послесловием к главе о воображении и памяти.

«Мне привиделся во сне барельеф из белого мрамора очень тонкой работы, изображавший Вакха и Ариадну, за которыми следует толпа фавнов и сатиров. Проснувшись, я вспомнил, что композиция этого барельефа в точности повторяла картину, которую я давно знаю. Мое воображение, чтобы составить этот сон из воспоминаний о формах, добавило, следовательно, рельеф и убрало цвет».

— В другом сне: «Сначала я видел статую на пьедестале, стоящую перед стеной, обтянутой зеленым бархатом или зелеными обоями. Через мгновение это была уже не статуя, а простая фреска. Вскоре иллюзия настоящей статуи возникла снова, чтобы опять исчезнуть, и так несколько раз подряд, пока, подойдя к стене, я не увидел лишь грубую малярную покраску, чему очень удивился!»

— «Мне казалось, что я листаю собрание раскрашенных карикатур, исполненных с задором, который меня очаровывал. Я хотел отыскать одну, особенно меня позабавившую, но не мог и все время видел новые. По тому, что я запомнил из некоторых из них (совсем детского простодушия), я считаю почти

несомненным, что то были не воспоминания, а мгновенные произведения моего воображения».

— «Мне казалось, что я в библиотеке, примыкающей к очень художественно обставленной гостиной. Я искал там книгу, как человек, который заранее знает, где ее найти, потому что мне казалось, что я давно знаю все полки этой библиотеки, как и всю мебель этой гостиной. Однако, проснувшись, я не нахожу в памяти ничего, что напоминало бы мне подобные покои».

— «Мне снился очень ясный сон, во время которого я шел через очень живописную местность, где каждый вид, каждое место и, могу сказать, каждое дерево или каждый дом вырисовывались перед моими внутренними взорами со всеми мельчайшими подробностями отчетливо воспринимаемой действительности. Проснувшись, я и здесь не нахожу никакого воспоминания о подобных картинах. Надо ли предположить, что моя память сумела собрать и сохранить их так верно без малейшего моего ведома, или же мое воображение обладало удивительной силой не только сочинить все эти пейзажи, но и связать их между собой непрерывно развертывавшейся дорогой, по которой, как мне казалось, я шел?»

— «Нынче ночью мне снилось, что моя душа вышла из тела и что я пролетаю необъятные пространства с быстротой мысли. Сначала я перенесся к одному первобытному племени. Я был свидетелем жестокой битвы, не подвергаясь никакой опасности, поскольку был одновременно невидим и неуязвим. Время от времени я обращал *свои взгляды* на самого себя, то есть туда, где было бы мое тело, если бы оно у меня было, и вполне убеждался, что тела у меня больше нет. Мне пришла мысль посетить Луну, и я тотчас очутился там. Я увидел тогда вулканическую почву, потухшие кратеры и другие особенности — явное

воспроизведение того, что я читал, или гравюр, которые видел, но все же удивительно увеличенных и оживленных моим воображением. Я хорошо чувствовал, что сплю, но не был убежден, что этот сон совершенно ложен. Изумительная точность всего, что я созерцал, внушала мне мысль, что, быть может, моя душа на время покинула свою земную темницу, — а это было бы не более чудесно, чем столько других тайн творения. Мне пришли на память некоторые мнения древних авторов об этом предмете, а затем это место из Цицерона:

> Si quis in cœlum ascendisset, ibique solem, et lunam, et sidera propè vidisset, hoc tamen sibi injucundum fore, ni aliquem qui narraret habuisset.

Я тотчас пожелал вернуться на землю — и снова оказался в своей комнате. На мгновение у меня была странная иллюзия, будто я смотрю на свое спящее тело, прежде чем снова вступить во владение им. Вскоре мне показалось, что я встал и с пером в руке подробно записываю все, что видел. Наконец я проснулся, и тысячи подробностей, только что очень четких, почти мгновенно стерлись из моей памяти».

* * * Мы видели, что несколько физиологических причин, свойственных сну, способствуют усилению в этом состоянии телесной и душевной чувствительности. Добавим замечание, которое одинаково применимо и к действительной жизни. Великие зрелища природы вызывают восторги, которых не произвела бы одна сила воображения. Иная драма исторгает слезы благодаря иллюзиям постановки и оставила бы нас почти равнодушными без этого убранства. Так и чувства, которые внушают нам во сне некоторые мысли, необычайно усиливаются оттого, что перед нами предстают все сцены и все картины,

следующие за их движением. Тогда устанавливается как бы возрастающее взаимное возбуждение — воображения от образов и образов от воображения. Это возбуждение часто приводит нас к таким состояниям ума, которые у бодрствующего человека назвали бы безумием. — Можем ли мы утверждать, что психологическое явление здесь не тождественно или что оно по крайней мере не представляет достаточного сходства, чтобы его тщательно изучить?

* * * Один мой друг-художник, интересовавшийся моими исследованиями и следивший за моими опытами, проделывая их сам, рассказал мне следующий случай. Однажды ночью, когда ему снился очень ясный сон и ему казалось, что он стоит перед мольбертом, работая над начатой картиной на религиозный сюжет, которая тогда действительно его занимала, он увидел, как в его мастерскую вошел незнакомец величественной осанки, отнял у него палитру и кисти, стер половину намеченных фигур, изменил оставшиеся, добавил другие — словом, преобразил всю картину. В мгновение ока холст был чудесно записан, и призрачный живописец исчез. А безмолвный ценитель этой столь быстрой импровизации, прежде чем проснуться, чувствовал, будто долго созерцал законченное произведение. Художник, видевший этот сон, не смог, подобно композитору Тартини, восстановить свое творение целиком — очертание формы не запечатлевается в памяти с точностью аккорда; но он тем не менее сумел очень удачно воспользоваться бывшим ему видением и обязан, таким образом, одним из лучших своих полотен вдохновению своего сна.

* * * Лишает ли нас сон свободы воли? Есть ли противоречие между тем, что иногда можно вызывать свои сны или управлять

ими, и тем, что иногда чувствуешь, как тебя влечет видеть во сне то, чего не хотел бы?

Чтобы объяснить то неодолимое влечение, которое побуждает нас в иных снах совершать весьма дурные поступки, чей пагубный и предосудительный характер мы понимаем, хотя это понимание нас не останавливает, Мори построил очень тонкую теорию, согласно которой «человек, который видит сон и еще рассуждает, судит, сравнивает, делает выводы, обобщает, остается, однако, неспособным к рефлексии; так что его *нравственное сознание* становится подобным тому, что можно назвать тем же именем у животного»[6]. Что до меня, полагающего, что ум может сохранять все свои способности во время сна, то я объясняю то же явление совсем иными соображениями.

---

[6] *«Сон и сновидения»*, с. 333 и 334.

Во-первых, я считаю, что во многих снах такого рода, и особенно в снах обостренно-чувственных, крайнее возбуждение телесной или душевной чувствительности само по себе производит одно из тех временных выпадений свободы воли, из-за которых присяжные оправдывают подсудимых, чья фактическая виновность тем не менее очевидна.

Во-вторых, возвращаясь к тому началу, подтверждение которого мне так часто доставляли мои практические наблюдения, — а именно что достаточно крепко подумать о какой-нибудь вещи, чтобы сон тотчас представил ее воочию, — скажу, что одного лишь страха или даже одной лишь мысли поддаться какому-нибудь преступному поступку достаточно, чтобы спящему мгновенно показалось, будто он совершает именно то, чего опасался. Человек может удержаться от дурного

поступка, но не может запретить себе подумать о нем. А иметь во сне мысль о вещи — значит неизбежно ее совершить.

Итак, мы лишены свободы воли в том смысле, что события совершаются тогда без всякого участия нашей воли (и даже вопреки ей), и притом быстрее, чем понадобилось бы на самое краткое размышление; но из того, что размышление опережается стремительностью событий, вовсе не следует, что способность размышлять упразднена, и всякий, кто будет хорошо наблюдать за собой, узнает в явлении, которое заставляет нас порой претерпевать неприятные видения, то самое, которое в других обстоятельствах позволяет нам видеть во сне исполнение наших желаний.

Итоги и заключение

Оглянемся назад — и затем закроем эту книгу, которая могла бы еще сильно разрастись, но которая и так уже кажется мне очень длинной.

Напомним в немногих словах, что мы попытались установить — как относительно психологии сновидения вообще, так и относительно практических средств вызывать или отстранять во сне те или иные идеи-образы, направлять ум в его самопроизвольных или произвольных движениях и, наконец, вести свои сны по своему желанию.

Мы сказали, что не верим в сон мысли, что не считаем деятельность какой бы то ни было способности прерванной сном; что если у спящего человека внимание порой затруднено, воля ослаблена, а суждения ошибочны, то воображение, память, чувствительность приобретают зато огромную силу размаха; так что если состояние сновидения и не позволяет сохранить то

верное умственное равновесие, которое необходимо, чтобы совершить во всех отношениях разумный труд ума, то оно может по крайней мере открыть в мир идеального горизонты, неведомые действительной жизни.

Чтобы стать хозяином иллюзий своего сна, были указаны три существенных условия:

1) сознавать во сне, что спишь, — привычка, которая приобретается довольно быстро одним тем, что ведешь дневник своих снов;

2) связывать некоторые воспоминания с напоминанием некоторых чувственных восприятий, так чтобы возвращение этих ощущений, устроенное во время сна, вводило в наши сновидения те идеи-образы, которые мы с ними связали;

3) когда эти идеи-образы начнут таким образом участвовать в построении картин наших снов, употребить волю (которая никогда не изменит, если хорошо знаешь, что спишь), чтобы направлять их развитие, применяя начало: думать о вещи — значит видеть ее во сне.

Запах, вкус, прикосновение, музыкальный мотив вызвали образное воспоминание о каком-нибудь человеке или месте. Я чувствую, что сплю, и направляю движение своих мыслей по дороге, которую сам же им проложил. Итак, мне снится, как я хочу, то, чего я хотел.

Управление снами и изготовление пороха — вещи, которые, кажется, едва ли можно ставить рядом. И уж тем более я не притязаю на то, чтобы уравнивать достоинства этих двух изобретений. Скажу, однако, что с тремя указанными выше психофизиологическими составными частями дело обстоит отчасти так же, как с селитрой, серой и углем, тремя составными частями иного рода. Порознь они ничем не удивляют;

соединенные, производят поразительные действия. Чисто теоретическое утверждение о свойствах пороха было бы когда-то, несомненно, встречено с великим недоверием, и я не могу требовать заранее большего доверия к результатам средств, которые предлагаю, чтобы овладеть иллюзиями сна. Пусть, однако, потрудятся следовать моим точным указаниям; пусть с упорством проверят на деле, чего они стоят, — и я заранее охотно принимаю суждение, которое о них вынесут.

Здесь я предвижу возражение или раздумье некоторых положительных умов. Допустим, подумают они, что опыт полностью подтвердит все только что сказанное, что каждый станет хозяином своих снов и сможет ночью подчинять воображение своей воле, — каковы будут последствия этого открытия и какова его польза?

Я мог бы ответить на это, что, поскольку каждый находит полезным то, что его занимает, одна возможность видеть во сне что заблагорассудится сама собой будет признана весьма полезной всяким, кто найдет в этом удовольствие. Но я не намерен и никогда не намеревался сводить к размерам простой забавы метод, применимый к успехам науки не меньше, чем к вдохновениям фантазии. Поэтому напомню здесь, что я не раз настаивал, обращаясь к врачам и психологам, на том интересе, который этот метод должен для них представлять.

Наконец, последнее слово, прежде чем отложить перо: я хочу возразить против вечного сравнения сна со смертью, которым древние и новые авторы так странно злоупотребляли. С вещественной ли точки зрения или с материалистической его рассматривать; хотят ли видеть в облике спящего человека подобие трупа или воображают найти во временном отсутствии мысли пример возможного уничтожения нашего Я — такое

сравнение одинаково ложно во всех отношениях. И к тому же не странная ли это мысль — сравнивать положение, которое мы едва знаем, с другим состоянием, которого не знаем вовсе? Я гораздо больше люблю старую истину, которая гласит: жизнь есть сон. Тем, для кого это сон тягостный, она оставляет по крайней мере отрадную мысль проснуться в смерти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

✦

Сон после приема гашиша

Я высказал мнение, которое, впрочем, разделяет немалое число физиологов, что сны сомнамбулизма и магнетизма, видения людей в экстазе и людей, подверженных галлюцинациям, равно как и сны, вызванные всякого рода ядами и наркотическими средствами, суть лишь более или менее болезненные видоизменения естественного сна. Но в основной части книги, посвященной исключительно изучению естественного сновидения, я воздержался от того, чтобы помещать какие-либо наблюдения, чуждые психологическим явлениям нормального сна.

В виде приложения и как дополнительный документ следующий рассказ будет, однако, не лишен интереса. В нем найдутся, я думаю, материалы для аналитического сравнения, которое докажет, что мозговое перевозбуждение, преувеличивающее и ускоряющее движение идей, не изменяет из-за этого обычных законов их ассоциации.

Живость иллюзий, которые осаждают нас, когда мы находимся под действием таких наркотических средств, как опиум и гашиш, конечно, ни для кого не тайна. Менее известна, быть может, та особенность, что, когда впервые употребляешь эти вещества, редко испытываешь те восхитительные восторги, которые достаются тем, кто привык к ним прибегать. Полагаю, здесь дело

обстоит отчасти так же, как с первой сигарой: телесное недомогание берет верх.

Так как мне довольно часто давали опиум в больших дозах во время одной долгой болезни, которую я перенес, я сам убедился в этом постепенном переходе от тяжелых и мучительных снов к другим, полным возвышенной мечты и упоения.

Что же до гашиша, который мне из любопытства захотелось испытать в полном здоровье, то вот первый сон, который он мне доставил.

«Мне казалось, будто что-то сорвалось у меня в мозгу, как пружина испорченных часов, и будто вся цепь моих воспоминаний хочет сама собой размотаться с неслыханной бессвязностью и быстротой. На улице с неровной мостовой, освещенной мертвенно-бледным светом, я видел, как тянется нескончаемая вереница людей, одетых в черное или в блестящие мундиры, воздушные вальсирующие пары, страшные нищие, женщины в цветочных венках, сидящие на гробах, которых везут на катафалках; а потом — экипажи, останавливавшиеся передо мной с приоткрытыми дверцами, словно приглашая меня сесть. Какое-то таинственное притяжение влекло меня к ним, но в ту минуту, когда я собирался сесть, я отступал с невыразимым ужасом; не знаю какой инстинкт говорил мне, что они привезут меня к чему-то страшному. Тогда я решался идти пешком, натыкаясь на всех прохожих и быстро направляясь к цели, до которой, как я чувствовал, необходимо было добраться как можно скорее, — хотя я не мог толком понять, что это за цель, и не смел расспросить о ней никого из множества людей, толкавших меня локтями, в убеждении, что в каждом из них я встречу врага. Наконец я прихожу к этой неведомой цели и воображаю, что нахожусь с одной молодой дамой в квартире другой, чьего возвращения

боюсь каждую минуту. Оттуда я переношусь, сам не знаю как, в великолепную, роскошно освещенную гостиную. Я в бальном наряде, мне, очевидно, предстоит большой праздник; я разглядываю свой фрак и замечаю, что он испачкан каким-то странным мхом. Поднимаю глаза: передо мной образ любимой женщины, но постаревшей на двадцать лет и облаченной в монашеское одеяние. Пока гостиная наполняется нарядной толпой, я замечаю, что люстра только что погасла; но в то же время обнаруживаю, что мне достаточно посмотреть на свечи одну за другой, чтобы они мгновенно зажглись снова. Вскоре пожар вспыхивает всюду, куда падает мой взгляд. Платья прелестнейших женщин словно сгорают под моим взглядом, как трут под линзой. Пепел осыпается, и вместо восхитительных тел он обнажает ужасные скелеты, или посиневшие мумии, или чудовищ, изъеденных язвами. Одна лишь голова остается прелестной и бросает на меня горестно-гневные взгляды. То, что не загорается, принимает у меня на глазах самые причудливые и несуразные формы; канапе вытягивается и становится непомерной лестницей. Я хочу бежать; лестница превращается в зияющий колодец. И все же я вырываюсь из этого проклятого места; прыгаю в один из тех экипажей с приоткрытыми дверцами, которые уже замечал прежде, и на этот раз пренебрегаю их таинственным назначением — так спешу я удалиться. Сажусь; экипаж трогается. Ужас! Он залит кровью. Я хочу выйти — слишком поздно; мы мчимся с невозможной быстротой. Куда я еду? Не знаю; я лишь смутно различаю на дороге тысячи ужасно неопределенных вещей, которые внушают мне глубокий страх. Мне чудится, что я слышу в пространстве голос друга, которого, сам того не подозревая, вовлек в неминуемую гибель и который, умирая, проклинает меня. Я хотел бы умереть сам, чтобы

вырваться из этой бездны жестоких мыслей; но голос кричал мне, что и это отчаянное желание не исполнится. Изредка я смутно приходил в себя. Я понимал, что мой мозг расстроен, но не знал, на время или навсегда. Меня осаждала страшная мысль, что, быть может, я сошел с ума и что слепая заботливость моей семьи, продлевая мою жизнь, продлит для меня и муку этой адской фантасмагории.

«И никогда я не смогу рассказать, что испытываю, потому что я был, так сказать, отрезан от действительного мира.

«На мгновение мне кажется, что я вспоминаю, будто уже видел себя в подобном состоянии и нашел средство из него выйти. Я делаю огромное усилие, чтобы удержать эту мысль, прояснить ее, припомнить; но такое усилие причиняет мне жестокую боль в мозгу, и — причудливое представление — мне кажется, что я вижу мысль, которую хотел удержать, в виде какой-то пиявки, которая, окровавленная, тщетно пыталась уцепиться за внутренние стенки моего черепа, тогда как неодолимая сила отрывала ее и заставляла кружиться вместе с другими в общем вихре.

«Здесь несколько пробелов. Сменяются унизительные образы и сцены. Я вижу себя, например, в орденах и мундире, пешком, посреди грязной площади, запруженной метельщиками и подвыпившими людьми, которые осыпают меня насмешками и грязью. Или же мне воображается, что я украл какую-то безделицу под властью необъяснимой галлюцинации; и меня волокут в тюрьму, и все люди, чьим мнением я могу дорожить, словно сговорились собраться, чтобы посмотреть, как меня ведут. Однако мне удалось уйти. Бегом я проделал огромный путь. Я добрался до застав города, где надеюсь найти надежное убежище. Там я имею дело с таможенниками самого странного свойства. Они вонзают свои огненные зрачки в самую глубину моей головы,

потому что досматривать они должны мои мысли, а не мой багаж. Внутреннее откровение открыло мне, что я перенесен в мир, где идеальное заменяет вещественное, где контрабанда целиком умственная, где запасаются идеями, как у нас съестным. Я трепещу, как бы таможенники не сделали во мне какого-нибудь злосчастного открытия; и мне тотчас кажется, что я вспоминаю какое-то преступление, которое будто бы совершил. Тем не менее я вхожу; от меня требуют только оставить свое тело у заставы. Я вижу, как его кладут в ячейку с ярлыком, на котором написано мое имя; и мне кажется, что я хожу по городу в виде тени, слышу голоса людей, невидимых, каким стал и я сам, и будто бы воспринимаю тысячи впечатлений, чуждых действительному миру. То это были умственные вещи, которые, однако, хранились в золотых или свинцовых ящичках; то совершенно вещественные предметы, которые двигались сами собой и приходили беседовать со мной. И мне казалось, что я все это понимаю.

«Вскоре меня увлекают в амфитеатр, где меня ждало зрелище страшной хирургической операции. Ее должны были совершить над узником, который пытался утаить свое тело от таможни. Вид жертвы вызывает во мне глубокую жалость, а затем, как только хирург делает первый надрез скальпелем, я чувствую острую боль и понимаю, что это я сам буду терпеть все муки этой жестокой операции. Я хочу бежать — меня связали; а осужденный зло потешается надо мной из-за этого переноса чувствительности, совершившегося в его пользу. Сила потрясения вырывает меня, сам не знаю как, из этого опасного положения; но лишь для того, чтобы подвергнуть новому ряду адских неожиданностей.

«Сначала меня охватывает смутный и внезапный страх в очаровательном будуаре с несколькими входами, через которые я жду появления новых зловещих призраков. Стоит мне

приоткрыть дверь, как до меня доносятся душераздирающие вздохи. Потом несколько друзей подходят обнять меня, облитые нечистой грязью; я не смею противиться и слышу, как, уходя от меня, они смеются гадким смехом. А потом я вижу, как мой желудок непомерно разрастается; вспоминаю, что проглотил какую-то неведомую гадину, которая, должно быть, растет и наконец пробивает мне грудь, чтобы выставить перед моим лицом свою зловонную и отвратительную голову.

«Все это проходит. Я возвращаюсь к мысли осмотреть изнутри собственный череп, который представляется мне исполинских размеров. Я прогуливаюсь по тайникам своей памяти и по лаборатории своего мозга. Я вижу там зарытые дивные богатства, но чувствую при этом, что никогда не сумею их оттуда извлечь. Узнаю там и несколько чудовищных влечений и содрогаюсь при мысли о том, что из них могло бы выйти. Впрочем, я не знаю, как обращаться с неописуемыми орудиями этой огромной лаборатории; трогаю одно наудачу — из него исходит грозный гул, и я убежден, что свод моего черепа сейчас не выдержит напора урагана неслыханных колебаний, если я не сумею открыть ему где-нибудь выход, хотя бы мне пришлось самому себе сделать трепанацию.

«Так несся этот безумный сон. Иногда мне удавалось сильным усилием воли бороться с тиранией этих безнадежных иллюзий; я отчасти снова брал в руки бразды своей мысли; но сил проснуться мне недоставало, и тогда сон возобновлялся с удвоенной силой, и насмешливые головы снова появлялись со всех сторон. Наконец, время от времени мысль, что я покончил с собой, пронзала мой смятенный ум, как мрачная молния в грозовую ночь; и я спрашивал себя, не есть ли то, что я испытываю, душевное

смятение агонии или же не сама ли это смерть, а следовательно, тот вечный покой, которого я искал».

Таковы были впечатления, которые я смог припомнить. Они составляют, быть может, не тысячную долю всего, что пронеслось у меня в уме. Возбуждение душевной чувствительности было неистовым; но в характере и ходе мыслей я не нахожу ничего, что не утверждало бы меня во мнении, что аналитического изучения естественных снов достаточно, чтобы объяснить самые разнообразные болезненные явления.

Пробуждение наступило постепенно. По мере того как мои видения теряли отчетливость, они становились спокойнее. У меня был период довольно приятной дремоты, населенной мимолетными образами, из которых некоторые были прелестны; и я пять или шесть раз открывал глаза, почти не видя, прежде чем окончательно вернуться в свою действительную жизнь.

Весь день, последовавший за этой беспокойной ночью, я провел в состоянии телесного и душевного оцепенения, в котором мне особенно изменяла память. Убежденный, однако, что само это положение очень благоприятно для того, чтобы разобрать особое расстройство ума, в котором я себя чувствовал, я взял перо очень тяжелой рукой и записал свои впечатления с полузакрытыми глазами. Если этот второй отрывок и не так интересен, как я предполагал, когда писал его, он все же дает о промежуточном состоянии между бодрствованием и сном несколько показательных указаний, которые побуждают меня привести и его ниже.

«Странное состояние ума то, в котором я нахожусь. Мне кажется, что я вижу сон наяву и вижу, как сквозь туман, разлитый по моим мыслям, развертывается целый ряд тесно связанных воспоминаний. По крайней мере, я это сознаю, но не воспринимаю

ни одной мысли достаточно отчетливо, чтобы ее различить. Я чувствую, что если бы мог остановить одну из них, она тотчас стала бы ключом к тем, что ей предшествуют и за ней следуют; но все они ускользают, не давая себя схватить иначе, как через какое-то смутное отвлечение, которое ничего мне не открывает. Не сон ли это без образов — та же бессвязность, те же самопроизвольные сцепления воспоминаний?

«Если я стараюсь пробиться сквозь туман, окутывающий эту грезу, я тотчас ощущаю довольно острую головную боль, а если хочу обратиться к действительности, вместо того чтобы дать мыслям течь самим по себе, то будто на время теряю память об условиях собственного существования. То, что я знаю лучше всего, ускользает от меня, и каждое мимолетное впечатление исчезает так быстро, что не одна фраза, которую я хотел бы набросать на этой бумаге, остается недописанной. Даже фразы, которые я сейчас царапаю, выводятся, так сказать, механически, лишь благодаря безотчетно установившемуся соответствию между словами, приходящими мне в голову, и соответствующими им знаками письма, потому что у меня недостаточно свободы ума, чтобы обдумывать то, что я пишу. Итак, если хочешь сохранить хоть какое-то воспоминание об этом странном хаосе, надо дать перу бежать как можно быстрее, с тем чтобы позже перечитать эти мимолетные впечатления и понять что удастся. Поле моих мыслей кажется мне белым экраном, по которому, не оставляя следа, проходят изображения волшебного фонаря, чьи раскрашенные стекла, конечно, не пропали бы оттого, что их вынули, но по крайней мере исчезали бы по мере своего прохождения в темных ящиках. Даже стенография бессильна записать некоторые наблюдения, которые мгновенно поражают меня своей ясной точностью, но для изложения которых

потребовалось бы несколько придаточных предложений, тогда как в уме они остаются едва ли секунду. Рука скоро изнемогает от усталости. Что же до этих неуловимых мыслей, то, мне кажется, у них есть еще та черта сходства с изображениями волшебного фонаря, что они лишь отражения, а не новые замыслы.

«Сцепления идей, которые возникают у меня в эту минуту, почти всегда начинаются с неопределенного понятия, которое я тщетно пытаюсь прояснить. Это неопределенное понятие приводит меня ко второму, не менее смутному впечатлению, второе — к третьему, и так далее, причем ни одно из них не является с большей отчетливостью. Я полагаю, что, если бы я спал, эти неполные мысли непременно составили бы как раз некоторые из тех чудовищных и неописуемых снов, образы которых ускользают от всякого разбора, как и логика их — от всякого рассуждения».

Получив случай снова принять гашиш и поместив себя на этот раз под влияние веселой музыки и целого ряда обстоятельств, способных придать моим мыслям более приятное направление, я увидел сон, совсем непохожий на тот, рассказ о котором только что приведен. Что же касается состояния моего ума в течение следующего дня, то оно было в точности таким же, как в первый раз.